

# Жан-Мари Гюстав Леклезю

## Пустыня

*Сегиет-эль-Хамра, зима 1909-1910 годов*

Точно сновидение, появились они на гребне бархана, по пояс в облаке взметенного их ногами песка. Медленно спускались они в долину по едва различимой тропе. Во главе каравана шли мужчины в синих шерстяных бурнусах — синие покрывала затеняли их лица. За ними выступали два-три верблюда, а следом тянулись погоняемые мальчиками козы и овцы. Замыкали шествие женщины. От тяжелых, широких бурнусов фигуры их казались какими-то грузными, а лица и руки — еще смуглее под темно-синими покрывалами.

Бесшумно, медленно ступали они по песку, не глядя, куда идут. Ветер дул не переставая, ветер пустыни, знойный днем, ледяной по ночам. Песок струился вокруг них, скользил между ногами верблюдов, хлестал женщин в лицо, и они надвигали на глаза синие покрывала. Дети постарше бежали бегом; запеленатые в синюю холстину, привязанные за спиной у матерей, плакали грудные младенцы. Фыркали, чихали верблюды. Никто не знал, куда лежит их путь.

Солнце стояло еще высоко в нагом небе, ветер уносил все звуки и запахи. Струйки пота медленно стекали по лицам путников, смуглая кожа их щек, рук и ног отливала темно-синим; точно надкрылья скарабея, переливались на лбу у женщин синие узоры татуировки. Черные глаза, похожие на капли расплавленного металла, выискивая дорогу среди волнистых барханов, почти не глядели по сторонам, на бескрайние песчаные просторы.

Больше на земле не было ничего — ничего и никого. Их породила пустыня, и только через пустыню мог пролегать их путь. Они ничего не говорили. Ничего не желали. Ветер пролетал над ними, сквозь них, точно среди песчаных холмов не было ни души. Они шли с ранней зари, не делая привалов, словно коконом окутанные усталостью и жаждой. Иссушенные зноем губы и язык одеревенели. Их терзал голод. Они и не смогли бы произнести ни слова. Они давно уже сами стали безмолвными, как пустыня, сгорая под лучами солнца, пылающего посреди пустынного неба, и дрожа от холода ночью, под недвижными звездами.

Они продолжали медленно спускаться по склону в долину, петляя, когда песок осыпался под их ногами. Мужчины не глядя выбирали, куда ступить. Казалось, они следуют невидимой глазу тропой, которая ведет на другой конец одиночества — в царство ночи. Среди них только один нес ружье — кремневый карабин, с длинным почерневшим бронзовым стволом. Ружье висело у него на груди, он сжимал обеими руками приклад, а ствол, обращенный к небу, был похож на древко знамени. Рядом с вожатым, закутанные в бурнусы, шли его братья, слегка подавшись вперед под бременем своей ноши. Синяя одежда под бурнусами превратилась в лохмотья — изорванная колючками, изрешеченная песком. Позади изнуренных животных, впереди своей матери и сестер шел Нур, сын человека с карабином. Его смуглое лицо почернело от зноя, но глаза ярко блестели, в их блеске было что-то почти неестественное.

Эти мужчины и женщины были плоть от плоти песка, ветра, солнца и ночной тьмы. Точно в сновидении, появились они на гребне бархана, словно их породило безоблачное небо, и тела их хранили жесткую непреклонность пустыни. Они несли в себе голод и жажду, от которой кровоточат потрескавшиеся губы, суровое безмолвие, озаренное палящим солнцем, холодные ночи, сиянье Млечного Пути, лунный свет; и всюду сопровождала их гигантская на закате тень, бесконечно волнились девственные пески, взрыхляемые растопыренными пальцами их босых ног, и ускользала линия горизонта. И главное — не угасал необычный блеск их глаз, блеск, шедший из самой глубины взгляда.

Стадо коричневатых коз и овец шло впереди детей. Животные тоже не

знали, куда идут, и ступали копытцами по оставшимся старым следам. Песок взвихрялся у них между ног, налипал на грязную шерсть. Погонщик верблюдов подстегивал их одним лишь голосом, ворча и плюясь, как они. Хриплое дыхание путников, уносимое ветром к югу, тотчас терялось в ложбинах меж барханами. Но ни ветер, ни сушь, ни голод теперь не имели значения. Люди и животные медленно спускались, устремлялись вниз — в глубь безводной, лишенной тени долины.

Они шли уже много недель, много месяцев подряд, от одного колодца к другому, оставляя позади пересохшие русла рек, теряющихся в песках, переваливая через каменистые холмы и нагорья. Стада щипали худосочную траву, чертополох и листья молочая. Вечерами, когда солнце спускалось к горизонту и от кустарников протягивались длинные-длинные тени, люди и животные делали привал. Мужчины развьючивали верблюдов и разбивали большую палатку коричневого сукна, крепившуюся к кедровому столбу. Женщины разводили огонь, варили жидкую просяную кашу, доставали молоко, масло, финики. Быстро надвигалась ночь, огромное холодное небо распахивалось над погасшей землей, и тогда высыпали звезды, мириады звезд, застывших в пространстве. Человек с карабином, тот, что вел караван, подзывал к себе Нура и показывал ему крайнюю точку Малой Медведицы, одинокую звезду по имени Кабри, а потом, на другой оконечности созвездия, — голубую звезду Кохаб. Ближе к восточному склону неба он показывал Нуру сверкающий мост из пяти звезд: Алькаид, Мицар, Алиот, Мегрец и Фекда. А совсем на востоке, почти слившийся с пепельным горизонтом, восходил Орион с Альниламом, чуть клонясь в сторону, точно корабельная мачта. Все звезды знал отец Нура, порой он называл их странными именами, звучавшими словно сказочный зачин. И показывал Нуру, какой дорогой пойдет их караван, когда настанет день, точно зажигавшиеся в небе звезды прочерчивали пути, которых надлежало держаться людям на земле. Какое несметное множество звезд! Ночь в пустыне была наполнена их огоньками, которые слабо мерцали в воздухе, колеблемом ветерком. То была страна вне времени, непричастная к истории рода человеческого, — страна, где, быть может, ничто уже не могло народиться или умереть, словно бы уже отрешенная от всех других стран, страна, достигшая вершины земного бытия. Мужчины часто глядели на звезды — бесконечный белый путь, похожий на песчаный мост, переброшенный над землей. Они обменивались скупыми словами, раскуривая свернутые конопляные листья, рассказывали друг другу о своих скитаниях, о слухах про войну с христианскими солдатами, об отмщении. А потом слушали ночь.

Пламя от горящих веток танцевало под медным чайником, шипя, точно стекающая вода. По другую сторону жаровни беседовали женщины, одна из них напевала, баюкая младенца, уснувшего у ее груди. Тявкали дикие собаки, и эхо в ложбинах между барханами отзывалось словно голоса других собак. Запах животных смешивался с запахом сырости, поднимавшимся от серого песка, и едким дымом жаровен.

Потом женщины и дети устраивались на ночлег в палатке, а мужчины, завернувшись в бурнусы, засыпали вокруг потухшего очага. Они становились невидимками — терялись в бескрайности песка и камня, а черное небо сияло все ослепительней.

Так скитались они месяцами, а может, и годами. Они следовали дорогой, указанной звездами среди песчаных волн, — дорогой, идущей от Дра, от Тамгрута, от пустыни Эрг-Игиди, или севернее — дорогой через Айт-Атта, Герис, Тафилельт, которая ведет к большим укрепленным селениям, *ксурам*, у отрогов Атласских гор, или бесконечным путем, устремленным в самое сердце пустыни, через Ханк, к большому городу Томбукту. Одни умирали в пути, другие нарождались, женились. Погибали и животные — одни с перерезанным горлом, удобряя недра земли, другие от болезней, брошенные гнить на ее каменистой поверхности.

Казалось, здесь ни у кого нет имени, как нет слов. Пустыня все смывала, все стирала своим ветром. Во взгляде людей была свобода бескрайнего простора, кожа их отливала металлическим блеском. Солнце все затопляло своим светом. Песок — охристый, желтый, серый, белый, легкий песок скользил, обнаруживая движение

ветра. Он заметал все следы и кости. Он отталкивал солнечные лучи, изгонял воду и жизнь прочь из сердца пустыни, которое никому не дано было узнать. Люди понимали, что пустыня их отвергает, — вот они и шли без остановки, по дорогам, уже исхоженным другими ногами, в поисках другого пристанища. В колодцах, *айнах*, этих небесного цвета очах, или во влажных руслах старых грязных ручейков копилась вода. Но эта вода не радовала глаз, не давала отдохновения. То были лишь капли пота на поверхности пустыни, скаредный дар Повелевающего Сушью, последний трепет жизни. Тяжелая жижа, вырванная у песков, мертвая вода расщелин, щелочная вода, вызывавшая колики и рвоту. Надо было идти все дальше и дальше в направлении, указанном звездами, все так же чуть согнувшись, подавшись вперед.

Но, быть может, это была последняя свободная страна, единственная страна, где людские законы уже не имели значения. Страна камней и ветра, а также скорпионов и тушканчиков, которые умеют спрятаться и исчезнуть, когда палит солнце, а ночь холодна.

И вот теперь они появились над долиной Сегиег-эль-Хамра, медленно спускаясь вниз по песчаному склону. В глубине долины показались признаки человеческой жизни: пашни, обнесенные оградой из камня, загоны для верблюдов, хижины, крытые листьями карликовой пальмы, большие суконные шатры, похожие на перевернутые вверх килем суда. Мужчины медленно брели вниз по склону, глубоко погружая пятки в осыпавшийся песок. Женщины замедляли шаги и держались в отдалении, позади стада, которое, почуяв воду, словно обезумело. И вот у подножия каменистого нагорья распахнулась во всю свою ширь бескрайняя долина. Нур искал взглядом стройные силуэты темно-зеленых пальм, устремленных ввысь, обступивших плотными рядами незамутненную гладь озера, искал взглядом белые дворцы, минареты, все, о чем ему твердили с детства, рассказывая о городе Смара. Он так давно не видел деревьев. Слегка расслабив руки, он спускался в долину, прикрыв глаза из-за слепящего света и песка.

По мере того как люди сходили в долину, город, на мгновение представший их глазам, стал исчезать, и они снова не видели ничего, кроме сухой и голой земли. Было жарко, пот ручьями стекал по лицу Нура, синяя одежда прилипла к спине и плечам.

Но теперь, словно рожденные недрами долины, стали появляться еще и другие мужчины и женщины. Женщины разожгли угли в жаровнях, чтобы приготовить ужин, дети и мужчины неподвижно стояли у своих запыленных шатров. Они пришли сюда со всех концов пустыни, из-за каменистой Хамады, из-за гор Шехейба и Варкзиз, из Сируа, с хребтов Ум-Шакурт и даже от больших южных оазисов, от подземного озера Гурара. Одни прошли через горы по ущелью Майдер возле Турхаманта, а другие ниже, там, где Дра встречается с Тингутом, через Регбат. Они собрались сюда, все обитатели юга: кочевники, торговцы, пастухи, разбойники, нищие. Быть может, некоторые из них покинули королевство Биру или большой оазис Валата. На лицах их оставили свой след безжалостно палящее солнце и смертоносная ночная стужа на окраинах пустыни. Были среди них рослые, долговязые люди, чья черная кожа отливала красным, и говорили они на незнакомом языке — это были люди племени тубу, пришедшие с другого конца пустыни, от скал Борку и склонов Тибести, они употребляли в пищу орехи кола и, кочуя, доходили до самого моря.

Чем ближе к воде подходил караван, тем больше попадалось по пути черных людских силуэтов. Позади корявых акаций показались сплетенные из веток и обмазанные глиной хижины, похожие на термитники. Глинобитные домики, лачуги из досок и земли и повсюду — низенькие, сложенные из камня ограды, не выше колена, делившие красную землю на крохотные ячейки. На участках размером не больше лошадиной попоны рабы, *харатин*<sup>1</sup>, выращивали чахлые

---

<sup>1</sup> *Харатин* (ед. ч. хартани) — смешанное берберо-негроидное население оазисов. — *Здесь и далее примеч. переводчика.*

ростки бобовых, перца, проса. Оросительные канавки, *асекьяс*, прорезали своими бесплодными бороздами долину, пытаясь высосать из почвы хоть капельку влаги.

Это и был тот город, куда шел караван Нура, великий город Смара. Все они, люди и животные, направлялись теперь к нему по выжженной земле, по этой гигантской трещине — долине Сегиет.

Столько дней, безжалостных и ранящих, как кремень, столько часов ждали они этой минуты. Как исстрадались их измученные тела, кровоточащие губы, выжженные солнцем глаза. Они спешили к колодцам, не слыша ни рева животных, ни голосов других людей. Приблизившись, они остановились у каменных стенок, подпиравших мягкую почву. Дети камнями отогнали животных, а мужчины преклонили колена для молитвы. Потом каждый, погрузив лицо в воду, медленными глотками стал пить.

Вот они, небесного цвета очи среди пустыни. Но теплая вода все еще хранила в себе силу ветра, песков и бескрайнего стылого ночного неба. Нур пил и чувствовал, как с водою входит в него вся неприютность пустыни, которая гнала его от одного колодца к другому. Мутная, безвкусная вода вызывала тошноту, она не утоляла жажды. Она словно бы вливалась в его тело безмолвное одиночество песчаных гряд и громадных каменистых нагорий. Вода в колодцах была неподвижной и гладкой, как металл, на поверхности ее плавали листья и клочья овечьей шерсти. У другого колодца умывались и приглаживали волосы женщины.

Рядом с ними неподвижно застыли козы и верблюды, словно привязанные к колышкам, воткнутым в грязь у колодца.

Между палатками ходили взад и вперед какие-то мужчины. То были Синие Воины пустыни, с покрывалами на лицах, вооруженные кинжалами и длинными ружьями; они расхаживали широкими шагами, ни на кого не глядя. Оборванные рабы-суданцы тащили мешки с просом и финиками и бурдюки с маслом. Были здесь также и вожди племен в белой и темно-синей одежде, почти чернокожие *илехи*, веснушчатые и рыжеволосые уроженцы побережья и безродные, безымянные люди, нищие, прокаженные, которые не смели приблизиться к воде. Все они проделали путь по каменистой земле, по красной пыли, чтобы явиться к стенам священного города Смара. На несколько дней, на несколько часов они вырвались из пустыни. Разбив тяжелые суконные палатки и завернувшись в шерстяные бурнусы, они ждали наступления ночи. Сейчас они ели просяную кашу, сдобренную кислым молоком, хлеб, сушеные финики, имевшие привкус меда и перца. В вечернем воздухе над головой детей вились мухи и москиты, на их запыленные руки и щеки садились осы.

Теперь все говорили очень громко, женщины в душной тени шатров, смеясь, бросали мелкие камешки в играющих детей. Речи мужчин лились неудержимым потоком, как во хмелю, слова, слетавшие с губ, пели, звенели гортанной трелью. Позади шатров, у самых стен Смары, в ветвях акаций, в листве карликовых пальм шелестел ветер. И все-таки этих мужчин и женщин, чьи лица и тела отливали синевой и блестели от пота, по-прежнему окутывало безмолвие, и все-таки они не расстались с пустыней.

Они ничего не забыли. В сокровенной глубине их тел, в самом их нутре жило великое безмолвие, царившее над барханами. Вот в чем заключалась подлинная тайна их бытия. Время от времени человек с карабином, что-то рассказывавший Нуру, умолкал, оглядываясь назад, на вершину склона, откуда налетал ветер.

Иногда кто-нибудь из мужчин другого племени подходил к палатке и здоровался, протягивая в знак приветствия раскрытые ладони. Мужчины обменивались несколькими словами, именами. Но слова эти, эти имена мгновенно забывались — легкие, едва заметные следы, которые тотчас занесет песком.

Когда сюда, к колодцам, спускалась ночь, над миром вновь воцарялось звездное небо пустыни. В долине Сегиет-эль-Хамра ночи были теплее, в темном небе нарождалась новая луна. Вокруг палаток затевали свои танцы летучие мыши, пролетавшие над самой гладью воды, мерцало пламя жаровен, разносившее запах кипящего масла и дыма. Какие-то ребятишки бегали между шатрами, издавая гортанные возгласы, похожие на лай собак. Животные — стреноженные верблюды,

овцы и козы в загонах с оградой из камня — уже спали.

Мужчины могли позволить себе немного расслабиться. Вожатый положил свое ружье у входа в палатку и курил, глядя прямо перед собой. Он почти не слышал негромкого говора и смеха женщин, сидящих у жаровен. Быть может, он уносился мыслью к другим вечерам, к другим дорогам, словно ожоги, оставленные солнцем на его коже, и жажда, иссушившая его горло, были лишь предвестием другого томления.

Сон медленно сходил на Смару. Далеко на юге, на огромной каменистой Хамаде, ночью сон не приходил вовсе. Там люди цепенели от холода, когда ветер гнал тучи песка, обнажая подошвы гор. На дорогах пустыни не спят. Там живут, там умирают, ни разу не смежив выжженных усталостью и солнцем глаз. Иногда Синие Люди находили одного из своих: человек сидел на песке совершенно прямо, вытянув перед собой ноги, окоченевшее тело еле прикрыто пляшущими на ветру лохмотьями. Почерневшие глаза на сером лице впивались в зыбкую линию песчаных холмов на горизонте — так его настигла смерть.

Сон подобен воде: никто не может уснуть настоящим, глубоким сном вдали от источника. Ветер, будто из космоса, свистел над землей, отнимая у нее все ее тепло.

Но здесь, в красной долине, путники могли уснуть.

Вожатый проснулся раньше других и недвижно стоял у палатки. Он смотрел на туманную дымку, медленно ползущую вверх по склону долины в сторону Хамады. Туман стирал на своем пути следы ночи. Скрестив руки на груди и сдерживая дыхание, вожатый глядел вперед немигающими глазами. Он ждал первого проблеска утренней зари, *фаджр*, белого пятна, рождающегося на востоке над холмами. И когда забрезжил ее свет, он склонился к Нуру и осторожно разбудил сына, положив руку ему на плечо. Вдвоем они молча двинулись прочь от палатки по песчаной тропинке, ведущей к колодцу. Где-то вдали лаяли собаки. В сероватом свете зари отец и сын, согласно обычному ритуалу, омыли одну часть тела за другой, повторив омовение трижды. Вода в колодце была холодной и чистой, вода, рожденная песком и ночью. Мужчина и мальчик еще раз омыли лицо и руки, потом обратились к востоку, чтобы сотворить первую молитву. Солнце уже начало золотить горизонт.

В становье в еще не рассеявшейся мгле краснели огоньки жаровен. Женщины шли за водой, девочки, вскрикивая, вбегали в холодную воду и выходили, покачиваясь и поддерживая на худых плечах глиняные кувшины.

Все шумы людского бытия начали постепенно оживать, поднимаясь от палаток и землянок: звяканье и скрежет металла, стук камня, плеск воды. Желтые собаки, собравшиеся посреди становья, бегали по кругу и тявкали. Верблюды и овцы переминались на месте, взбивая копытами красную пыль.

Вот когда был прекрасен свет, озарявший Сегиет-эль-Хамру. Его источали одновременно и небо, и земля, и был он золотистый и медный, и трепетал в безоблачном небе, не опалая и не ослепляя. Девушки, откинув полог шатра, расчесывали густые волосы, выбирая из них насекомых и сооружая высокую прическу, к которой прикалывали синее покрывало. Прекрасный свет играл на их загорелых лицах и руках.

Неподвижно сидя на корточках, Нур тоже любовался светом, заливавшим небо над становьем. Стаи куропаток медленно плыли в воздухе, взмывая вверх над красной долиной. Куда лежал их путь? Быть может, к каменистым вершинам, возвышающимся над долиной Сегиет, к узким красным ущельям между горами Агмар. А когда зайдет солнце, они снова вернутся в просторную долину, к полям, где жилища людей похожи на термитники.

Быть может, они бывают в Аюне, городе из земли и досок, где есть дома, крытые красным металлом; быть может, долетают до самого моря, открытого моря, изумрудного и бронзового.

Новые путники стали прибывать в долину Сегиет-эль-Хамра, караваны людей и животных, которые спускались с песчаных холмов, поднимая облака красной пыли. Они проходили мимо палаток не поворачивая головы, все еще

далекие от всего, погруженные в свое одиночество, словно они по-прежнему шли по пустыне.

Медленно тянулись они к колодцу, чтобы смочить водой кровоточащие губы. Вверху, над Хамадой, поднялся ветер. Он слабел в долине, в листве карликовых пальм, среди колючих кустарников и лабиринтов, выложенных из камня. Но в глазах путников сверкал и переливался другой мир: изрезанные остроконечными скалами равнины, неприступные горы, расщелины, песчаные просторы, искрящиеся на солнце. Небо было безбрежным, беспощадная его синева опаляла лицо. А там вдали, где вздымались цепи барханов, в каком-то запредельном пространстве брели еще другие люди.

Но оно-то и было их настоящим миром. Песок, камни, небо, солнце, безмолвие, страдание, а вовсе не города из железа и бетона, где слышалось журчание фонтанов и человеческие голоса. В этом мире царил неписанный закон пустыни, где все становилось возможным, и ты шел, не отбрасывая тени, у самого края собственной смерти; Синие Люди, которые по невидимой дороге двигались к Смаре, были свободны, как никто в целом свете. Вокруг них насколько хватал глаз высились гребни сыпучих барханов, зыбилось пространство, которое нельзя измерить. Женщины и дети ступали босыми ногами по песку, оставляя на нем легкий след, тотчас стираемый ветром. Вдали, между землей и небом, плыли миражи — белые города, базары, караваны верблюдов и ослов, груженных съестными припасами, — мерцающие видения. И сами путники были похожи на миражи, порожденные голодом, жаждой и усталостью на бесплодной земле.

Дороги шли по кругу, они всегда возвращали к началу пути, с каждым витком все теснее опоясывая Сегиет-эль-Хамру. Странствие не имело конца, ибо было оно длиннее, чем жизнь человеческая.

Одни путники прибывали с востока, из-за гор Адме-Риех, из-за Етти, из-за Табельбала. Другие — с юга, от оазиса Эль-Харик, от колодцев Абд-эль-Малек. Они направлялись на запад и на север, к самому побережью, или же проходили через громадные соляные копи Тегаза. И возвращались оттуда со съестными припасами и оружием в святую землю, великую долину Сегиет-эль-Хамра, не зная, в какую сторону направятся потом. Они совершали свой путь, следуя движению звезд, стараясь укрыться от песчаных бурь, когда небо становится красным и пески приходят в движение.

Так жили они, мужчины и женщины, всегда в пути, не зная отдыха. И так они однажды умирали — от палящего зноя, от вражеской пули или от лихорадки. Женщины рожали детей, присев на корточки в тени шатра, — две другие женщины поддерживали роженицу, стянув ей живот широким полотняным поясом. И с первой минуты появления на свет человек принадлежал этому бескрайнему пространству, песку, чертополоху, змеям, крысам и в особенности ветру — это и была его истинная семья. Медноволосые девочки подрастали, учась бесконечному обряду жизни. Они не знали другого зеркала, кроме манящего простора гипсовых равнин под незамутненной гладью неба. Мальчики учились ходить, говорить, охотиться и сражаться для того лишь, чтобы научиться умирать среди песков.

Вожатый долго стоял недвижим возле палатки со стороны мужской ее половины и смотрел, как к песчаным холмам, к колодцам движутся караваны. Солнце освещало его смуглое лицо, орлиный нос, длинные курчавые волосы цвета меди. Нур пробовал с ним заговорить, но отец его не слышал. Потом, когда становье угмонилось, он сделал сыну знак, и они вдвоем зашагали на север по тропинке, которая поднималась вверх, к самому центру долины Сегиет-эль-Хамра. Иногда им встречался какой-нибудь путник, шедший по направлению к Смаре, они обменивались с ним двумя-тремя словами:

- Кто ты?
- Бу Сба. А ты?
- Ямайа.
- Откуда ты?
- Из Айн-Пара.

— А я с юга, из Игетти.

И, не прощаясь, шли каждый своей дорогой. Дальше тропинка почти терялась среди щебня в кустах чахлых акаций. Здесь трудно было идти из-за острых камней, торчащих из красной земли, Нур с трудом поспевал за отцом. Солнце сверкало уже ярче, ветер пустыни взметал пыль под их ногами. В этом месте долина сужалась, превращаясь почти в ущелье, местами серое, местами красное, а кое-где отливавшее металлическим блеском. Высохшее русло реки загромождали камни — красная и белая галька и черные кремни, на которых искрами вспыхивали солнечные лучи.

Вожатый шел лицом к солнцу, чуть подавшись вперед и прикрыв голову полой бурнуса. Острые колючки кустарника рвали одежду Нура своими когтями, царапали икры и босые ступни, но он не обращал на это внимания. Он не отрываясь смотрел вперед, на фигуру отца, торопливо продолжавшего свой путь. И вдруг оба разом остановились: посреди каменистых холмов, сверкая в солнечном свете, показалась белая гробница. Мужчина застыл, чуть качнувшись вперед, словно кланяясь усыпальнице. Потом оба двинулись дальше по осыпавшимся под ногами камням.

Медленно, не опуская глаз мужчина поднимался к гробнице. И по мере того как они подходили ближе, купол ее, казалось, возносился вверх, отрываясь от красных камней. Дивное чистое солнце озаряло усыпальницу, и она словно бы разбухала в перегретом воздухе. Тут не было ни малейшей тени — одни только острые камни холма да внизу высохшее русло реки.

Отец с сыном подошли к гробнице. Она представляла собой четыре слеplенные из глины и побеленные известью стены на фундаменте красного камня. Единственная дверь, ведущая внутрь и похожая на жерло печи, была завалена большим красным камнем. Возвышавшийся над стенами белый яйцевидный купол кончался острием. Нур смотрел теперь только на вход в усыпальницу, который все рос на его глазах, становясь дверью какого-то гигантского монумента со стенами наподобие меловых утесов и куполом величиной с гору. Здесь спадали ветер и зной пустыни, смягчалось дневное одиночество; здесь обрывались легкие следы — даже те, что были оставлены сбившимися с пути, безумцами или побежденными. Быть может, это и было самое сердце пустыни, то место, откуда все началось в ту пору, когда люди впервые появились на земле. Гробница сияла на склоне красного холма. Солнечные лучи отражались от плотно утопанной земли, в их свете яростно пылал белый купол, и время от времени по трещинам стен струились ручейки красной пыли. Вблизи гробницы не было ни души, кроме Нура и его отца. Непроницаемое безмолвие царило в долине Сегиет-эль-Хамра.

Отвалив широкий камень, мужчина увидел круглый дверной проем, за ним — густой холодный мрак, и ему показалось, что он ощутил на своем лице дыхание мрака.

Усыпальницу окружала площадка, красная земля ее была утрамбована ногами паломников. Здесь и остановились вначале отец с сыном, чтобы сотворить молитву. На вершине этого холма, у гробницы святого, вокруг которой насколько хватал глаз простирала свое иссохшее ложе долина Сегиет-эль-Хамра, перед бесконечной далью горизонта, где на фоне синего неба рисовались другие холмы, другие горы, безмолвие пронзало еще острее.

Точно мир перестал вдруг двигаться и говорить и весь обратился в камень.

И все-таки время от времени Нур слышал, как потрескивают земляные стены, как жужжат насекомые и стонет ветер.

«Я пришел к тебе, — говорил, преклонив колени на утопанной земле, человек. — Помоги мне, дух отца моего, дух деда моего. Я прошел через пустыню, я пришел просить перед смертью твоего благословения. Помоги мне, благослови меня, ведь я плоть твоя. Я пришел».

Так говорил отец, и Нур слушал его слова, не понимая их смысла. Отец говорил то громко, то напевным шепотом и покачивал головой, все время повторяя простые слова: «Я пришел к тебе, я пришел».

Наклонившись вперед, он собирал горстями красную пыль и посыпал ею лицо: лоб, веки, губы.

Потом отец встал и подошел к двери. У проема он снова преклонил колени и стал молиться, касаясь лбом каменного порога. Мрак в гробнице медленно таял, словно ночной туман. Внутри стены были голыми и белыми, как и снаружи, а на низком потолке виднелись ветки, обмазанные землей.

Теперь и Нур на четвереньках вполз в гробницу. Он ощущал под ладонями жесткий, холодный пол — землю, пропитанную овечьей кровью. В глубине усыпальницы отец распростерся ниц на утопанной земле. Касаясь ее ладонями, вытянув вперед руки, он, казалось, слился с ней. Он уже не молился, не пел. Он медленно дышал, прижавшись ртом к земле, прислушиваясь к биению собственной крови в груди и в ушах. В него словно проникало что-то извне через рот, через лоб, через ладони рук и живот, и это что-то просачивалось в самую глубину его существа и незаметно преображало его. Быть может, то было безмолвие, рожденное пустыней, морем песчаных холмов, каменными горами, залитыми светом луны, или бескрайними розовыми песчаными равнинами, где солнечный свет пляшет, мерцает, похожий на сетку дождя; безмолвие водоемов с зеленой водою, которые смотрят в небо, точно глаза; безмолвие неба, на котором не видно ни облачка, ни птицы и только вольно гуляет ветер.

Простершийся на земле человек чувствовал, как все его тело наливается тяжестью. Тень застилала глаза, словно он погружался в дремоту. И в то же время его грудь, его руки, играя в каждом его мускуле, наполняла новая сила. Все преображалось в нем, все обновлялось. Исчезли страдания, желания, жажда мести. Он забыл о них, словно молитва омыла его дух. Иссякли слова — в прохладном мраке усыпальницы они были не нужны. Их заменял удивительный ток — эти волны, это тепло, — который источала пропитанная кровью земля. Это было не сравнимо ни с чем в мире. Это была воля, не нуждавшаяся в посредничестве мысли, воля, исходившая из самых недр земли, передававшаяся в глубину пространства и словно невидимой нитью связавшая распростертого человека со всем остальным миром.

Нур, затаив дыхание, глядел на своего отца во мраке гробницы. Растопыренными пальцами он касался холодной земли, которая увлекала его в головокружительный бег через пространство.

Долго оставались они так — отец, распростершийся ниц, и Нур на четвереньках, неподвижный, с широко раскрытыми глазами. Потом, когда все было кончено, отец медленно встал и вывел сына из гробницы. Снова завалив камнем вход, он сел рядом, привалившись к стене усыпальницы. Казалось, он совсем обессилел, точно после долгого странствия без пищи и воды. Но душа его обрела теперь новую силу, его наполняла радость, сиявшая во взгляде. Он словно знал отныне, что должен делать, словно предчувствовал путь, который ему предстоит пройти.

Он прикрыл лицо полой шерстяного бурнуса и возблагодарил святого, без слов, только слегка покачивая головой, а из горла у него вырвались какие-то напевные звуки. Длинные синие пальцы ласкали утопанную землю, захватывая щепотки мелкой пыли.

Перед ними медленно скатывалось по небосклону солнце, садившееся по ту сторону Сегиет-эль-Хамры. На дне долины удлинялись тени холмов и скал. Но мужчина, казалось, ничего не замечал. Недвижимый, прижавшись спиной к стене гробницы, он не чувствовал, как убывает день, не ощущал ни голода, ни жажды. Иная сила, иной ход времени завладели его душой, отрешили от человеческих связей. Быть может, он ничего больше не ждал, ничего больше не знал и стал подобен пустыне, безмолвию, оцепенению, небытию.

Сгушалась тьма, и Нур, испугавшись, тронул отца за плечо. Тот посмотрел на сына, но не сказал ни слова и только едва заметно улыбнулся. И оба зашагали вниз, к пересохшему руслу реки. Хотя уже стемнело, но свет еще резал глаза, знойный ветер опалял лицо и руки. Мужчина слегка пошатывался, и ему пришлось опереться на плечо сына.



Внизу, на дне долины, вода в колодцах почернела. Москиты плясали в воздухе, норовя ужалить детей прямо в глаза.

Дальше, у красных стен Смары, пронеслись низко, над самыми палатками, кружили возле жаровен летучие мыши. Приблизившись к первому колодцу, Нур и его отец снова тщательно омыли каждую часть тела. Потом сотворили последнюю молитву, повернув лицо в ту сторону, откуда спускалась ночь.

---

Все больше и больше людей стекалось в долину Сегиет-эль-Хамра. Они прибывали с юга, некоторые на верблюдах и лошадях, но большинство пешком: животные погибали в пути от жажды и болезней. Каждый день вокруг глинобитных стен Смары на глазах у мальчика появлялись новые шатры. Всё новые ряды суконных палаток окружали городские стены. Каждый вечер, с наступлением темноты, Нур видел путников, бредущих к становой в облаках пыли. Никогда еще он не встречал такого многолюдства. Слышался неумолчный гул мужских и женских голосов, пронзительные вопли детей, их плач; они смешивались с криками погонщиков коз и овец, грохотом упряжек, ворчанием верблюдов. Станный, непривычный Нуру запах поднимался от песка, налетал вместе с порывами вечернего ветра; то был крепкий запах, едкий и в то же время сладкий, запах кожи, дыхания, пота множества людей. В сумерках горели костры, сложенные из древесного угля, хвороста и кизяка. Над шатрами поднимался дым жаровен. Нур слышал, как, укачивая детей, протяжно и ласково напевают женщины.

Среди вновь прибывших больше всего было стариков, женщин, детей, измученных стремительным переходом через пустыню, они были в лохмотьях, босые или в опорках. Их обожженные солнцем лица почернели, глаза горели точно угольки. Дети шли нагишом, ноги их были изранены, животы вздуты от голода и жажды.

Нур бродил по становой, протискиваясь между палатками. Его удивляло такое скопище людей, а сердце ныло; сам не зная почему, он думал о том, что многие из этих мужчин, женщин и детей скоро погибнут.

Ему встречались всё новые путники, медленно бредущие вдоль улочек, образованных шатрами. Некоторые пришельцы с самого дальнего юга были черны, как суданцы, и говорили на языке, незнакомом Нуру. У большинства мужчин лица были закрыты покрывалом; они носили шерстяные бурнусы, а под ними — синюю полотняную одежду и на ногах — сандалии из козьей кожи. Вооружение их составляли длинные кремневые ружья с бронзовым стволом, копья и кинжалы. Нур сторонился, уступая им дорогу, и глядел им вслед, пока они шли к воротам Смары. Они шли поклониться великому шейху Мауле Ахмеду бен Мухаммеду аль-Фадалю, тому, кого прозвали Ма аль-Айнин — Влага Очей.

Они рассаживались на глинобитных скамьях, окружавших двор у дома шейха. Потом, на закате, собирались с восточной стороны колодца и на коленях творили вечернюю молитву, обратившись лицом в сторону пустыни.

Когда настала ночь, Нур вернулся к шатру своего отца и сел рядом со старшим братом. В правой части палатки, лежа на кошмах между съестными припасами и выючным седлом верблюда, вели разговор мать и сестры. Мало-помалу над Смарой воцарялась тишина, один за другим замирали голоса людей и крики животных. На черном небе появилась полная луна — великолепный белый, ставший таким огромным диск. Ночь была холодной, хотя песок еще хранил остатки дневного зноя. В лунном свете, стремительно ныряя к земле, пронеслись летучие мыши. Нур, лежа на боку, подложив под голову руку, следил за их полетом, ожидая, когда придет сон. И заснул сразу, сам того не заметив, даже не успев закрыть глаза.

Он проснулся со странным чувством, будто время остановилось. Нур поискал глазами лунный диск и, только убедившись, что тот начал клониться к

западу, понял, что спал долго.

Над лагерьем царила гнетущая тишина. Лишь где-то вдаль, на границе пустыни, выли дикие собаки.

Нур встал и увидел, что отца и братьев уже нет в палатке. В правой ее стороне в сумраке смутно рисовались только тела завернувшихся в кошмы женщин и детей. Нур зашагал по песку между палатками в сторону крепостных стен Смары. В лучах луны песок был совершенно белым, с синими тенями от камней и кустов. Не слышно было ни звука, будто весь лагерь еще спал, но Нур знал, что мужчины покинули шатры. Спали только дети, а женщины, закутанные в бурнусы и кошмы, сидели не шевелясь и глядели наружу. Ночная сырость пробирала до костей, утопанный песок охлаждал босые ноги.

Подойдя к стенам города, Нур услышал гул мужских голосов. Чуть дальше, у городских ворот, он увидел часового: тот замер, сидя на корточках и прислонив к коленям длинный карабин. Но Нур знал место, где земляная стена обрушилась, через эту брешь можно было проникнуть в город, минуя стража.

Он сразу понял, что во дворе у дома шейха мужчины собрались на совет. Все они сидели на земле группами по пять-шесть человек вокруг жаровен, на которых в больших медных чайниках кипятили воду для зеленого чая. Нур бесшумно проскользнул в их круг. Никто даже не взглянул на него. Все смотрели на группу воинов, стоявших перед дверью дома. То было несколько воинов пустыни в синей одежде — они застыли в полной неподвижности, не сводя глаз со старого человека, облаченного в простой белый бурнус с капюшоном, и с двух вооруженных юношей, которые по очереди о чем-то возбужденно говорили.

С того места, где он сидел, Нур не мог расслышать их слов из-за гудения мужских голосов, которые повторяли или обсуждали сказанное. Когда глаза его привыкли к резкому контрасту между мраком и красным пламенем жаровен, Нур узнал старика. То был великий Ма аль-Айнин, которого Нур уже видел, когда отец и старший брат приходили поклониться шейху по прибытии к колодцам Смары.

Нур спросил у соседа, кто эти двое юношей рядом с шейхом. И услышал в ответ: «Саадбу и Лархдаф, братья Ахмеда ад-Дехибы, которого прозвали Золотая Капля. Он скоро будет нашим истинным повелителем».

Нур не пытался услышать слова двух молодых воинов. Он пожирал взглядом хрупкую фигуру неподвижно стоявшего между ними старца, чей бурнус выделялся ярким белым пятном в лунном свете.

Остальные также не сводили со старца глаз, они все точно слились в этом едином взгляде, словно на самом деле речь держал он и, стоит ему подать знак, все изменится, ибо он один может даровать им закон пустыни.

Но Ма аль-Айнин не шевелился. Казалось, он не слышит ни того, что говорят ему сыновья, ни непрерывного гула голосов сотен мужчин, сидящих во дворе его дома. Порой он чуть поворачивал голову и смотрел вдаль, поверх сидящих вокруг людей и земляных стен своего города, на темное небо, туда, где высились каменные холмы.

Быть может, подумал Нур, он просто хочет, чтобы мы все вернулись в пустыню, туда, откуда пришли, и сердце Нура сжалось. Он не понимал, что говорят люди вокруг него. Небо над Смарой было бездонным, холодным, звезды утонули в светлой дымке лунного света. В этом было словно бы предвестие смерти и разорения, предвестие зловещего небытия, которое рождало тоскливую пустоту в неподвижных шатрах и в стенах города. Нур особенно сильно ощущал это, когда глядел на хрупкую фигуру великого шейха, словно проникая в самое сердце старика, проникая в его молчание.

К Ма аль-Айнину по очереди подходили другие шейхи, вожди племен и Синие Воины. Все они говорили одно и то же голосами охрипшими от усталости и иссушающего зноя. Они рассказывали о христианских солдатах, захвативших южные оазисы и начавших войну с кочевниками; рассказывали о крепостях, возводимых христианами в пустыне и преграждающих доступ к колодцам вплоть до самого берега моря. Рассказывали о проигранных битвах, об убитых, которых так много, что даже не упомянуть их имен, о женщинах и детях, толпами бежавших

на север через пустыню, о скелетах животных, валяющихся повсюду на дорогах. Рассказывали об остановленных в пути караванах — христианские солдаты освобождали рабов и отправляли их на юг, а туарегам платили деньги за каждого похищенного в караване раба. Рассказывали о захваченных товарах и стадах, о разбойничьих шайках, наводнивших пустыню одновременно с христианами. Рассказывали о войсках христиан, у которых проводниками служат негры с юга и которые так многочисленны, что растянулись по песчаным холмам до самого горизонта. О всадниках, которые окружают шатры кочевников и на месте убивают всех, кто оказывает им сопротивление, а детей уводят с собой, чтобы отдать их в христианские школы в крепостях на побережье. И, слушая их рассказы, другие мужчины подтверждали: «Клянусь Аллахом, это правда», и гул голосов становился громче, он прокатывался по площади, подобный шуму налетевшего ветра.

Нур слушал то нарастающий, то убывающий гул голосов, подобный ветру пустыни, что пробегает по барханам, и горло его сжималось: он чувствовал, что над городом и над всеми этими людьми нависла смертельная угроза, угроза, которой он еще не понимал.

Почти не мигая, смотрел он теперь на белый силуэт старца, неподвижно стоявшего между сыновьями, несмотря на усталость и ночной холод. Нур думал, что только Ма аль-Айнин в силах изменить течение этой ночи, одним мановением руки успокоить гнев толпы или, наоборот, несколькими словами, которые будут передавать из уст в уста, разжечь его, всколыхнув волну горечи и ярости. Все мужчины, как и Нур, глядели на него воспаленными от усталости и лихорадки глазами с обострившимся от пережитых страданий вниманием. Кожа у них задубела от солнечных ожогов, губы иссушил ветер пустыни. Они сидели почти не шевелясь, не сводя глаз с Ма аль-Айнина, ожидая одного только знака. Но шейх, казалось, не замечал ничего. Взгляд его был неподвижен и устремлен вдаль, через головы людей на земляные стены Смары. Быть может, он искал ответа на людскую тревогу в глубине ночного неба, в странном туманном ореоле, окружавшем лунный диск. Нур посмотрел вверх, туда, где обычно горят семь звезд Малой Медведицы, но ничего не увидел. Только планета Юпитер застыла в холодном небе. Свет луны все окутал своей дымкой. Нур любил звезды, отец научил его их именам с малолетства, но в эту ночь он словно бы не узнавал неба. Оно было огромным, холодным и слепым, затопленным белым лунным светом. На земле красные пятна жаровен причудливо освещали лица мужчин. Быть может, это страх так изменил все вокруг, иссушил лица и руки мужчин, оставив от них кожу да кости, черной тенью залег в пустых глазницах; это ночь заморозила свет людских глаз и вырыла бездонный провал в небесных глубинах.

Мужчины, стоявшие подле Ма аль-Айнина, наконец умолкли, каждый в свой черед. Нур слышал об этих людях от отца. То были вожди грозных кланов, легендарные воины племен маакиль, ариб, улад-яхья, улад-делим, аросин, ишергигин, воины племени регибат, чьи лица скрывались под черными покрывалами, и те, кто говорил на языке шлехов, ида-у-беяль, ида-у-мерибат, аит-ба-амран, но явились сюда и никому не известные люди, пришедшие от самых границ Мавритании, из Томбукту, те, что не захотели сесть у жаровен, а остались стоять у входа на площадь, закутавшись в бурнусы, с видом одновременно боязливым и надменным, те, что не захотели говорить. Нур переводил взгляд с одного на другого и чувствовал, как на всех лицах проступает зловещая опустошенность, словно вот-вот должен пробить их смертный час.

Ма аль-Айнин не видел их. Он ни на кого не смотрел — разве только один раз его взгляд на мгновение задержался на лице Нура, точно шейх удивился, увидев мальчика среди многолюдного собрания мужчин. С этого мгновения, мимолетного, как вспышка едва уловимого света, от которого сердце Нура забило чаще и громче, мальчик стал ждать, чтобы старый шейх подал знак собравшимся перед ним воинам. Но старик оставался все так же недвижим, словно мысли его были далеко, а двое его сыновей, наклонившись к нему, что-то тихо ему говорили. Наконец шейх извлек из своего бурнуса четки черного дерева и медленно опустился на землю, склонив голову вперед. Он начал молиться,

повторяя слова, придуманные им для него одного, и сыновья его опустились на землю рядом с ним. И тут, словно этим простым движением было сказано все, голоса умолкли, и на площади, залитой слишком ярким светом полной луны, воцарилось напряженное, ледяное молчание. Отдаленные, прежде едва уловимые звуки, доносившиеся из пустыни: шум ветра, треск разошедшихся камней на взгорьях, отрывистый лай диких собак — постепенно заполнили тишину. Не прощаясь, не говоря ни слова, бесшумно, один за другим мужчины вставали и покидали площадь. Они шли пыльной дорогой поодиночке, им не хотелось разговаривать. Отец тронул Нура за плечо, и мальчик тоже встал и пошел. Но прежде чем покинуть площадь, он обернулся, чтобы посмотреть на странную хрупкую фигуру старца, который теперь, совсем один в лунном свете, повторял нараспев молитву, раскачиваясь, словно всадник.

В последующие дни тревога в становой у ворот Смары все росла и росла. Почему — объяснить было невозможно, но все чувствовали ее, точно сердечную муку, точно угрозу. Днем жарко пекло солнце, его беспощадный свет играл на острых камнях и в руслах пересохших рек. Вдали сверкали скалистые отроги Хамады, над долиной Сегиет непрестанно рождались миражи. Каждый час прибывали всё новые толпы бежавших с юга кочевников, изнуренных усталостью и жаждой; на горизонте их силуэты сливались со сменявшимися друг друга миражами. Путники медленно передвигали ноги в сандалиях из козьей кожи, неся на спине свой скудный скарб. Иногда за ними шли отощавшие от голода верблюды, охромевшие лошади, козы и овцы. Люди торопливо разбивали шатры на краю стана. Никто не подходил к ним, чтобы сказать слова приветствия или спросить, откуда они пришли. У некоторых на теле виднелись шрамы — следы сражений с христианскими воинами или разбойниками из пустыни; большинство были совершенно обессилены, истощены лихорадкой и желудочными болезнями. Иногда прибывали вдруг остатки какого-нибудь отряда, поредевшего, потерявшего предводителей и женщин; чернокожие мужчины, почти совсем нагие, в лохмотьях; их пустые глаза горели лихорадкой и безумием. Они жадно пили воду из фонтана у ворот Смары, а потом ложились на землю в тени городских стен, словно хотели забыться сном, но глаза их оставались широко открытыми.

С той ночи, когда собрался совет племен, Нур больше не видел ни Ма аль-Айнина, ни его сыновей. Но он знал, что ропот, утихший в ту минуту, когда шейх начал молитву, на самом деле не прекратился. Только теперь ропот этот выражался не в словах. Отец, старший брат и мать Нура ничего не говорили, они отворачивались в сторону, точно не хотели, чтобы их о чем-нибудь спрашивали. Но тревога все росла, она чувствовалась в лагерном гуле, в нетерпеливых криках животных, в шуме шагов новых пришельцев с юга, в том, как резко мужчины бранили друг друга или детей. Тревога чувствовалась и в едком запахе, запахе пота, мочи, голода, в том терпком духе, который шел от земли и от тесного становой. Тревога росла из-за скудности пищи; несколько приперченных фиников, кислое молоко да ячменная каша — всё это съедали наспех на рассвете, когда солнце еще не появлялось над барханами. Тревога чувствовалась в грязной воде колодцев, которую взбаламутили люди и животные и которую уже не мог сдобрить зеленый чай. Давно кончились сахар и мед, финики стали твердыми как камни, а мясо — плоть верблюдов, павших от истощения, — было горьковатым и жестким. Тревога росла в пересохших глотках и кровоточащих пальцах, во время дневного зноя, когда головы и плечи мужчин наливались тяжестью, и в ночную стужу, когда у детей, завернутых в старые кошмы, зуб на зуб не попадал от холода.

Каждый день, проходя мимо палаток, Нур слышал, как голоса женщин, оплакивая тех, кто умер ночью. С каждым днем лагерь все больше охватывали гнев и отчаяние, и сердце Нура щемило все сильнее. Он вспоминал взгляд шейха, устремленный вдаль, к невидимым в ночи холмам, а потом вдруг, в мгновение, мимолетное, как вспышка света, скользнувший лучом по Нуру и озаривший его душу.

Все они пришли издалека в Смару, словно то была конечная цель их пути.

Словно теперь обещали осуществиться все их помыслы. А пришли они сюда потому, что земля уходила у них из-под ног, рушилась за их спиной и не было у них отныне пути назад. И вот они, сотни, тысячи людей, собрались здесь, на земле, которая не могла их принять, на безводной, безлесной, голодной земле. Взгляды их то и дело устремлялись к тому, что виднелось на горизонте, к неприступным горным вершинам на юге, к беспредельным пустыням на востоке, к пересохшим руслам рек долины Сегиет, к высоким нагорьям на севере. И еще взгляд их терялся в бездонном безоблачном небе, где пылало слепящее солнце. И тогда тревога становилась страхом, а страх — гневом, и Нур чувствовал, как над становьем прокатывается какая-то неведомая волна; быть может, то был запах, поднимавшийся от палаток и со всех сторон подступавший к Смаре. Был тут еще дурман, хмель опустошения и голода, преобразивший все формы и краски земные, изменявший цвет неба; от него на раскаленных солончаках возникали громадные озера с чистой, прозрачной водой, а небесная лазурь населялась стаями птиц и роем насекомых.

На заходе солнца Нур садился у глинобитной стены и смотрел на площадь, туда, где в ту ночь появился Ма аль-Айнин, на то ничем не отмеченное место, где шейх опустил на землю для молитвы. Иногда вместе с Нуром приходили мужчины и стояли недвижимо у ворот, глядя на красную глинобитную стену с узкими окнами. Они ничего не говорили, только смотрели. А потом возвращались в свои шатры.

Наконец, после всех этих долгих дней, когда на земле и на небе царили гнев и страх, после долгих студеной ночей, когда люди, едва успев заснуть, просыпались вдруг без всякой причины с лихорадочно блестящими глазами, обливаясь холодным потом, после этого бесконечно долгого времени, понемногу уносившего стариков и детей, внезапно — никто толком не знал почему — все поняли: пришла пора сниматься с места.

Нур почувствовал это еще до того, как об этом заговорила мать, до того, как старший брат сказал ему смеясь, точно все вдруг переменялось: «Завтра, а может, послезавтра, слышишь меня, мы тронемся в путь, мы пойдем на север, так объявил шейх Ма аль-Айнин, мы пойдем далеко-далеко!»

Быть может, новость эту принес ветер, а может, пыль, а может, Нур почувствовал ее, глядя на утопанную землю на площади Смары.

Новость с невиданной быстротой распространилась по всему становью, она музыкой звучала в воздухе. Голоса мужчин, крики детей, звон меди, ворчание верблюдов, топот и ржание лошадей — все это напоминало шум дождя, хлынувшего в долину и увлекающего за собой красные струи потоков. Мужчины и женщины бегали между палатками, лошади били землю копытами, стреноженные верблюды кусали свои путы — так велико было нетерпение. Невзирая на обжигающий зной, женщины разговаривали и перекрикивались, стоя у палаток. Никто не смог бы сказать, кто первым принес новость, но все повторяли пьянящие слова: «Мы тронемся в путь, мы тронемся в путь на север».

Глаза отца Нура сверкали каким-то лихорадочным восторгом:

— Мы скоро тронемся в путь, так сказал наш великий шейх, мы скоро тронемся в путь.

— Куда? — спросил Нур.

— На север, через горы Дра, к Сусу, Тизниту. Там нас ждет вода и земля, ее хватит на всех, это сказал сын Ма аль-Айнина, Мауля Хиба, наш истинный повелитель, и Ахмед аш-Шамс это подтвердил.

Мужчины группами шли между палатками, направляясь к Смаре, водоворот подхватил и Нура. Красная пыль взвивалась из-под их ног, из-под копыт животных, облаком стояла над становьем. Уже слышались первые ружейные выстрелы, и едкий запах пороха вытеснял запах страха, царивший над лагерем до сих пор. Нур шел вперед, ничего не видя, мужчины толкали его, прижимали к стенам шатров. Пыль сушила горло, разъедала глаза. Немилосердно жгло солнце, прорезая толщу пыли белыми сполохами. Некоторое время Нур брел наугад, вытянув вперед руки. Потом рухнул на землю и вполз в какую-то палатку. В ее

полумраке он пришел в себя. В глубине палатки, у самой стенки, завернувшись в синий бурнус, сидела старуха. Увидев Нура, она сначала приняла его за воришку и стала выкрикивать ругательства, бросая ему в лицо камни. Потом она подползла ближе и увидела на покрытых пылью щеках красные бороздки слез.

— Что с тобой? Ты болен? — спросила она уже ласковой.

Нур покачал головой. Женщина подползла к нему на четвереньках.

— Ты, верно, болен, — сказала она. — погоди, я дам тебе чаю.

Она налила ему чаю в медную кружку.

— На, выпей.

Обжигающий чай подкрепил Нура.

— Мы скоро уйдем отсюда, — сказал он не совсем уверенным голосом.

Старуха внимательно поглядела на него. Потом пожала плечами.

— Да, так они все говорят.

— Это великий день для нас, — сказал Нур.

Но, похоже, старуха не считала, что это такая уж важная новость; как видно, она была слишком стара.

— Ты, быть может, и дойдешь до тех мест на севере, о которых они говорят. А я умру по дороге. — И она повторила: — Я умру по дороге, я не дойду.

Немного погодя Нур выбрался из палатки. Проходы между шатрами вновь опустели, точно все живое покинуло стан. Но в темной глубине палаток Нур различал очертания человеческих фигур, то были старики, больные, которых трясло, несмотря на жару, молодые женщины, державшие на руках младенцев и вперившие в пространство ничего не видящие, печальные глаза. И снова сердце Нура сжалось: под сенью шатров веяло смертью.

По мере того как он приближался к стенам города, все громче звучала ритмичная музыка. Перед воротами Смары вокруг музыкантов широким полукругом столпились женщины и мужчины. Нур услышал пронзительный голос флейт, который звучал то громче, то тише, потом и вовсе умолк, между тем как барабаны и трехструнные скрипки неустанно повторяли одну и ту же фразу. Глубокий мужской голос заунывно тянул какую-то андалузскую песню, но слов ее Нур разобрать не мог. Над красным городом простиралось ярко-синее безоблачное и безжалостное небо. Сейчас должно было начаться празднество, обычное перед выступлением в поход; оно продлится до утра, а может, и до следующего дня. В воздухе будут реять флаги, всадники начнут скакать вокруг крепостных стен и стрелять в воздух из длинноствольных ружей, а женщины — вскрикивать вибрирующими, точно тремоло погремушек, голосами.

Нура захватил хмельной дурман музыки и танца, и он позабыл о тени смерти, витающей под сводами шатров. Он как бы уже начал свой путь к высоким северным скалам, туда, где начинаются нагорья, туда, где нарождаются светлые реки, воды, которых еще никто никогда не видел. И все же тоска, поселившаяся в нем с той минуты, когда он увидел прибывающие толпы кочевников, по-прежнему гнездилась где-то в глубине его души.

Ему хотелось увидеть Ма аль-Айнина. Он обогнул толпу, надеясь встретить шейха среди поющих мужчин, но того в толпе не было. Тогда Нур направился к городским воротам. Он проник в город через тот же провал, которым воспользовался в ночь совета. Утоптанная площадь была безлюдна. Стены дома, где жил шейх, сверкали в солнечном свете. На белой поверхности вокруг двери красной глиной были нанесены диковинные рисунки. Нур долго разглядывал их, разглядывал изъеденные ветром стены. Потом зашагал к центру площади. Земля под его босыми ногами была раскаленной и жесткой, словно каменные плиты в пустыне. Здесь, в этом пустынном дворе, звуки флейт почти не были слышны, словно Нур перенесся на другой край света. Мальчик шел к центру площади, а мир вокруг него рос и становился огромным. Нур отчетливо слышал, как бьется кровь в жилах на шее и висках, и казалось, стук его сердца отдается даже в земле под его ногами.

Подойдя к глинобитной стене в том самом месте, где старец творил молитву, Нур распростерся ниц, прильнув лицом к земле, не шевелясь, ни о чем не думая.

Пальцы его вцепились в землю, как если бы он повис на краю высоченной скалы, в рот и ноздри забила пыль, имевшая привкус праха.

Прошло много времени, прежде чем Нур осмелился поднять голову, и тут он увидел белый бурнус шейха.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Ма аль-Айнин. Голос его был очень тихим и далеким, словно доносился с другого конца площадки.

Нур смутился. Он привстал на колени, но не поднял склоненной головы: он не решался взглянуть на шейха.

— Что ты здесь делаешь? — повторил старик.

— Я... я молился, — ответил Нур. И добавил: — Хотел молиться.

Шейх улыбнулся:

— И не смог?

— Нет, — просто ответил Нур. Он коснулся рук старца: — Прошу тебя, благослови меня во имя Аллаха!

Ма аль-Айнин провел руками по волосам Нура, легонько помассировал ему затылок. Потом поднял мальчика и поцеловал его.

— Как тебя зовут? — спросил он. — Не тебя ли я видел в ночь совета?

Нур назвал свое имя, имя своего отца и своей матери. При этом последнем имени лицо Ма аль-Айнина просияло.

— Стало быть, твоя мать происходит из рода Сиди Мухаммеда, по прозвищу Аль-Азрак, Синий Человек?

— Он приходился моей бабке дядей по матери, — сказал Нур.

— Стало быть, ты и в самом деле из рода шерифов<sup>2</sup>, — сказал Ма аль-Айнин. И долго молчал, впорыв взгляд серых глаз в глаза Нура, словно что-то вспоминая.

А потом стал рассказывать о Синем Человеке, которого повстречал у оазисов юга, по ту сторону скалистой Хамады, в далекие времена, когда в этой долине не было ничего, не было даже самого города Смара. Синий Человек обитал в хижине из камней и веток на краю пустыни, не страшась ни людей, ни зверья. Каждое утро у дверей своей хижины он находил финики, миску кислого молока и кувшин свежей воды — это Аллах хранил его и заботился о его пропитании. Когда Ма аль-Айнин пришел проситься к нему в ученики, Синий Человек отказал. Целый месяц Ма аль-Айнин спал у дверей его хижины, но Синий Человек не сказал ему ни слова и даже ни разу не взглянул в его сторону. Только оставлял ему половину фиников и кислого молока, и никогда Ма аль-Айнин не едал такой сытной пищи, а что до воды из кувшина — она в одно мгновение утоляла жажду и наполняла радостью, потому что то была самая чистая вода, собранная из прозрачной росы.

Но прошел месяц, и шейх все-таки загрустил, ведь Аль-Азрак так ни разу и не взглянул на него. И тогда он решил вернуться домой: Аль-Азрак счел его недостойным служить Аллаху, подумал он. Без надежды пустился он в путь к родной деревне, как вдруг увидел, что на дороге его поджидает какой-то человек. Это был Аль-Азрак. «Почему ты меня покинул?» — спросил он Ма аль-Айнина. А потом предложил побыть с ним в том самом месте, где они встретились. Много месяцев прожил с ним рядом Ма аль-Айнин, и в один прекрасный день Синий Человек сказал, что больше ничему не может его научить. «Но ты еще ничему не учил меня», — возразил Ма аль-Айнин. Тогда Аль-Азрак указал ему на блюдо с финиками, на миску с кислым молоком и кувшин с водой: «Разве я не делился с тобою всем этим с тех пор, как ты сюда пришел?» И он указал ему рукой на север, туда, где лежала долина Сегиет-эль-Хамра, и велел построить там священный город для своих сыновей, и даже предсказал, что один из них станет повелителем юга. И тогда Ма аль-Айнин с семьей покинул родную деревню и построил город Смара.

Кончив рассказ, шейх еще раз поцеловал Нура и скрылся во мраке своего

---

<sup>2</sup> *Шериф* (араб. шариф — честный, благородный) — в мусульманских странах почетное звание лиц, возводящих свою родословную к основателю ислама — Мухаммеду.

дома.

На другой день, на заходе солнца, Ма аль-Айнин вышел из дома, чтобы сотворить последнюю молитву. Взрослые обитатели шатров почти не ложились спать, они всё время пели, пристукивая в такт ногами по земле. Для них уже начался великий переход через пустыню, и дурманный хмель долгого пути через пески уже проник в их тело, пустыня уже напоила их своим знойным дыханием, уже рождала миражи перед их глазами. Никто не забыл перенесенных страданий, жажды, беспощадного солнца, накаляющего камни и бескрайние пески, горизонта, который все отступает и отступает вдаль. Никто не забыл неутолимого голода, голода всеобъемлющего, когда ты истосковался не только по пище, но и по надежде, по свободе, по всему, чего ты лишен, и оттого земля уходит у тебя из-под ног; голод этот толкает тебя вперед в тучах пыли, среди отупевших стад, гонит вверх по склону холма до самого гребня, чтобы оттуда ты вновь брел вниз, видя перед собой бесконечную череду таких же холмов.

Ма аль-Айнин снова опустил на землю посреди площади перед домиками, побеленными известкой. Но в этот раз по обе стороны от него сидели вожди. Нура и его отца он посадил рядом с собой, а старший брат Нура и его мать остались в толпе. Все обитатели палаток — мужчины и женщины — образовали на площади полукруг, некоторые сидели на земле, завернувшись в шерстяные бурнусы, чтобы уберечься от ночного холода, другие стояли или ходили вдоль стен, окружавших площадь. Музыканты наигрывали печальную мелодию, пощипывая струны гитар и ударяя кончиком указательного пальца по маленьким земляным барабанам.

Из пустыни налетал шквалистый ветер, швыряя в лица обжигавшие кожу песчинки. Небо над площадью было темно-синим, почти черным. Вокруг Смари царило бесконечное безмолвие, безмолвие красных каменистых холмов, безмолвие глубокой ночной синевы. Словно никогда и не было на свете других людей, кроме тех, что заточены здесь, в этой маленькой земляной воронке, прикованные к этой красной земле вокруг лужицы серой воды. Во всем остальном мире были только камень, да ветер, да волнистые пески, да соль, а дальше — море или пустыня.

Когда Ма аль-Айнин стал читать свой *зикр*<sup>3</sup> голос его в безмолвии площади звучал странно, словно отдаленный призывный крик козленка. Он читал молитву почти шепотом, раскачиваясь взад и вперед, но безмолвие, царившее на площади, во всем городе, во всей долине Сегиет-эль-Хамра, питалось бездонностью ветра, которым дышала пустыня, и голос старика разносился четко и внятно, как голос молодого животного.

Нур, весь дрожа, слушал этот долгий призыв. Мужчины и женщины на площади замерли в неподвижности, взгляд каждого был словно бы обращен в себя.

На западе, над утесистыми изломами Хамады, широким красным пятном расплылось заходящее солнце. Гигантские тени вытянулись на земле, и вот уже они, словно прибывающая вода, слились в одну.

«Хвала Аллаху, Аллаху всесущему, Аллаху вечному, хвала Тому, Кто не имеет ни отца, ни сына, Кто не нуждается в опоре, Единому, Единственному, хвала Тому, Кто направляет нас на путь прямой, ибо посланники Его явились возвестить нам истину...»

Голос Ма аль-Айнина дрожал, как язычок пламени, в конце каждой фразы, точно ему не хватало дыхания, и однако каждый слог чисто, долго и раздельно звучал среди общего безмолвия.

«Хвала Аллаху, единственному деятелю, единственному владыке нашему, всеведущему, всевидящему, всепроникающему и всевластному, слава Тому, Кто равно дарует добро и зло, ибо слово Его — единое прибежище, а воля Его — единое упование во зле, чинимом людьми, в смерти, в болезнях, в несчастьях, сотворенных от начала мира...»

Ночь медленно растекалась по земле, по песчаным ложбинам,

---

<sup>3</sup> *Зикр* — многократное произнесение молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха.



подкрадывалась к подножию глинобитных стен, где неподвижно застыли люди, к сводам шатров, к ямам, где спали собаки, к сине-зеленым глубинам колодцев.

«Имя Его — имя заступника, имя Того, Кто явлен мне, Кто дарует мне силы, ибо нет ничего превыше имени Его, с именем Его мне нет нужды бояться врагов моих, идя в бой, я называю про себя имя Его, ибо имя Его царит на земле и на небе...»

Солнечный свет на небе отступал на запад, а из недр земли вверх по утопанному песку поднимался холод, леденя ноги сидевших на земле людей.

«Хвала Аллаху вездесущему, ибо нет силы и власти, кроме как от Аллаха, великого, всевышнего, великого, всевышнего, хвала Тому, Кто не принадлежит ни земле, ни небу, Кто не доступен ни взгляду моему, ни разуму, Тому, Кто меня знает, но Кого мне не дано постичь, Аллаху великому, Аллаху всемогущему...»

Голос Ма аль-Айнина разносился далеко по пустыне, словно долетая до самых границ этой скорбной земли, он уходил за песчаные гряды и расселины, за безжизненные нагорья и иссохшие долины и достигал уже новых земель, по ту сторону гор Дра, достигал полей, засеянных пшеницей и просом, где люди смогут наконец найти себе пропитание.

«Хвала Всемогущему, хвала Всесовершенному, ибо нет Бога, кроме Аллаха, всемудрого и всевластного, всеильного и милосердного, всеблагого и всеведущего, Того, Чьи дары не оскудевают, Единственного, Кто щедр и благодетелен, Того, Кто повелевает небесным воинством и воинством земным, всесовершенному и милостивому...»

Слабый и далекий голос доходил до сердца каждого мужчины, каждой женщины, проникал до самой глубины их души, и им казалось, будто он исходит из их собственной гортани, будто, изливая рвущуюся из груди песнь, он впитал в себя их мысли и слова.

«Слава и хвала Вечному, слава и хвала Бессмертному, Тому, Чье существование превыше всего, ибо Он всеведущ и вездесущ...»

Ма аль-Айнин вбирал всей грудью воздух, потом с силою выдыхал его, почти не шевеля губами, закрыв глаза и раскачиваясь, точно ствол дерева под порывами ветра.

«О Аллах, владыка наш, Аллах всечудный, светоч света, звезда в ночи, тень тени, о Аллах, единая истина, единый глагол! Слава и хвала Тому, Кто бьется в нашем бою, слава и хвала Тому, Чье имя повергает в прах наших врагов, всеильному судии в День судный...»

И вот уже, сами того не замечая, мужчины и женщины повторяют слова *зикра*, их голоса подхватывают славословие всякий раз, когда замирает дрожащий голос старца.

«Он велик, Он всемогущ, Он всесовершенен, единый Бог и владыка наш, Тот, Чье имя запечатлено в плоти нашей, всепочитаемый, благословенный, явивший себя, Тот, Кто превыше всех, Тот, Кто изрек: «Я был сокровище потаенное, Я пожелал, чтобы узнали Меня, и для того сотворил творения Свои...»

Он велик, нет Ему ни равных, ни соперников, Он начало всего сущего, Он творец всего сущего, Он бесконечный, всевластный, всевидящий, всеслышающий, всемудрый, всесовершенный, Тот, Кому нет равных...

Он велик и прекрасен в сердцах правоверных, Он чист в сердцах тех, кто познал Его, Он превыше всего в душе тех, кто прикоснулся мудрости Его, Он властитель наш, владыка владык...

Нет Ему ни равных, ни соперников, Он Тот, Кто обитает на вершине высочайшей горы, обитает в песках пустыни, обитает в море, в небесах, в воде, Он указующий путь в ночи и в звездах...»

И вот, сами того не замечая, музыканты начали играть, и парящая их музыка переключалась с голосом Ма аль-Айнина то пронзительными переливами, то глухим бормотанием мандолины, треском маленьких барабанов, и вдруг, словно птичий крик, в нее врывается чистая мелодия тростниковых флейт.

Голос старика и песня свирелей теперь вторили друг другу, словно говорили об одном и том же, перекрывая голоса людей и глухие их шаги по утопанной

земле.

«Нет Ему ни равных, ни соперников, ибо Он всемогущ, Тот, Кто не был сотворен, свет, от которого воссияли другие светильники, пламень, возжегший другие пламена, первородное солнце, первая звезда ночная, рожденный прежде всякого рождения, дарующий жизнь и смерть всему сущему на земле, созидающий и истребляющий тварей Своих...»

И вот толпа начала приплясывать с иступленными криками: «Слава Аллаху!» Люди трясали головой и воздевали ладони к черному небу.

— Это Он возвестил истину всем святым, Он благословил пророка Мухаммеда, Он даровал власть и слово пророку нашему, Посланнику Аллаха на земле...

— Слава Аллаху!

— Хвала Аллаху, хвала Аллаху, вездесущему, всесовершенному, Он тайная тайных, Он Тот, Кто запечатлен в нашем сердце, всевышний, вездесущий...

— Слава Аллаху!

— Хвала Аллаху, ибо мы создания Его, мы бедны, мы невежественны, мы слепы, глухи и несовершенны...

— Слава Аллаху! Слава!

— О Ты, Кому ведомо все, открой нам истину! О Ты, всеблагой, всемилостивый, всепрощающий, милосердный, Ты, Чье бытие есть начало начал!

— Слава Аллаху!

— Хвала Аллаху, владыке нашему, всеблагому, всемогущему, всепобеждающему, всеславному, Тому, Кто предшествует всему сущему, вечному, вездесущему и единому, победившему всех врагов Своих, Тому, Кто все ведает, все видит, все слышит, вечному, всеумудрому, всемогущему свидетелю деяний наших, творцу единому и вездесущему, всевидящему, всеслышающему, прекрасному, милосердному, всеильному, всесовершенному, великому, вездесущему...

Голос Ма аль-Айнина поднялся теперь до крика. И вдруг умолк, оборвался, точно ночная песня цикады. И тогда умолкли звуки других голосов и грохот барабанов, затихли гитары и флейты, и снова воцарилось долгое зловещее молчание, от которого сжимало виски и колотилось сердце. Глазами, полными слез, Нур смотрел на старца, склонившегося к земле и закрывшего лицо руками; душу мальчика клинком пронзил неведомый дотоле ужас отчаяния. Но тут запел третий сын Ма аль-Айнина — Лархдаф. Сильный голос его заполнил площадь, но в нем не было просветленной чистоты Ма аль-Айнина — в нем звучали гневные ноты, и музыканты тотчас заиграли снова.

— О Аллах, Аллах! Внемли свидетелям истины и веры, сподвижникам Мауля бу Азза и Беккайа, сподвижникам его из Гудфия, выслушай памятные слова, изреченные господином нашим шейхом Ма аль-Айнином!

Гул толпы внезапно вылился в единый крик:

— Слава нашему шейху Ма аль-Айнину, слава посланнику Аллаха!

— Слава Ма аль-Айнину! Слава сподвижникам Гудфия!

— О Аллах, внемли голосу сына его, шейха Ахмеда, того, кого прозвали аш-Шамс, что значит Солнце, внемли голосу сына его Ахмеда ад-Дехибы, того, кого прозвали Золотая Капля, Маули Хибы, истинного повелителя нашего!

— Слава им! Слава Мауле Хибе, нашему повелителю!

Хмельное возбуждение снова охватило толпу; казалось, хриплый голос юноши разбудил ее гнев и прогнал усталость.

— О Аллах, Аллах! Яви благоволение Свое ученикам Твоим и ревнителям! Яви милость Свою великим и славным! Яви милость Свою поборникам любви и истины! Яви милость Свою поборникам верности и чистоты! Да явит Аллах милость Свою вождям, воинам и властителям! Да явит Аллах милость Свою святым, благословенным, служителям веры! Да явит Аллах милость Свою беднякам, странникам, обездоленным! Да ниспошлет нам Аллах великое благословение Свое!

Рев толпы нарастал, стены домов сотрясались от гула голосов,

выкрикивавших славные имена, чтобы навеки запечатлеть их в памяти, запечатлеть на холодной, голой земле и в звездном небе.

— Да пребудет с нами, о Аллах, великое благословение пророка Твоего и благословение пророка Ильяса, благословение аль-Кадира, испившего от самого источника жизни, о Аллах, и благословение Увейса Карни, о Аллах, и великого Абд аль-Кадира аль-Жилани, святого из Багдада, посланца Бога на земле, о Аллах...

Имена эти звенели в молчании ночи, покрывая звуки музыки, которая нашептывала и трепетала, незаметная, как дыхание.

— Все жители земли и жители моря, о Аллах, жители севера и юга, о Аллах! Жители востока и запада, о Аллах! Жители небес и земли, о Аллах...

Как прекрасны были эти памятные слова, они пришли из пустыни, из ее дальней дали, и находили путь к сердцу каждого мужчины, каждой женщины, словно то была греза, которая оживает вновь.

— О Аллах, ниспошли нам великое благословение шейхов Абу Яза, Яланура, Абу Мадьяна, Мааруфа, аль-Юнаида, аль-Халая, аль-Шибли, великих святых города Багдада...

Луна медленно всплывала над каменистыми холмами на востоке долины, Нур глядел на нее, раскачиваясь взад и вперед и вперив взгляд немигающих глаз в темные небесные глубины. Посреди площади шейх Ма аль-Айнин по-прежнему сидел, низко склонившись и касаясь головой земли, — белоснежная, почти прозрачная фигура. Только его худые пальцы шевелились, перебирая четки из черного дерева.

— Ниспошли нам, о Аллах, благословение праведников: аль-Хальви, того, что плясал для детей, ибн Хауари, Тсаури, Юнуса ибн Улейда, Басра, Абу Язрда, Мухаммеда ас-Сагира ас-Сухайли, который проповедовал твое слово, Абдасалама, Газали, Абу Шухайба, Абу Махди, Малика, Абу Мухаммеда Абдальазиза айт Тобба, святого из города Марракеша, о Аллах!

Хмель воспоминаний таился в самих именах, они были подобны очам созвездий, в далеком их взгляде собравшиеся здесь, на холодной площади, люди черпали свою силу.

— Аллах, о Аллах, ниспошли нам благословение всех последователей Твоих, приверженцев и ревнителей воинства победы Твоей, Абу Ибрахима Тунси, Сиди бель Аббаса Себти, Сиди Ахмеда аль-Харитси, Сиди Якира, Абу Закри Яхья ан-Навани, Сиди Мухаммеда бен Исса, Сиди Ахмеда ар-Рафаи, Мухаммеда бен Слимана аль-Язули, великого шейха, посланца Аллаха на земле, святого из города Марракеша, о Аллах!

Одно за другим повторяли они эти имена — имена людей, имена звезд, имена песчинок, уносимых ветром пустыни, имена бесконечных дней и ночей по ту сторону смерти.

— Аллах, о Аллах, ниспошли нам благословение всех Твоих Посланников на земле, тех, кто постиг тайное, кто познал жизнь и прощение, всех тех, кого Ты поставил над нами на земле, на море и на небесах, Сиди Абдеррахмана, прозванного Сахаби, сподвижника пророка, Сиди Абд аль-Кадира, Сиди Эмбарека, Сиди Бельхайра, который выдоил козла, Лаллы Мансуры, Лаллы Фатимы, Сиди Ахмеда аль-Харусси, превратившего разбитый кувшин в целый, Сиди Мухаммеда, прозванного Аль-Азраком, Синим Человеком, который на путь истинный направил великого шейха Ма аль-Айнина, Сиди Мухаммеда аш-Шейха аль-Камеля, непогрешимого, и всех тех, кого Ты поставил над нами на земле, на море и на небесах...

И снова воцарилось молчание, уже опьяняющее и светоносное. Время от времени свирели вновь выводили свою мелодию, выпевали ее, потом стихали. Мужчины один за другим поднимались и отходили к воротам. Только Ма аль-Айнин сидел в прежней позе, склонившись вниз и вглядываясь в какую-то невидимую точку на земле, залитой белым светом луны.

Когда начался танец, Нур встал и присоединился к толпе. Мужчины, оцепив площадь плотным и широким полукругом, не двигаясь с места, дробно стучали по твердой земле босыми ногами. Они с такой страстью выкрикивали имя Аллаха,

точно, страдая, истязали себя в едином мучительном порыве. Каждому возгласу «Слава Аллаху!» вторил удар барабана. И женщины тоже кричали, и голоса их вибрировали.

Казалось, эта музыка проникала в самую толщу холодной земли, уходила в самую глубину черного неба, сливалась с сиянием луны. Исчезло время, исчезло горе. Мужчины и женщины били о землю носками и пятками, повторяя непобедимый клич «Слава Аллаху! Хвала Всевышнему! Ую-ю-ю!», и поворачивали голову направо, налево, направо, налево, и музыка, которая переполняла их, выплескивалась из их глоток и летела в дальнюю даль к горизонту. Хриплое, прерывистое дыхание словно поднимало их ввысь, в полет над гигантской пустыней, сквозь ночь, к бледным пятнам зари по ту сторону гор, над уэдом<sup>4</sup> Сус, в Тизнит, к долине Фес.

«Слава Аллаху!» — выкрикивали хриплые голоса мужчин, пьяневших от глухого стука барабанов, от стенания тростниковых флейт, а сидевшие на земле женщины раскачивались взад и вперед, ударяя ладонями по тяжелым серебряным и бронзовым монистам. Голоса их временами переливались, как флейты, почти на пределе человеческих возможностей, и вдруг обрывались. И тогда мужчины полузакрыв глаза, откинув голову назад, снова начинали хрипло чеканить: «Слава Аллаху! Ую-ю-ю! Хвала Всевышнему!» И в иступленном звуке их голосов было что-то сверхъестественное, он раскалывал реальный мир, но в то же время успокаивал, подобно звукам гигантской пилы, что снует туда-сюда, вгрызаясь в ствол дерева. Каждый мучительный и глубокий выдох словно еще больше углублял рану небосвода, которая соединяла людей со Вселенной, смешивала кровь их и лимфу. Каждый певец все быстрее выкрикивал имя Божье, точно ревущий бык вытянув шею, на которой, как натянутые канаты, вздувались жилы. Свет жаровен и белое сияние луны освещали качающиеся тела, и казалось, облака пыли то и дело пререзает молния. Шумное дыхание становилось все чаще, неподвижные губы, приоткрытые рты исторгали почти безмолвные призывы, и на площади в провале пустынной ночи слышались теперь только выдохи голосовых мехов: «Х-х! Х-х! Х-х! Х-х!»

Слова иссякли. Теперь они были не нужны, могучий вихрь дыхания связывал людей прямо с сердцем земли и небес, точно самый ритм его, учащаясь, стирал дни, ночи, месяцы, смену времен года, стирал даже безысходное пространство и приближал конец всех странствий, конец всех времен. Велико было страдание, от неистовых выдохов дрожали тела, расширялась грудь. В середине полукруга, образованного мужчинами, танцевали женщины: двигались одни только их босые ступни, а тела были неподвижны, чуть отведенные от корпуса руки слегка подрагивали. Под ударами глухо отбивающих ритм пяток земля издавала непрерывный гул, словно по ней двигалось целое войско. Рядом с музыкантами воины юга под черными покрывалами подпрыгивали на месте, высоко вскидывая колени, точно пытающиеся взлететь огромные птицы. Потом мало-помалу движение стало замирать в ночной тьме. Один за другим мужчины и женщины опускались на землю, вытянув перед собой руки, ладонями обращенные к небу, только хриплое их дыхание извергало в безмолвие все те же нескончаемые возгласы: «Х-х! Х-х! Ую-ю-ю!..Х-х! Х-х!»

В этом истошном хрипе была такая сила, такая мощь, словно все они уже унесли далеко от Смары, взмыв в небеса, подхваченные ветром, смешавшись с лунным светом и тончайшей пылью пустыни. Рухнуло безмолвие, рухнуло одиночество. Дыхание людей заполнило ночь, насытило Вселенную.

В пыли, посреди площади, ни на кого не глядя, сидел Ма аль-Айнин. Пальцы его сжимали зерна деревянных четок и при каждом выдохе толпы роняли одно из них. Он был средоточием этого дыхания, тем, кто указал людям путь в пустыне, кто предначертал каждую смену ритма. Он ничего более не ждал. Никого не вопрошал. Он и сам дышал теперь, подчиняясь дыханию молитвы, словно у него

---

<sup>4</sup> Уэд — высохшее русло реки.

была одна общая гортань, общая грудь со всей толпой. Дыхание ее уже отверзло дорогу к северу, к новым землям. Старец более не чувствовал ни старости своей, ни усталости, ни тревоги. В нем жило дыхание, которое вдохнули в него все эти губы, дыхание сокрушительное и в то же время нежное, раздвинувшее пределы его существования. Толпа не глядела больше на Ма аль-Айнина. Закрыв глаза, чуть отстранив от тела руки, воздев лицо к ночи, она уже парила, уже летела к северу.

Когда на востоке над каменистыми холмами забрезжил день, мужчины и женщины потянулись к палаткам. Несмотря на хмельное бдение последних дней и ночей, никто не чувствовал усталости. Мужчины оседлали лошадей, свернули большие суконные палатки, навьючили верблюдов. Солнце еще стояло невысоко в небе, когда Нур и его брат зашагали по пыльной дороге к северу. На спине они несли тюки с одеждой и съестным. Впереди них по дороге шли взрослые, шли дети, и облако серой и красной пыли уже начало вздыматься к синему небу. Где-то позади, у ворот Смары, окруженный верховыми Синими Воинами, окруженный сыновьями, Ма аль-Айнин провожал взглядом длинный караван, протянувшийся через пустынную равнину. Потом, плотнее запахнувшись в белый бурнус, он тронул ногой шею своего верблюда. Медленно, не оглядываясь, уходил он все дальше от Смары, уходил навстречу своей гибели.

## Счастье

Над землей поднимается солнце, на сером песке, на пыльной дороге удлинятся тени. У моря замерли дюны. Низенькие сочные растения колышутся на ветру. В ярко-синем стылом небе ни птицы, ни облака. Только солнце. Но утренний свет еще зыбок, точно немного робеет.

По дороге, защищенной грядой серых дюн, медленно идет Лалла. Вот она останавливается и разглядывает что-то на земле. Или сорвет сочную былинку и растирает в пальцах, чтобы вдохнуть ее нежный и пряный аромат. Темно-зеленые блестящие растения похожи на водоросли. А вот на зонтике цыкуты сидит большой золотистый шмель, и Лалла бежит за ним вдогонку. Впрочем, она не подходит к нему слишком близко — побаивается. Зато, когда шмель взлетает, она мчится следом, протягивая к нему руки, словно и вправду хочет его поймать. Но это она просто играет.

Здесь повсюду, насколько хватает глаз, лишь одно — ослепительное небо. Дюны содрогаются под натиском морских волн, но самого моря не видно, только слышно. Низенькие сочные кустарники блестят от соли, выступающей на них, словно пот. Там и сям мелькают насекомые: светлая божья коровка, оса диковинного вида с такой тоненькой талией, что кажется, будто ее рассекли надвое, старая сколопендра, оставляющая в песке узкие следы, и еще отливающие металлическим блеском плоские мушки — они норовят сесть на ноги или на лицо девочке, чтобы полакомиться солью.

Лалла знает все тропки, все ложбинки в дюнах. Она могла бы бродить здесь с закрытыми глазами и в любую минуту сказать, где находится, едва потрогав землю босой ногой. Иногда ветер, перемахнув через ограду дюн, швыряет ей в лицо пригоршни игл и путает ее черные волосы. Платье Лаллы прилипает к влажному телу, приходится с силой тянуть его, чтобы отклеить.

Лалла знает все тропки: и те, что пролегают в кустарниках вдоль серых дюн и теряются вдаль; и те, что, описав кривую, возвращаются вспять; и те, что не ведут никуда. И все же всякий раз, когда она бродит здесь, ей открывается что-то новое. Сегодня это золотой шмель, который увлек ее далеко-далеко, туда, где кончаются дома рыбаков и лагуна со стоячей водой. Потом среди кустарников она нашла какой-то заржавленный металлический остов, грозно выпустивший когти и выставивший рога. А подальше, в песке на

дороге, увидела маленькую жестянку без этикетки — в крышке с каждой стороны были пробиты по две дырочки.

Лалла идет дальше медленно-медленно, так пристально вглядываясь в серый песок, что даже глазам становится больно. Она рассматривает землю, полностью углубившись в это занятие, ни о чем больше не думая, даже на небо не глядит. А потом устраивается под раскидистой сосной, на мгновение смежив веки.

Обняв руками колени, она тихонько раскачивается взад и вперед, а потом из стороны в сторону, напевая французскую песенку, которая состоит из одного только слова: «Сре-ди-зем-но-мо-о-рье...»

Лалла не знает, что это значит. Песенку она услышала однажды по радио и запомнила только одно слово, но оно ей очень нравится. Вот почему по временам, когда ей хорошо, а делать нечего или, наоборот, когда ей немного грустно без всякой причины, она напевает это слово, иногда тихонько, для себя, таким приглушенным голосом, что и сама почти не слышит, а иногда очень громко, чуть ли не во все горло, чтобы разбудить эхо и прогнать страх.

Сейчас она поет тихонько, потому что счастлива. Большие красные муравьи с черными головками ползают по сосновым иглам и, чуть поколебавшись, карабкаются вверх по травинкам. Лалла отодвигает их сухим прутиком. Ветер приносит запах листвы, смешанный с терпким запахом моря. Иногда маленькие песчаные смерчи взмываются вверх, столбики их на мгновение удерживаются на гребне дюны и вдруг рушатся, осыпая игольчатыми брызгами лицо и ноги девочки.

Лалла прячется в тени большой сосны, пока солнце не поднимается высоко в небо. Тогда она не торопясь идет назад в Городок. Она различает на песке свои же собственные следы. Следы кажутся меньше и уже ее ступней, но Лалла, обернувшись, сравнивает их с новыми следами: нет, это все-таки ее нога. Передернув плечами, она пускается бегом. Чертополох колет ей пальцы. Она прихрамывает, ей приходится то и дело останавливаться, чтобы извлечь колючки из большого пальца.

Но стоит только остановиться, и со всех сторон выползают муравьи. Они, точно шпионы, проскальзывают между камней, бегут по искрящемуся под солнцем серому песку. И все-таки Лалла любит их. Любит она и неповоротливых сколопендр, и красновато-коричневых майских жуков, и навозных жуков, и рогачей, и копыеносцев, и божьих коровок, и саранчу, похожую на обгорелый сучок. А вот больших богомоллов Лалла боится — выжидает, пока они уползут, или обходит стороной, не теряя их из виду, пока они поворачиваются вокруг себя, выставляя передние ноги.

Есть тут и ящерицы, серые и зеленые. Они удирают в дюны, с силой ударяя хвостом, чтобы ускорить свой бег. Поймает Лалла ящерицу и держит ее за хвост, пока тот не оторвется, а потом глядит, как обрывок хвоста извивается в пыли. Один мальчишка сказал ей, будто, если подождать подольше, увидишь, как у хвоста отрастают ножки и голова, но Лалле что-то не верится.

Но особенно много здесь мушек. Лалла их очень любит, хотя они жужжат и жалят. Она сама не знает, за что их любит, любит, и всё тут. Может, потому, что у них тонкие лапки и прозрачные крылышки, а может, потому, что они так быстро носятся в воздухе, зигзагами взад и вперед, и Лалла думает: хорошо бы уметь летать, как они.

Лалла ложится на спину у песчаных дюн, и мушки одна за другой облепляют ей лицо, руки и голые ноги. Они прилетают не все сразу — вначале они все-таки побаиваются Лаллы. Но они любят сосать солоноватые капельки

пота на ее коже и быстро смелеют. Они ползают по ней на своих легких лапках, это щекотно, но смеется Лалла негромко, чтобы не спугнуть их. Иногда какая-нибудь мушка жалит Лаллу в щеку, и Лалла сердито вскрикивает.

Лалла долго играет с мушками. Эти плоские мушки живут на морском берегу в водорослях фукус. Дома, в Городке, мухи другие — черные, они ползают по клеенке, по картонным стенам, по оконным рамам. А вокруг корпуса холодильника, над контейнерами с отбросами, вьются жирные синие мухи, которые гудят, как бомбардировщики.

И вдруг Лалла вскакивает и что есть мочи бежит к дюнам. Она карабкается по песчаному склону, осыпавшемуся под ее босыми ногами. Чертополох впивается в ее ступни, но она не обращает на это внимания. Ей хочется взобраться на гребень дюны, чтобы как можно скорее увидеть море.

Здесь, на гребне, ветер с силой хлещет в лицо — Лалла едва не падает навзничь. От холодного морского ветра судорожно сжимаются ноздри, жжет глаза; море огромное, серовато-синее, в белых пятнах пены; оно глухо урчит, а в коротких волнах, набегающих на песчаный берег, отражается почти черная синева необъятного неба.

Лалла наклоняется вперед, стоя против ветра. Ее платье (на самом деле это не платье, а мальчишья рубашка, у которой тетка обрезала рукава) облепляет живот и бедра, точно Лалла вышла из воды. Вой ветра и рокот моря гудят в ее ушах то слева, то справа, к ним примешиваются негромкие хлопки — это пряди волос стегают ее по вискам. Иной раз ветер швыряет Лалле в лицо пригоршню песка. Она жмурится, чтобы не ослепнуть. И все же ветер добивается своего: глаза у нее слезятся, на зубах скрипят песчинки.

Вдоволь насладившись ветром и морем, Лалла спускается вниз. У подножия дюны она на минутку присаживается, чтобы перевести дух. По эту сторону дюн ветра нет. Он перелетает над дюнами, направляясь в глубь суши, к синим, повитым туманом холмам. Ветер нетерпелив. Он делает что ему вздумается, и Лалла счастлива, когда он гуляет вокруг, пусть даже от него горят глаза и уши, пусть даже он швыряет в глаза песок. В Городке, в их темном домишке, где воздух такой спертый, где так плохо пахнет, она часто думает о ветре — о море тоже; она думает, что ветер такой сильный и прозрачный, он неутомимо скачет по волнам, над морем, в мгновение ока переносится через пустыню, долетая до кедровых лесов, и пляшет там у подножия гор среди цветов и птиц. Ветер нетерпелив. Он перемахивает через горы, взметая пыль, песок и пепел, он подкидывает куски картона, порой он добирается до их Городка, до лачуг из досок и упаковочного картона, и забавы ради там сорвет крышу, тут разрушит стену. Ну и что ж — для Лаллы он все равно прекрасен, прозрачный, как вода, быстрый, как молния, и такой сильный, что при желании может разрушить все города на свете, даже те, где дома высокие и белые, с большими застекленными окнами.

Лалла знает, как его зовут, она сама выучила его имя, когда была еще совсем маленькой и слушала, как ночью он влетает в дом сквозь щели между досками. Его зовут «Ву-у-у!» — вот так, с присвистом.

Немного отойдя от берега, в кустарнике Лалла снова встречается с ветром. Он пригибает к земле желтую траву, словно проводит по ней рукой.

Над травянистой равниной, распластав на ветру медные крылья, почти неподвижно повис ястреб. Лалла глядит на него с восхищением: он умеет летать по ветру. Ястреб еле шевелит кончиками маховых перьев, распутив веером хвост, и парит без усилий, а на желтой траве подрагивает его крестообразная тень. Время от времени он стонет: «Кайик! кайик!», и Лалла ему отвечает.

И вдруг, сложив крылья, он стремительно ныряет вниз и долго-долго плывет над землей, почти касаясь травы, словно рыба, скользящая в морской глубине, где шевелятся водоросли. И так исчезает вдаль, между потревоженных трав. Напрасно Лалла стонет, повторяя его жалобу: «Кайик! кайик!» — ястреб не возвращается.

Но долго еще стоит перед глазами Лаллы стрелообразная тень, скользящая поверх желтых трав, точно скат, бесшумно плывущий по волне страха.

Лалла замирает на месте, запрокинув голову и уставившись широко открытыми глазами в белесое от зноя небо, на неподвижно парящие в нем круги, которые внезапно набегают друг на друга, как бывает, когда бросаешь камешки в бочку с водой. Ни птиц, ни насекомых — ничего такого в воздухе нет, и все-таки в небе движутся тысячи точек, словно в нем обитают тучи муравьев, долгоносиков или мушек. Точки эти не летают в белом пространстве, они с лихорадочной поспешностью бегут в разных направлениях, будто не знают, где укрыться. Быть может, это лица всех тех людей, что живут в городах, таких больших городах, что, сколько ни иди, не дойдешь до конца, и где столько машин и столько людей, что нельзя дважды увидеть одно и то же лицо. Так говорит старый Наман, повторяя странные названия: Альхесирас, Мадрид, Марсель, Лион, Париж, Женева.

Лалла не всегда видит эти лица. Но бывают дни, когда дует ветер и гонит облака к горам, а воздух такой светлый и весь дрожит от солнечных лучей — вот тогда и видны эти люди-насекомые: они ходят, бегают, пляшут в вышине и едва различимы, точно мелкая мошкара.

Но море снова зовет ее к себе. Лалла бежит прямо через кустарник к серым дюнам. Дюны похожи на лежащих коров: морда опущена, спина выгнута. Лалла любит карабкаться вверх по их спинам, передним и задним ногам, прокладывая себе дорогу, чтобы потом кубарем скатиться по противоположному склону на прибрежный песок. Океан с дробным раскатом обрушивается на берег, а затем вода отступает, и пена тает на солнце. Здесь столько света и шума, что Лалла закрывает рот и глаза. Морская соль жжет ей веки и губы, от шквального ветра пресекается дыхание. Но Лалла любит стоять у моря. Она входит в воду, волны бьются о ее ноги и живот, синяя рубашка прилипает к телу. Ноги утопают в песке, точно два столба. Но далеко заходить она не решается: море по временам просто так, само того не замечая, похищает детей, а через два-три дня выбрасывает их на плотный прибрежный песок: живот и лицо у них разбухли от воды, а нос, губы и кончики пальцев изъедены крабами.

Лалла идет по берегу вдоль пенной бахромы. Платье, намокшее до самой груди, обсыхает на ветру. Ветер откидывает ее жгуче-черные волосы на одну сторону, смуглое лицо отликает на солнце медью.

Там и сям на песке валяются выброшенные на берег медузы, точно волосы распустившие вокруг себя свои волокна. Лалла глядит на ямки, которые остаются в песке, когда отхлынет волна, и бежит вдогонку за маленькими серыми крабами; легкие, словно паучки, они улепетывают от нее боком, задрав кверху клешни, — до чего же смешно на них глядеть! Но Лалла вовсе не старается их поймать, как делают другие дети; пусть себе убегают в море, исчезают в спящей пене.

И снова Лалла идет вдоль берега, напевая все ту же песенку, состоящую из одного слова: «Сре-ди-зем-но-мо-о-рье!»

Потом она садится на берегу у подножия дюны, обвив руками колени и спрятав лицо в складках синей рубашки, чтобы песок, которым швыряется



ветер, не забивался в ноздри и в рот.

Она садится всегда на одно и то же место, там, где в промоине, вырытой волнами, из воды торчит подгнивший деревянный столб, а на камнях между дюнами растет большое фиговое дерево. Лалла ждет Намана-рыбака.

Наман-рыбак не такой, как другие люди. Высокого роста, худой, с широкими плечами и костистым лицом кирпичного цвета. Ходит он всегда босой, в синих холщовых штанах и в белой рубашке, которая ему широка и плещется на ветру. Но Лалле все равно он кажется самым красивым и нарядным, и сердце ее всегда учащенно бьется, когда она ожидает его прихода. Черты лица у Намана твердые, огрубевшие от морского ветра, кожа на лбу и щеках задубела и потемнела от солнца на море. Волосы густые и тоже темные, как кожа. Но особенно хороши у него глаза, необыкновенного цвета, зеленовато-голубые с серым отливом, такие светлые и прозрачные на смуглом лице, точно они вобрали в себя свет и прозрачность моря. Для того чтобы взглянуть в глаза рыбака, Лалла и поджидает его на берегу у большого фигового дерева, и еще чтобы увидеть, как он улыбнется, заметив ее.

Она долго ждет его, сидя на сыпучем песке дюны в тени большого дерева. И тихонько напевает, уткнувшись в ладони лицом, чтобы не наглотаться песка. Она напевает свою любимую песенку из одного слова, длинного красивого слова: «Сре-ди-зем-но-мо-о-рье!»

Она ждет, глядя на море, а море хмурится, становится серо-голубым, как сталь, и белесое облако заволакивает горизонт. Порой Лалле кажется, что она видит черную точку, пляшущую на гребнях волн среди солнечных бликов, и она приподнимается, решив, что это Наман на своей лодке. Но черная точка исчезает. Это просто морской мираж, а может быть, спина дельфина.

О дельфинах ей рассказывал Наман. Рассказывал о том, как целые стада животных с черными спинами весело выпрыгивают из воды у самого форштевня лодки, точно приветствуют рыбаков, и вдруг уносятся прочь, исчезают вдаль. Наман любит рассказывать Лалле про дельфинов. Когда он говорит, в его глазах еще ярче вспыхивают морские блики, Лалле кажется, что за их радужной оболочкой мелькают черные спины дельфинов. Зато в море, сколько она в него ни вглядывается, ей ни разу не случилось увидеть дельфинов. Верно, не любят они подплывать к берегу.

Наман рассказывал ей про случай с дельфином, который спас рыбака — привел его лодку к самому берегу, когда во время бури ее унесло далеко в море. Низкие облака, точно покрывало, окутали тогда море, а свирепый ветер сломал мачту. Вот тут-то буря и унесла рыбацье суденышко очень далеко, так далеко, что рыбак не знал, в какой стороне берег. Два дня швыряли лодку разъяренные волны, грозя ее потопить. Рыбак думал уже, что погиб, и стал читать молитвы, как вдруг в волнах показался громадный дельфин. Он стал прыгать вокруг лодки, играя, как обычно играют дельфины. Но этот дельфин был один. И вдруг он повел лодку вперед. Это трудно себе представить, но он в самом деле повел ее: он плыл позади лодки и толкал ее перед собой. Иногда дельфин исчезал, скрывался в волнах, рыбак уже думал, что дельфин его бросил. Но нет — тот возвращался и снова подталкивал лодку мордой, шлепая по воде могучим хвостом. Так они плыли целый день, а к вечеру, когда лунный свет пробился сквозь тучи, рыбак увидел наконец огоньки на берегу. Он закричал и заплакал от радости, понимая, что теперь он спасен. Когда же лодка подошла к гавани, дельфин описал полукруг и уплыл в открытое море, а рыбак смотрел ему вслед, следил, как, поблескивая в сумеречном свете, удаляется его черная спина.

Лалла очень любит этот рассказ. Она часто ходит к морю, чтобы увидеть

большого черного дельфина, но Наман говорит, что случилась эта история давным-давно и черный дельфин, наверное, уже совсем состарился.

Лалла ждет, как всегда по утрам, сидя в тени фигового дерева. Она смотрит на море, серое и синее, на островерхие гребни накатывающихся на берег волн. Волны набегают на берег, проделав сложный путь: сначала они тянутся к востоку, к скалистому мысу, потом направляют свой бег к западу, в сторону реки, и только потом уже взбегают прямо на берег. Ветер резвится, подхватывая пригоршни пены, забрасывает ее далеко в дюны, и пена смешивается там с песком и пылью.

Когда солнце стоит уже высоко в безоблачном небе, Лалла возвращается в Городок, она не торопится: знает, что дома ее ждет работа. Придется идти за водой к колонке, неся на голове старый ржавый бидон, а потом отправиться стирать на реку, но это даже весело: там можно поболтать с людьми, послушать всякие небылицы, в особенности складно рассказывает их девушка, которую из-за бородавки на щеке прозвали Икикр, на языке берберов это и значит «бородавка». Но есть два дела, которых Лалла не любит: во-первых, собирать хворост на растопку и, во-вторых, молотить зерно.

Вот она идет домой медленно-медленно, еле волоча по тропинке ноги. Она уже не поет, в этот час в дюнах можно кого-нибудь встретить: мальчишек, которые идут проверять свои силки, или мужчин, направляющихся на работу. Мальчишки иногда дразнят Лаллу за то, что она не привыкла ходить босиком, и еще потому, что она не умеет ругаться. Но Лалла, уже издали услышав их голоса, прячется за колючим кустом возле дюны и ждет, пока они не пройдут.

И еще Лалла боится одной женщины. Та совсем не старая, но очень грязная, и волосы у женщины черные и рыжие вперемешку, а одежда вся изорвана колючками. Когда она идет по дороге в дюнах, надо держать ухо востро: она злющая и не любит детей. Люди зовут ее Айша Кондиша<sup>5</sup>, хотя настоящее ее имя другое. Только его никто не знает. Говорят, она крадет детей, чтобы их мучить. Услышав, что по дороге идет Айша Кондиша, Лалла прячется за кустом, стараясь не дышать. Айша Кондиша проходит мимо, бормоча что-то невнятное. Она замедляет шаг, поднимает голову: почуяла, что тут кто-то есть. Она почти слепая, она не видит Лаллу. И идет дальше, прихрамывая и выкрикивая ругательства своим противным голосом.

Иногда по утрам в небе можно увидеть то, что так нравится Лалле, — большое белое облако, длинное и бахромчатое, оно протягивается по небу там, где особенно густа синева. На самом конце этой белой ленты виден маленький серебряный крестик, который медленно движется вперед на такой высоте, что его с трудом можно различить. Запрокинув голову, Лалла долго глядит на крохотный, парящий в небе крест. Она любит смотреть, как он бесшумно плывет по бескрайнему синему небу, оставляя за собой длинный белый шлейф из маленьких пушистых комочков, которые сливаются в одну широкую дорогу, а потом по небу пробегает ветер и разгоняет облачко. Лалла думает: хорошо бы оказаться там, в вышине, внутри крошечного серебряного крестика и плыть вот так над морем, над островами, в далекие-далекие края. И долго еще после того, как самолет скрывается из виду, смотрит в небо Лалла.

В получасе ходьбы от моря в сторону реки, за поворотом дороги виден Городок. Лалла не знает, почему его называют Городком: вначале на этом берегу реки, за пустырями, которые отделяют его от настоящего города,

---

<sup>5</sup> *Айша Кондиша* — персонаж из легенд, злая колдунья.

вообще стоял какой-нибудь десяток лачуг из досок и упаковочного картона, пропитанного гудроном. Наверное, лачуги для того и назвали Городком, чтобы обитатели их позабыли, что живут они в пыли вместе с собаками и крысами.

Сюда и привезли Лаллу после смерти матери, случилось это так давно, что она уже и не помнит когда. Стояла сильная жара, потому что было лето, ветер вздымал над дощатыми домишками тучи пыли. Закрыв глаза, Лалла шла за теткой до лачуги без окон, где жили теткины сыновья. И тут ей захотелось убежать со всех ног, припустить по дороге, ведущей к высоким горам, и никогда не возвращаться. Каждый раз, когда Лалла приходила с дюн, при виде крыш из волнистого железа и картона у нее сжималось сердце и она вспоминала, как в первый раз приехала в Городок. Но с той поры прошло так много времени, что, казалось, бывшего раньше на самом деле вовсе и не было, словно ей просто рассказали историю о ком-то другом.

Вот так же и с рассказом о том, как она появилась на свет в горах на юге, там, где начинается пустыня. Иногда зимою, когда на улице нечего делать и на пыльной, просоленной равнине свирепствует и свистит ветер, задувая в щели плохо пригнанных досок теткинго дома, Лалла устраивается на земляном полу возле Аммы<sup>6</sup> и слушает рассказ о том, как она, Лалла, появилась на свет.

История эта длинная и странная, и Амма рассказывает ее каждый раз немного по-другому. Чуть нараспев, покачивая головой, точно она вот-вот задремлет, Амма говорит:

— Когда тебе пришло время родиться, стояли последние весенние дни, перед самой засухой. Хава почувствовала, что ты скоро явишься на свет, и тихонько вышла из палатки, потому что все еще спали. Она только потуже стянула себе живот широким полотнищем и зашагала так скоро, как только могла, туда, где у источника росло дерево, потому что знала: с восходом солнца ей понадобятся тень и вода. Таков уж обычай в тех краях — рожать надо у воды. И вот добрела она до источника, легла под деревом и стала ждать, пока рассветет. Никто не знал, что твоя мать вышла из палатки. Она умела ходить совсем бесшумно, так что даже собаки не лаяли. Даже я — а я спала с ней рядом — не услышала ни ее стонов, ни того, как она встала и вышла из палатки...

— А что было дальше, Амма?

— А дальше рассвело, проснулись женщины и увидели, что матери твоей нет, и поняли почему. Вот я и побежала искать ее и увидела: стоит она у дерева, прижалась к нему, вцепилась руками в ветку и стонет тихонько, чтобы не разбудить мужчин и детей.

— А дальше, Амма?

— А дальше ты вдруг родилась, прямо так, сразу, явилась на землю среди корней дерева, и тебя обмыли в источнике и закутали в бурнус, потому что было еще по-ночному холодно. А потом взошло солнце, твоя мать вернулась в палатку поспать. Помню, у нас не было пеленок, чтобы тебя завернуть, и ты так и уснула в синем материнском бурнусе. Твоя мать была рада, что родила тебя быстро, но она печалилась, потому что отец твой умер и у нее не было денег, чтобы тебя вырастить, — она боялась, что придется отдать тебя чужим людям.

Иногда Амма рассказывала эту историю по-другому, словно не помнила ее в точности. Говорила, например, будто Хава держалась не за ветви дерева, а, чтобы заглушить боль, тянула что есть силы колодезную веревку. А иногда

---

<sup>6</sup> Тетка по отцу (араб. ).

уверяла, что новорожденную принял проходивший мимо пастух и закутал ее в свой синий бурнус. Но все это было подернуто каким-то смутным туманом, словно случилось совсем в другом мире, по ту сторону пустыни, где и солнце, и небо совсем другие.

— Прошло несколько дней, и твоя мать в первый раз смогла дойти до колодца, чтобы вымыться и расчесать волосы. Она несла тебя все в том же синем бурнусе, обвязав его полы вокруг пояса. Шла она мелкими шажками, она еще не совсем оправилась, но была счастлива, что родила тебя, и, когда ее спрашивали, как твое имя, она отвечала, что тебя зовут, как ее самое, Лалла Хава, потому что ведь ты из рода шерифов.

— Расскажи мне, пожалуйста, о том, кого звали Аль-Азрак, Синий Человек.

Но Амма качала головой:

— В другой раз, не теперь.

— Ну пожалуйста, Амма, расскажи мне о нем!

Но Амма, не отвечая, все качала головой. А потом вставала и шла месить тесто в большой глиняной миске, стоявшей у двери. С Аммой так всегда, не любит она долго рассказывать и скупа на слова, когда речь заходит о Синем Человеке или о Мауле Ахмеде бен Мухаммеде аль-Фадале, которого прозвали Ма аль-Айнин, Влага Очей.

Удивительное дело, здесь, в Городке, живет одна беднота, но никто никогда не жалуется. Городок — это скопище лачуг из досок и жести, у которых вместо крыши большие листы упаковочного картона, придавленные камнями. Когда в долине вдруг разбушует ветер, слышно, как грохочут доски, гремит железо и хлопают листы картона, которые рвет на куски шквал. Странная это музыка, все гремит и трещит, словно ты катишь по земляной дороге в огромном разболтанном автобусе или по крыше твоего дома, по улочкам носится тьма-тьмушая каких-то зверьков и крыс.

Порой свирепый ураган все сметает с лица земли. И тогда приходится заново отстраивать жилище. Но обитатели Городка только смеются: они так бедны, что им нечего бояться за свое имущество. А может, они и рады тому, что после бури синева над их головой кажется еще бездоннее, еще гуще, а солнечный свет — еще ослепительнее. Городок окружает одна только совершенно плоская равнина, по которой гуляет пыльный ветер, да еще море, такое огромное, что не охватишь взглядом.

Лалла любит смотреть на небо. Она часто уходит в дюны, туда, откуда песчаная дорога тянется вдаль совершенно прямо; там, скрестив на груди руки, она ложится на спину среди песка и зарослей чертополоха. И над ее лицом распахивается небо, оно блестит точно зеркало, спокойное-спокойное — ни облачка, ни птицы, ни самолета.

Лалла широко раскрывает глаза, чтобы небо вошло в нее. И ее начинает покачивать, словно она долго плыла в лодке или накурилась и теперь у нее кружится голова. А на самом деле все это от солнца. Оно палит вовсю, несмотря на холодный ветер с моря, оно палит так невыносимо, что жар его словно вливается в тело девочки, наполняет ее легкие и живот, ее руки и ноги. От этого становится больно, режет глаза, разламывается голова, но Лалла лежит все так же неподвижно, уж очень она любит солнце и небо.

Когда Лалла вот так лежит на песке, вдали от своих сверстников, вдали от Городка, наполненного шумами и запахами, и когда небо ярко-синее, как сегодня, она может предаваться своим любимым мечтам. Она думает о том, кого зовет Ас-Сир, что значит Тайна, о том, чей взгляд, подобно солнечному свету, обволакивает ее и охраняет.

Здесь, в Городке, о нем никто не знает, но порой, когда небо такое

прекрасное, а море и дюны залиты солнечным светом, Лалле начинает казаться, что имя Ас-Сир возникает всюду, всюду звучит, даже в ее собственной груди. Лалле слышится его голос, его легкие шаги, она ощущает на своем лице его огненный взгляд, всевидящий, всепроникающий. Взгляд этот летит к ней из-за гор, из-за хребтов Дра, из глубины пустыни и сверкает неугасимым светом.

Никто ничего не знает о нем. Когда Лалла говорит об Ас-Сире рыбаку Наману, тот качает головой: никогда он не слышал такого имени, оно не встречается в его рассказах. И все же наверняка это его настоящее имя, думает Лалла, ведь именно это имя и слышала она. Впрочем, может, все это ей просто пригрезилось. Похоже, и Амма ничего об Ас-Сире не слышала. А между тем какое красивое имя, думает Лалла, стоит его услышать, и сразу становится легко на душе.

И вот для того, чтобы услышать это имя, увидеть этот горящий взгляд, Лалла уходит далеко-далеко в дюны, где нет ничего, кроме моря, песка и неба. В Городке из досок и картона Ас-Сир не позволит прозвучать своему имени, не даст Лалле почувствовать жар своего взгляда. Человек этот не любит шума и запахов. Ему надо быть один на один с ветром, точно птице, парящей в небесах.

Соседи не знают, почему Лалла уходит из Городка. Быть может, они подозревают, что она идет за скалистые холмы, туда, где стоят хижины пастухов. Но они ничего не говорят.

Люди ждут. Здесь, в Городке, по правде, ничего другого и не делают. Обитатели его застряли тут, вблизи берега моря, осели в домишках из досок и жести и неподвижно лежат в их густом сумраке. Когда утренняя заря восходит над каменистой и пыльной равниной, они ненадолго выходят из своих лачуг, словно думают, не случится ли чего. Они обмениваются несколькими словами, потом девушки идут к колонке за водой, парни — работать в поле или слоняться по улицам настоящего города на другом берегу реки, а то усаживаются на обочине дороги и глядят на проезжающие мимо грузовики.

Каждое утро Лалла проходит по улочкам Городка. Она идет за водой к колонке. По дороге она прислушивается к музыке, которая льется из радиоприемников от дома к дому, одна и та же бесконечная египетская песенка, струящаяся по улицам Городка. Лалла любит эту ритмичную мелодию, которая стонет и жалуется, словно аккомпанируя шелесту девичьих шагов и плеску воды. У колонки Лалла дожидается своей очереди, покачивая на вытянутой руке цинковый бидон. Она оглядывает девушек: одни чернокожие, словно негритянки, вроде Икикр, у других кожа совсем белая и глаза зеленые, как у Марием. Есть тут и старухи с покрывалом на лице, они наполняют водой черные котелки и быстро молча уходят.

Колонка — это обыкновенный латунный кран на конце длинной свинцовой трубы, которая сотрясается и урчит всякий раз, когда кран открывают или закрывают. Девушки моют под ледяной струей ноги и лицо. Иногда они обливают друг друга из ведра, испуская пронзительные крики. А вокруг их голов вьются осы, запутываясь в растрепавшихся волосах.

Поставив полный бидон на голову, Лалла уходит, держась очень прямо, чтобы не расплескать ни капли. Утром небо такое прекрасное и светлое, словно мир только что родился. А когда солнце приближается к зениту, горизонт будто бы заволакивает пыльное облако и небо тяжелее нависает над землей.

Есть у Лаллы и любимое место прогулок. Сначала надо идти по тропинкам на восток в сторону от моря, потом подняться вверх по высохшему руслу реки. А когда покажутся каменистые холмы, продолжать путь по красным камням козьей тропы. В небе ярко пылает солнце, но ветер здесь холодный, он приходит оттуда, где нет ни деревьев, ни воды, это ветер, идущий из самой глубины пустыни. Здесь живет тот, кого Лалла зовет Ас-Сир — Тайна, потому что его имени не знает никто.

И вот Лалла приходит к широкому плато из белого камня, оно тянется до самого края горизонта, до самого неба. Солнечные лучи ослепляют, от холодного ветра занимается дух и на глазах выступают слезы. Лалла смотрит так напряженно, что в горле и в висках начинают отдаваться глухие удары сердца, небо словно заволакивает красная пелена, а в ушах звенят незнакомые голоса, они говорят и бормочут все одновременно.

Она идет все дальше по каменистому плато — туда, где живут одни только скорпионы и змеи. Здесь уже и тропинки не видно. Здесь громоздятся острые, как лезвия, обломки каменных глыб, и солнце высекает из них искры. Тут нет ни деревьев, ни травы — только ветер, летящий из сердца пустыни.

Вот здесь иногда она и встречает Ас-Сира. Она не знает, кто он и откуда. Иногда он представляется ей грозным, а иногда — приветливым, спокойным и божественно прекрасным. Лалла видит только его глаза, потому что лицо его скрыто синим покрывалом, как у воинов пустыни. Он закутан в огромный белый бурнус, искрящийся, как соль на солнце. Из-под синего тюрбана глаза его горят странным сумрачным огнем, его взгляд обдаёт жаром лицо и тело Лаллы, как бывает, когда подойдешь близко к костру.

Но Ас-Сир является ей не всегда. Обитатель пустыни возникает перед ней лишь тогда, когда она страстно жаждет его видеть, когда она и в самом деле не может без него обойтись, как не может обойтись без слов и слез. Но даже когда он не приходит, на каменном плато живет какая-то частица его; быть может, это его пламенный взгляд освещает все вокруг, весь край до самого горизонта. И тогда Лалла может брести среди необозримых остроконечных глыб, ничего не опасаясь, не выбирая дороги. На некоторых камнях высечены какие-то чудные знаки, она не понимает, что они означают, это кресты, точки, пятна в форме солнца и луны, стрелы. Быть может, это колдовские знаки — так говорят мальчишки в Городке, потому-то они и не любят взбираться сюда, на белое каменное плато. Но Лалла не боится ни колдовских знаков, ни одиночества. Она знает, что Синий Человек пустыни хранит ее своим взглядом, и не страшится ни тишины, ни опустошающего ветра.

В этих местах нет никого, ни души. Только Синий Человек неотрывно и молча глядит на нее. Лалла хорошенько не знает, чего он хочет, чего требует. Он нужен ей, и вот он приходит среди безмолвия и смотрит на нее властным взглядом. Она счастлива, когда на каменном плато ее озаряет свет этого взгляда. Она знает, что никому не должна рассказывать о нем, даже Амме, потому что это тайна — самое важное, что есть у нее в жизни. И еще это тайна, потому что лишь одна она не боится так часто приходить на каменное плато, несмотря на безмолвие и пустынный ветер. Быть может, один только пастух-шлех, тот, кого зовут Хартани, тоже порой приходит сюда, да и то лишь тогда, когда одна из коз, которых он пасет, невзначай забредет на плато, бегая по лощинам. Хартани тоже не боится знаков, высеченных на камне, но все же Лалла не решилась поверить ему свою тайну.

Ас-Сир, Тайна — такое имя дала она тому, кто является иногда на каменном плато. Тайна — потому что никто не должен о нем знать.

Он ничего не говорит. Вернее, не говорит обычным языком, каким говорят люди. Но в ушах у Лаллы звучит его голос: он произносит на своем особом языке чудесные слова, которые переворачивают ей душу, и она вся трепещет. Быть может, его голос — это шум ветра, налетающего из глубин бескрайней пустыни, а может, его струит тишина между двумя порывами ветра. Может быть, слова его — это солнечные лучи, от которых вспыхивают снопы искр на каменных клинках, а может, это язык песка или камня, осыпающегося твердой пылью, а может, скорпионов или змей, оставляющих легкие следы в пыли. На всех этих языках умеет говорить Ас-Сир, а взгляд его перелетает с камня на камень, проворный, точно козленок, одним скачком уносится к горизонту, взмывает прямо в небо и парит выше птиц.

Лалла любит приходить сюда, на плато из белого камня, чтобы слышать эту тайную речь. Она не знает того, кого зовет Ас-Сир, не знает ни кто он, ни откуда, но любит встречать его в этих местах, потому что он приносит во взгляде, в речи жаркое дыхание юга — края барханов и песков, безлесья и безводья.

Но даже когда Ас-Сир не является ей, Лалла смотрит на все вокруг его глазами. Трудно объяснить, это как во сне, как если бы Лалла перестала быть сама собой, как если бы она вступила в мир, который находится по ту сторону взгляда Синего Человека.

И тогда перед ней возникают прекрасные и таинственные видения. То, что никогда не открывалось ее глазам и что волнует ее и тревожит. Она видит неохватный, похожий на море простор цвета золота и серы, где застыли огромные песчаные волны. И на этом песчаном просторе ни души, ни деревца, ни травинки, одни только тени от барханов, которые делаются длиннее, сливаются друг с другом, образуя сумрачные озера. Тут все так однообразно, и кажется, будто она одновременно находится и здесь, и там, дальше, куда случайно падает ее взгляд, и еще дальше, где небо встречается с землей. Барханы медленно движутся под ее взглядом, растопырив свои песчаные пальцы. Здесь по дну иссохших долин текут золотые ручейки. Здесь дыбятся маленькие затвердевшие волны, спекшиеся от беспощадного зноя, и далеко тянутся четкие извивы белых берегов, недвижно замерших перед красным песчаным морем. Свет струится и сверкает со всех сторон, его словно излучают сразу и земля, и небо, и солнце. Небу не видно конца. Только у самого горизонта зыблется сухая дымка, дробя блики света и колыхаясь, словно сотканная из лучей трава, да еще розово-охряная пыль мерцает на холодном ветру, вздымаясь к самому центру неба.

Странные, далекие видения, и в то же время есть в них что-то очень знакомое. Словно глазами какого-то другого человека глядит Лалла на бескрайнюю, залитую солнцем пустыню. Она чувствует на своем лице дыхание южного ветра, который взметает тучи песка, чувствует босыми ногами раскаленный песок барханов. И главное, ощущает над своей головой бездонное, беспредельное небо, безоблачное небо, в котором сверкает ничем не замутненное солнце.

И тогда она надолго перестает быть самой собой, она становится кем-то другим, далеким, забытым. Она видит какие-то другие образы, силуэты детей, мужчин, женщин, лошадей, верблюдов, стада коз; видит какой-то город, дворец из камня и земли, глинобитные крепостные валы, из-за которых выходят отряды воинов. Она видит все это как бы воочию, ибо это не сон, а воспоминание, отпечатавшееся в чьей-то памяти, которую она обрела, сама того не ведая. Она слышит голоса мужчин, пение женщин, музыку; быть может, она и сама танцует, кружась на месте, пристукивая то носком, то пяткой босой

ноги и звеня медными браслетами и тяжелыми бусами.

И вдруг сразу, точно сметенное порывом ветра, все исчезает. Это значит: Ас-Сир отводит от нее свой взгляд, отворачивается от плато из белого камня. И тогда Лалла обретает свой собственный взгляд, вновь чувствует, как бьется ее собственное сердце, как дышат легкие, кожа. Она видит теперь во всех подробностях каждую мелочь, каждый камень, каждую трещинку, каждый крохотный узор на песке.

И она возвращается назад. Спускается к высохшему руслу реки, стараясь обходить острые камни и колючие кусты. Спустившись вниз, она чувствует вдруг огромную усталость: ее утомил весь этот яркий свет, неутихающий ветер пустыни. Медленно бредет она по песчаной тропинке к Городку, где еще движутся тени мужчин и женщин. Она доходит до колонки и там, опустившись на колени, омывает водой лицо и руки, словно возвратилась из долгого странствия.

---

И еще Лалле очень нравятся осы. Где только не встретишь в Городке их длинные желтые спинки в черную полоску и прозрачные крылышки. Где их только нет, тяжело плывут они по воздуху, не обращая внимания на людей. Они ищут себе пищу. Лалла очень любит ос, она то и дело заглядывается на них, когда они повисают в солнечном луче над кучей отбросов или вьются над прилавком мясника. Несколько раз они подлетали к Лалле, когда она ела апельсин, норовя сесть на лицо и на руки. Случалось, какая-нибудь из них ужалит в шею или плечо, и укушенное место болит несколько часов. Ну и что ж из того? Лалла все равно любит ос.

Мушки нравятся ей куда меньше. Разве встретишь у мушек, облепивших край стола, такое длинное, желтое в черную полоску тельце, такую тонкую талию? Летают мушки быстро-быстро, а когда садятся, сразу становятся совсем плоскими и выпучивают свои большие красновато-серые глаза.

В Городке всегда дымно; дым стелется над дощатыми лачугами, над улочками с утопанной землей. Тут женщины готовят еду в жаровнях, там сжигают на кострах отбросы, здесь разогревают гудрон, чтобы промазать крышу.

Когда у Лаллы выдается свободное время, она любит постоять у костра и поглядеть на огонь. А то идет к высохшему руслу реки, собирает веточки акации, связывает их обрывком веревки и приносит целую охапку домой к Амме. Пламя весело порхает по веткам, потрескивают стебли и колючки, шипит древесный сок. Пламя пляшет в холодном утреннем воздухе, выводит чудесную мелодию. Если взглянуть в огонь, можно увидеть в нем духов — так, по крайней мере, утверждает Амма. А еще можно увидеть холмы и долины, города и реки, каких только чудесных видений не рождает пламя, но они быстро тают, совсем как облака.

Вскоре, почуяв запах барашка, который тушится в железном котле, прилетают осы. Другие ребята боятся ос, отгоняют, пытаются убить камнями. Но Лалла не мешает осам виться вокруг ее волос, она старается понять, о чем они поют, жужжа своими крылышками.

Когда наступает время обеда, солнце уже стоит высоко в небе и печет вовсю. Белое становится таким ослепительным, что глазам больно, а тени от предметов — такими черными, что кажется: это ямы в земле. Тут приходят сыновья Аммы. Их двое. Одного зовут Али, ему исполнилось четырнадцать лет, а другому — семнадцать, и зовут его Бареки, потому что в день, когда он



родился, его благословили. Баранину Амма накладывает в первую очередь сыновьям, и они едят быстро и жадно, не говоря ни слова. Пережевывая пищу, они тыльной стороной руки отгоняют ос. Потом приходит муж Аммы, который работает на помидорных плантациях, расположенных к югу от Городка. Настоящее его имя Селим, но зовут его Сусси, потому что он родом из долины реки Сус. Он маленький и тщедушный, с чудесными зелеными глазами, Лалла очень любит его, хотя все говорят, что он лентяй. Зато он никогда не убивает ос, наоборот, бывало, возьмет осу большим и указательным пальцами и посмеивается, глядя, как она выпускает жало, а потом остороженько посадит ее на землю — пускай себе летит на все четыре стороны.

К обеду обычно приходит какой-нибудь гость — Амма непременно откладывает для пришельцев кусок мяса. Иногда пообедать к Амме является Наман-рыбак, Лалла всегда рада его приходу, потому что Наман тоже ее любит и рассказывает ей чудеснейшие истории. Ест Наман неторопливо и нет-нет да скажет Лалле что-нибудь забавное. Он называет ее «маленькая Лалла», ведь она ведет свой род от настоящих шерифов. Когда Лалла глядит в его глаза, ей кажется, что перед ней сине-зеленое море, что она плывет по океану, что она уже по ту сторону горизонта, в больших городах с белыми домами, садами и фонтанами. Лалле нравятся имена этих городов, и часто она просит Намана просто называть ей их медленно-медленно, чтобы она успела увидеть то, что притаилось за этими именами.

**Альхесирас**

**Гранада**

**Севиля**

**Мадрид**.

Но сыновьям Аммы хочется разузнать о городах побольше. Они ждут, пока старый Наман покончит с едой, чтобы забросать его вопросами о том, как живут люди по ту сторону моря. Но их интересуют вещи серьезные, а не какие-то там названия, которые рождают в душе мечты. Они спрашивают у Намана, сколько в тех краях можно заработать денег и на какую работу наняться, сколько стоит одежда, еда, а сколько — машина и много ли там кинотеатров. Но старый Наман слишком стар и ничего такого не знает, а может, просто забыл, да и вообще с тех пор, как он жил в тех местах, еще до войны, жизнь там наверняка сильно изменилась. Парни пожимают плечами, но помалкивают: у Намана в Марселе остался брат, в один прекрасный день он может им пригодиться.

Иногда Наману самому хочется поговорить о том, что он повидал, и тогда он рассказывает об этом Лалле, ведь она его любимица и к тому же не задает вопросов.

Лалла любит рассказы Намана, пусть даже не все в них правда. Она вся обращается в слух, когда он говорит о больших белых городах на берегу моря, с их пальмовыми аллеями и садами, взбирающимися высоко по склонам холмов, где растет множество цветов, апельсиновых и гранатовых деревьев, где башни высокие, как горы, и улицы такие длинные, что им не видно конца. Любит она слушать и о черных машинах, которые катят медленно, в особенности по ночам, с зажженными фарами, о разноцветных огнях в витринах магазинов. Или о больших белых кораблях, приплывающих по вечерам в Альхесирас, о том, как они медленно скользят вдоль мокрых набережных, а толпа кричит и машет руками, приветствуя прибывших. Или о железной дороге, которая тянется на север от города к городу, через окутанные туманом деревни, реки, горы, ныряет со всеми своими пассажирами и их багажом в темные туннели и так бежит до большого города

Парижа. Лалла слушает старика, тревожно вздрагивая, и в то же время думает: хорошо бы оказаться в таком вот поезде и катить по железной дороге из города в город, в неведомые страны, в те края, где никто ничего не знает ни про пыль, ни про голодных собак, ни про дощатые лачуги, в которые врывается ветер пустыни.

— Увези меня с собой, когда поедешь туда, — просит Лалла.

Старый Наман качает головой.

— Я уже слишком стар, маленькая Лалла, я больше никуда не поеду, я умру по дороге. Но ты, ты поедешь, — добавляет он, чтобы ее утешить. — Ты увидишь все эти города, а потом, как и я, вернешься сюда.

И Лалла довольствуется тем, что заглядывает в самую глубину глаз Намана, стараясь увидеть то, что видел он, — так вглядываются в морские глубины. Она долго перебирает в памяти звучные имена городов, напевая эти имена про себя, точно слова песни.

Иногда рассказать о чужих дальних странах просит рыбака Амма. И он в который уже раз заводит речь о своем путешествии через всю Испанию, о том, как он добрался до самой границы, а после ехал по шоссе берегом моря до большого города Марселя. Он описывает дома, улицы этого города, его лестницы, бесконечные набережные, подъемные краны, описывает огромные, как дома, как целые города, корабли, с которых сгружают грузовики, вагоны, камень, цемент, а потом они с протяжными гудками отплывают по черной воде порта. Сыновья Аммы слушают рассказы Намана вполуха: они не верят старику. Когда Наман уходит, они говорят: всем, мол, известно, что он в Марселе служил поваром, и в насмешку называют его Таббах, что означает «кухарь».

Но Амма внимательно слушает Намана. Ее вовсе не смущает, что Наман в Марселе служил поваром, а здесь простой рыбак. Она каждый раз задает ему всё новые вопросы, чтобы снова услышать про его путешествие, про границу и про город Марсель. И тогда Наман рассказывает еще об уличных драках, о том, как в темных улочках нападают на арабов и евреев и им приходится защищаться с ножом в руках или же бросать в нападающих камнями и убегать со всех ног, чтобы не угодить в лапы полицейских, которые, разъезжая на машине, хватают людей и сажают их в тюрьму. Рассказывает Наман и о тех, кто тайком переходит границу, пробирается ночью по горам, а днем отсиживается в пещерах или кустах. Но, бывает, полицейские собаки учуют след беглеца и нападают на него, когда он спускается с гор уже по ту сторону границы.

Рассказывая об этом, Наман хмурится, и из глубины его глаз на Лаллу веет холодом. Странно делается Лалле, она не совсем понимает, в чем дело, но ей отчего-то страшно, она чувствует какую-то смутную угрозу, как если бы вдруг повеяло смертью, бедой. Может, и это тоже старый Наман привез оттуда, из городов, лежащих за морем.

Если старый Наман не вспоминает о своих путешествиях, он рассказывает истории, которые слышал когда-то. Только Лалле и маленьким ребятишкам, потому что они одни слушают и не задают лишних вопросов.

Наман частенько сидит на берегу моря в тени фигового дерева и чинит сети. Вот тогда-то настает время самых чудесных его историй, тех, что происходят в океане, на кораблях, во время бури, и речь в них идет о людях, потерпевших кораблекрушение и попавших на неведомые острова. Самое замечательное, что у Намана есть истории на все случаи жизни. Сидит, к примеру, Лалла с ним рядом в тени фигового дерева и смотрит, как он чинит свои сети. Проворно движутся крупные загорелые руки рыбака с

обломанными ногтями, ловко вяжут узлы. И вдруг среди ячеек в сети зияет большущая дыра, Лалла, само собой, спрашивает:

— Кто же это порвал? Наверное, огромная рыба?

Вместо ответа Наман, помолчав, говорит:

— А я не рассказывал тебе, как мы однажды поймали акулу?

Лалла качает головой, и Наман начинает. Как и в большинстве его рассказов, дело происходило в бурю, когда молнии прорезали небо с одного конца до другого, а волны были величиной с гору и дождь лил как из ведра. Сеть стала тяжелой, такой тяжелой, что, когда ее начали вытягивать из воды, лодка накренилась и рыбаки испугались: вдруг она перевернется? А когда наконец показалась сеть, они увидели в ней огромную синюю акулу: она барахталась там, разевая грозную зубастую пасть. Пришлось рыбакам вступить в борьбу с акулой, чтоб она не утащила в воду их сеть. Ее били баграми, рубили топором. Но акула грызла борт лодки, крошила его, точно фанерный ящик. Наконец капитан прикончил ее палкой, и хищницу втащили на борт.

— Вспороли мы ей брюхо, чтобы поглядеть, что у нее внутри, а там кольцо, все золотое и с драгоценным камнем, ярко-красным и таким красивым, что мы глаз отвести не могли. Ну, само собой, каждому захотелось заполучить то кольцо, и вскорости все уже готовы были поубивать друг друга, только бы завладеть проклятым камнем. Тут я возьми и предложи разыграть его в кости: у нашего капитана была пара игральных костей. И хотя буря была страшная — вот-вот перевернет лодку, — бросили мы на палубе кости. Было нас шестеро, и мы шесть раз бросали кости — кому выпадет больше очков. После первого круга остались мы вдвоем с капитаном, потому что каждому из нас выпало по одиннадцати: пять и шесть. Все сгрудились вокруг нас — поглядеть, кому повезет. Бросил я кости, и выпало у меня две шестерки! Мое, стало быть, кольцо! Сначала я обрадовался так, как ни разу в жизни не радовался. Долго смотрел я на кольцо, но красный камень горел адским пламенем, дурным таким светом, красным как кровь. И тут увидел я, что и глаза моих товарищей загорелись таким же дурным огнем, и понял, что кольцо это проклято, как и человек, носивший его, кого сожрала акула, и понял я также, что и тот, кто возьмет себе кольцо, тоже навлечет на себя проклятье. И вот нагляделся я на кольцо, а потом снял его с пальца да и бросил в море. Капитан и товарищи мои пришли в ярость, они хотели и меня самого швырнуть в море. И тогда я сказал им: «За что вы на меня злобитесь? Что из моря пришло, в море и вернулось, и теперь можно считать, ничего не было». И только я сказал это, буря сразу стихла и над морем засияло солнце. И тогда все матросы тоже утомонились, и даже капитан, который так мечтал заполучить кольцо, сразу о нем позабыл и сказал: «Молодец, что бросил его в море». И тушу акулы мы тоже выбросили за борт и вернулись в порт чинить сети.

— А ты и вправду веришь, что это кольцо было проклято? — спрашивает Лалла.

— Не знаю, проклято или нет, — отвечает Наман, — знаю только, что, не брось я его в море, в тот же самый день кто-нибудь из товарищей убил бы меня, чтобы его украсть, и так погибли бы все до одного.

Лалла любит слушать рассказы старого рыбака, сидя рядом с ним у моря возле фигового дерева, в тени листвы, которая шелестит на ветру. Девочке кажется, будто она слышит голос моря, от речи Намана веки ее тяжелеют, по телу разливается дремота. Она сворачивается клубочком на песке, положив голову на корни дерева, старый рыбак продолжает чинить красную

веревочную сеть, а над кристалликами соли, застывшими на ней, кружат осы.

---

«Эй! Хартани!»

Лалла громко кричит на ветру, приближаясь к каменистым, заросшим колючим кустарником холмам. Здесь среди щебня всегда шныряют ящерицы, а то и попадаются змеи, с шипением уползающие прочь. Здесь растет высокая, острая как нож трава и множество карликовых пальм, из листьев которых плетут корзины и циновки. И повсюду жужжат насекомые, потому что сквозь камни пробиваются крошечные ручейки, а в карстовых провалах прячутся большие колодцы, где собирается холодная вода. Проходя мимо, Лалла бросает в расселины камешки и прислушивается к гулу, отдающемуся в глубинном сумраке.

«Харта-а-ни!»

Он часто прячется, чтобы подшутить над нею, возьмет и растянется на земле под каким-нибудь колючим кустом. Одет он всегда в один и тот же длинный грубошерстный бурнус с обтрепанными рукавами и подолом, а вокруг головы и шеи обмотано длинное белое полотнище. Хартани высок и гибок, как лиана, у него красивые смуглые руки с ногтями цвета слоновой кости, а ноги просто созданы для бега. Но больше всего Лалле нравится его лицо, не похожее ни на чье другое в Городке. Лицо у Хартани узкое, с гладкой кожей, выпуклым лбом и совершенно прямыми бровями, а большие темные глаза отливают металлическим блеском. Короткие волосы немного курчавятся, ни усов, ни бороды у него нет. Выглядит он сильным и уверенным в себе и смотрит прямо, бесстрашно пронизывая тебя взглядом, и он умеет заливаться таким звонким смехом, что сразу делается хорошо на душе.

Сегодня Лалла находит его без труда, потому что он вовсе не прячется. Он сидит на большом камне и смотрит прямо перед собой туда, где пасется стадо коз. Сидит он не шевелясь. Ветер чуть колышет его коричневый бурнус, поигрывает концом белой чалмы. Лалла подходит к нему, не окликая, знает: он услышал ее шаги. У Хартани острый слух: он слышит, как по ту сторону холма скачет заяц, и показывает Лалле самолеты в небе задолго до того, как до нее донесется шум мотора.

Когда Лалла подходит к Хартани совсем близко, он встает и оборачивается к ней. Лучи солнца сверкают на его черной коже. Он улыбается, и зубы его тоже сверкают на солнце. Хотя Хартани моложе Лаллы, они одного роста. В левой руке он держит маленький нож без рукоятки.

«На что тебе этот нож?» — спрашивает Лалла.

Она устала от долгого пути и присаживается на выступ скалы. Он стоит перед ней на одной ноге, сохраняя при этом равновесие. И вдруг отскакивает назад и мчится куда-то по каменистому склону. Через несколько минут он возвращается с пучком тростника, который срезал на болоте. Он с улыбкой показывает его Лалле. И дышит часто, как собака, которая слишком быстро бежала.

«Красивые, — говорит Лалла. — Ты будешь в них дудеть?» Лалла произносит эти слова не так, как обычно. Она бормочет их едва слышно, помогая себе жестами. Каждый раз, когда она что-нибудь говорит, Хартани застывает на месте, внимательно и серьезно вглядываясь в нее, стараясь ее понять.

Пожалуй, Лалла единственная, кого он понимает и кто понимает его. Когда она произносит слово «дудеть», Хартани подпрыгивает на месте, раскинув в

стороны свои длинные руки, словно собирается пуститься в пляс. Он свистит, сунув в рот пальцы, да так громко, что козы, пасущиеся на склоне холма, вздрагивают.

Потом, взяв в руки несколько срезанных тростинки, он крепко сжимает их. И начинает в них дуть — слышатся странные хрипловатые звуки, похожие на крик козодоя в ночи, немного печальные, как песни пастухов-шলেখов.

Хартани поиграл немного, не переводя дыхания. Потом он протягивает тростинки Лалле, и теперь играет она, а пастух застывает на месте, его темные глаза радостно блестят. Так они забавляются игрой, по очереди дуют в тростниковые трубки разной длины, и кажется, что эта печальная музыка льется из белых от солнца далей, из устья подземных гротов, с самого неба, где лениво гуляет ветерок.

Иногда, задыхаясь, они перестают играть, и тогда пастух раздражается звонким смехом, и Лалла тоже начинает смеяться, сама не зная чему.

А потом они идут через усыпанную камнями равнину, и Хартани держит Лаллу за руку, потому что здесь множество острых глыб, которые она может не заметить между зарослями кустарника. Они перепрыгивают через низкие стенки, сложенные из камней, петляют между колючим кустарником. Хартани показывает Лалле все самое примечательное на этих каменистых равнинах и на склонах холмов. Он, как никто другой, знает, где прячется какое насекомое: где золотистые жучки, а где саранча, богомол, насекомые, похожие на листья. Знает он также все растения — и те, чьи листья так хорошо пахнут, если растереть их между пальцами, и те, у которых корни полны влаги, и те, что имеют привкус аниса, перца, мяты и меда. Он знает зернышки семян, которые шелкают на зубах, как орехи, и малюсенькие ягоды, от которых пальцы и губы становятся синими. Он знает даже укромные места, где можно найти маленьких окаменевших улиток и песчинки в форме звездочек. Он уводит Лаллу далеко-далеко через ограды, сложенные из камня, по незнакомым ей тропинкам к тем холмам, откуда видно начало пустыни. Когда он поднимается на вершину этих холмов, глаза Хартани сверкают, темная кожа лоснится. Он показывает рукой на юг, где родился.

Хартани не похож на других ребят. Никто не знает, откуда он родом. Просто в один прекрасный день — было это уже давно — появился человек верхом на верблюде. Одет он был, как воины пустыни, в синий бурнус, и лицо его было закрыто синим покрывалом. Он остановился у колодца, чтобы напоить верблюда, и сам долго-долго пил. Ясмина, жена козопаса, как раз и увидела его, когда шла за водой. Она остановилась поодаль, чтобы не мешать незнакомцу утолять жажду, а когда человек на верблюде удалился, она заметила, что он оставил у стенки колодца крошечного ребенка, завернутого в кусок синей ткани. Никто не захотел взять младенца, и тогда его приютила сама Ясмина. Она воспитала его, он вырос в ее семье как сын. Этот мальчик и был Хартани — ему дали такое имя, потому что кожа его была черной, как у рабов с юга.

Хартани и вырос в том самом месте, где его оставил воин пустыни, у каменистых равнин и холмов, где начинается пустыня. Он пас коз, принадлежащих Ясмине, и стал таким же пастухом, как и все другие ребята. Он умеет обращаться с животными, знает, как направить их туда, куда нужно, не погоняет кнутом, а просто свистит, заложив пальцы в рот, потому что животные его не боятся. Он умеет разговаривать с пчелами, насвистывая сквозь зубы и отводя их от себя руками. Люди побаиваются Хартани, говорят, что он *меджнун* и наделен демонической властью. Говорят, он умеет заклинать змей и скорпионов и насылать их на стада других пастухов, чтобы

сгубить их. Но Лалла не верит этим рассказам, она не боится Хартани. Быть может, она одна и знает его по-настоящему, потому что разговаривает с ним без слов. Она смотрит на него, читает в глубине блестящих черных глаз, а он вглядывается в ее янтарные глаза — смотрит не просто ей в лицо, а в самую глубину глаз, потому-то и понимает, что она хочет сказать.

Амме совсем не по душе, что Лалла так часто ходит к пастуху на каменистые равнины и холмы. Она твердит девочке, что этот подкидыш, чужак ей не пара. Но, едва покончив с работой в теткинском доме, Лалла бежит по дороге к холмам, свистит, заложив в рот пальцы, как пастухи, и кричит: «Эй! Хартани!»

Иногда она остается на холмах до самой темноты. До тех пор пока Хартани не соберет своих коз, чтобы отвести их вниз, в загон у дома Ясины. Часто они безмолвно и неподвижно сидят вдвоем на камнях у подножия холмов. Трудно объяснить, чем они заняты в эти минуты. Быть может, просто смотрят вдаль, и взгляд их словно проникает сквозь холмы, уходит за линию горизонта. Лалла и сама не может хорошенько объяснить, отчего это, когда она сидит вот так рядом с Хартани, время словно бы исчезает. Беззвучные слова свободно передаются от одного к другому, наполненные особым смыслом, как это бывает во сне, когда это и ты, и как будто не ты.

Именно Хартани научил ее сидеть вот так, не шевелясь, смотреть на небо, на камни, на кусты, следить за полетом ос и мушек, слушать пение невидимых насекомых, чувствовать, как над землей нависает тень хищной птицы и как дрожит в кустах заяц.

У Хартани нет настоящей семьи, как у Лаллы, он не умеет ни читать, ни писать, он не знает даже слов молитвы, он не умеет говорить, и однако именно ему ведомы все эти чудеса. Лалле нравится его гладкое лицо, длинные пальцы, темные глаза, отливающие металлическим блеском, его улыбка; ей нравится, как он ходит, быстрый и легкий, точно борзая, как перепрыгивает с камня на камень и вдруг исчезает в каком-нибудь потаенном месте.

В Городок он не приходит никогда. Быть может, боится других ребят, ведь он не такой, как они. Если он и уходит, то только на юг, к пустыне, туда, где пролегают пути кочевых караванов с их верблюдами. И тогда минует несколько дней, а о нем ни слуху ни духу, и никто не знает, куда он делся. А потом в один прекрасный день он возвращается и как ни в чем не бывало сидит на своем обычном месте на каменистой равнине, где пасутся козы, словно отлучался всего на несколько минут.

Когда Лалла сидит на скале рядом с Хартани и они вдвоем глядят на залитый солнцем каменистый простор — по временам налетают порывы ветра, над низенькими серыми растениями жужжат осы, и козы постукивают копытцами по осыпающимся камням, — ей и в самом деле ничего другого не нужно. Внутри нее разливается тепло, словно весь свет, льющийся с неба и отражающийся от камней, проникает в самые недра ее существа и разгорается все жарче. Хартани берет ладонь Лаллы в свою смуглую руку с длинными, тонкими пальцами и сжимает почти до боли. Лалла чувствует, как к ее ладони приливает горячая волна, чувствует какой-то странный долгий трепет. Ей не хочется ни говорить, ни думать. Ей удивительно хорошо — так бы и сидеть весь день, не шевелясь, пока тьма не затянет лощины. Глядя прямо перед собой, она различает в этом царстве камней каждую мелочь, каждый пучок травы, слышит каждый шорох, каждый писк насекомого. Она чувствует спокойное дыхание пастуха, она сидит так близко от него, что смотрит на все как бы его глазами, осязает его кожей. Это длится короткое мгновение, но оно кажется таким долгим, что, подхваченная его вихрем, она забывает обо всем

на свете.

И вдруг, словно испугавшись чего-то, пастух вскакивает на ноги, выпускает руку Лаллы. И, даже не взглянув на нее, быстро, как гончая, бежит, перепрыгивая через обломки скал и пересохшие ложбины. Потом перемахивает через каменную ограду, и его светлый силуэт исчезает в колючем кустарнике.

«Хартани! Хартани! Вернись!» — кричит Лалла, стоя на уступе, и голос ее дрожит — она знает, звать бесполезно. Хартани исчез, скрывшись в какой-нибудь темной известковой пещере. Сегодня он больше не появится. Придет ли он завтра или через день? И Лалла начинает медленно спускаться со склона, неловко перебираясь с уступа на уступ и время от времени оглядываясь — вдруг она увидит пастуха? Так она покидает каменистую равнину, загоны с оградами из камня и возвращается вниз, в долину, на побережье, где люди живут в лачугах из досок, железа и упаковочного картона.

---

Все дни в Городке похожи один на другой, иногда на тебя даже находит сомнение: а какой, собственно, нынче день? Может, ты живешь в стародавние времена, когда люди еще не научились писать и вообще все в мире еще зыбко? Впрочем, никто в Городке по-настоящему об этом не задумывается, никто не спрашивает себя: а кто я, собственно, такой? Но Лалла часто думает об этом, когда ходит на каменное плато, где живет Синий Человек, которого она называет Ас-Сир.

Может, это еще из-за ос. В Городке их такая уйма, куда больше, чем людей. С утра до вечера жужжат они в воздухе в поисках пищи и пляшут в солнечных лучах.

Впрочем, на самом-то деле дни никогда не бывают совсем одинаковыми, так же как и рассказы Аммы, как лица девушек, проходящих к колонке. Бывают, к примеру, такие знойные часы, когда солнце обжигает кожу сквозь одежду, когда лучи его иглами вонзаются в глаза и губы начинают кровоточить. Тогда Лалла с головы до ног закутывается в синее покрывало и, завязав на затылке большой носовой платок, опускает его на лицо до самых глаз, а голову обматывает еще одним синим покрывалом, которое ниспадает до самой груди. Жгучий ветер прилетает из пустыни, принося с собой жесткие крупы пыли. На улицах Городка ни души. Даже собаки попрятались кто куда — кто в яму, кто за дом, кто за пустую канистру из-под бензина.

Но Лалла любит выходить на улицу в такие дни, может, как раз потому, что нигде нет ни души. Кажется, будто на земле не осталось ничего — ничего, что принадлежало бы людям. В такие вот минуты Лалла чувствует себя так, словно она уже больше не она, словно все, что она когда-нибудь делала, не в счет, словно самая память исчезла.

И тогда она идет к морю, туда, где высятся дюны. Укутанная в синие одежды, она садится на песок и смотрит на клубящуюся в воздухе пыль. Синева неба над самой ее головой густая-густая, почти как ночью, а горизонт за линией дюн пепельно-розовый, как бывает на заре. В такие дни не донимают ни мухи, ни осы: они попрятались от ветра в трещины между камнями, в свои земляные гнезда или в темные углы домов. Не видно ни мужчин, ни женщин, ни детей. Нет ни собак, ни птиц. Только ветер свистит в кустах, в листьях акаций и диких смоковниц. Только мириады каменных песчинок хлещут Лаллу по лицу, разлетаются в стороны от нее, вьются лентами, змеями, облачками. Шумит ветер, шумит море, скрипит песок, Лалла

подается вперед, чтобы легче было дышать, а синее покрывало залепляет ей ноздри и рот.

Как хорошо! Кажется, будто ты плывешь в лодке, словно Наман-рыбак и его товарищи, и тебя застигла страшная буря. Небо необычное, совершенно нагое. Земля исчезла или почти исчезла, она еле видна сквозь песчаные просветы, она исковеркана, растерзана — только чернеют пятна рифов среди моря.

Лалла сама не знает, почему в такие дни ее тянет в дюны. Это сильнее ее, она не может оставаться в четырех стенах в доме Аммы, не может бродить по улицам Городка. Жгучий ветер опалает ей губы и ноздри, огонь разливается в ее груди. Быть может, это жар лучей, льющихся с неба, лучей, идущих с востока, который вместе с порывами ветра проникает в ее тело. Но пламя это не только опалает, оно несет освобождение, тело Лаллы становится легким, быстрым. Цепляясь обеими руками за песчаные дюны, уткнув подбородок в колени, она старается удержаться на месте. И дышит она редко и неглубоко, чтобы не стать слишком легкой.

Она старается думать о тех, кого любит, чтобы не дать ветру унести себя. Она думает об Амме, о Хартани и в особенности о Намане. Но в такие дни ничто и никто из тех, кого она знает, по-настоящему не имеет значения, и мысль ее тотчас уносится прочь, ускользает, словно это ветер выхватил ее и понес вдоль дюн.

Потом внезапно Лалла чувствует на себе взгляд Синего Человека пустыни. Тот же самый взгляд, что и там, наверху, на каменном плато у порога пустыни. Бездонный, повелительный взгляд наваливается ей на плечи всей тяжестью ветра и солнца, в этом взгляде испепеляющая сушь, которая несет с собой муку, это взгляд отвердевший, как каменное крошево, осыпающее ее лицо и одежду. Лалла не понимает, чего он хочет, чего требует. Быть может, от нее он вовсе ничего не хочет, просто пролетает над морем, над рекой, над Городком, стремясь куда-то вдаль, чтобы опалить города и белые дома, сады, фонтаны и широкие проспекты в заморских странах.

Лалле становится страшно. Она хочет остановить этот взгляд, задержать его на себе, чтобы он не стремился туда, за горизонт, чтобы он отказался от своей жажды мести, от огня и насилия. Она не может понять, почему ярость Синего Человека жаждет смести с лица земли эти города. Лалла закрывает глаза, чтобы не видеть песчаных змей, извивающихся вокруг нее, не видеть грозных песчаных клубов. И тогда в ее ушах начинает звучать голос воина пустыни, которого она зовет Ас-Сир — Тайна. Никогда прежде, даже когда он являлся ей на каменном плато, закутанный в белый бурнус, с лицом, закрытым синим покрывалом, не слышала она его так явственно. Станный голос звучит в ее мозгу, сливаясь с воем ветра и скрипом песка. Далекий этот голос повторяет слова, которые она не совсем понимает, без конца твердит одни и те же фразы, одни и те же слова.

«Останови ветер! — громко просит его Лалла, не открывая глаз. — Не разрушай города. Сделай так, чтобы ветер утих, чтобы солнце не жгло, чтобы все жили в мире. — И, не удержавшись, продолжает: — Чего ты хочешь? Зачем ты пришел сюда? Я для тебя никто, почему же ты говоришь со мной, только со мной одной?»

Но голос продолжает шептать, трепет его проникает в самую глубь ее существа. Это просто голос ветра, моря, песка, голос света, который ослепляет и опьяняет людей. Он звучит тогда, когда появляется таинственный взгляд, круша и сметая все, что встает на его пути. Потом мчится дальше, к горизонту, теряясь в могучих волнах моря, унося облака и песок к скалистым



берегам, по ту сторону моря, к широким дельтам, где горят факелы нефтеперегонных заводов.

---

— Расскажи мне о Синем Человеке, — просит Лалла.

Но Амма занята: она месит тесто в большой глиняной миске. Она качает головой:

— В другой раз.

— Нет, Амма, сегодня, пожалуйста, — настаивает Лалла.

— Да я уже рассказала тебе все, что знала.

— Ну и что ж, я хочу еще раз послушать о нем и о том, кого звали Ма аль-Айнин — Влага Очей.

Тогда Амма перестает месить тесто. Садится на землю и начинает свой рассказ — в глубине души она и сама любит рассказывать всякие истории.

— Я тебе уже говорила, что случилось это давно, ни твоей матери, ни меня тогда еще на свете не было, потому что великий Аль-Азрак, которого прозвали Синим Человеком, умер, когда бабка твоей матери была маленькой девочкой, а Ма аль-Айнин был в ту пору еще совсем молодым.

Лалле хорошо знакомы все эти имена, она не раз слышала их с самого раннего детства, и все равно каждый раз, когда их произносят, она слегка вздрагивает, что-то отзывается в ней, в самой глубине ее души.

— Аль-Азрак был родом из того же племени, что и бабка твоей матери, он жил далеко на юге, южнее Дра, южнее даже Сегиет-эль-Хамры, а в ту пору в тех краях не было ни одного чужестранца, христианам был заказан путь в страну. Воины пустыни были в ту пору непобедимы, и все земли к югу от Дра, далеко-далеко, до самого сердца пустыни, до священного города Шингетти, принадлежали им.

Каждый раз, рассказывая историю Аль-Азрака, Амма добавляет какую-нибудь новую подробность, новую фразу или что-нибудь изменяет, словно не хочет, чтобы рассказ был окончен раз и навсегда. Говорит Амма немного нараспев, и ее сильный голос странно отдается в сумраке дома, где слышно, как потрескивает на солнце железо и жужжат осы.

— Его прозвали Аль-Азрак потому, что, прежде чем сделаться святым, он был воином пустыни далеко на юге, возле Шингетти, ведь он был благородного происхождения, сын шейха. Но однажды он услышал голос Аллаха и сделался святым: он снял синие одежды воина; как бедняк, облачился в шерстяной бурнус и шел из города в город босой, с посохом, точно нищий. Но Аллах не захотел, чтобы Аль-Азрака путали с другими нищими, и сделал так, что у того кожа лица и рук стала синей, и цвет этот не исчезал даже после омовений. Лицо и руки Аль-Азрака оставались синими, и, когда люди это видели, они понимали: несмотря на поношенный шерстяной бурнус, это не нищий, а настоящий воин пустыни, который услышал голос Аллаха, и потому его прозвали Аль-Азрак — Синий Человек...

Рассказывая, Амма слегка раскачивается взад и вперед, словно подчиняясь какому-то музыкальному ритму. А порой она надолго замолкает и, склонившись над глиняной миской, разминает тесто, снова лепит его, а потом давит кулаками.

Лалла молча ждет продолжения.

— Никого из тех, кто жил в ту пору, уже нет на свете, — говорит Амма. — До нас дошли только рассказы, легенды, память. Теперь есть такие люди, что не верят в это — говорят, все это вранье.

Амма размышляет — она тщательно обдумывает свой рассказ.

— Аль-Азрак был великий святой, — говорит она. — Он излечивал больных, даже тех, у кого хворь гнездилась внутри, и тех, кто потерял разум. Он жил где придется: в пастушьих хижинах, в шалашах из листьев под каким-нибудь деревом, а не то в пещерах в самом сердце гор. Люди стекались со всех сторон, чтобы увидеть его и попросить помощи. Однажды старик привел к Аль-Азраку слепого сына и сказал: «Вылечи моего сына, о ты, благословенный Аллахом, вылечи его, и я отдам тебе все, что у меня есть». И он протянул мешок, полный золота, который принес с собой. «На что нужно здесь твое золото?» — спросил старика Аль-Азрак. И указал ему на простирающуюся вокруг пустыню, безводную и бесплодную. Он взял у старика золото и швырнул его наземь, и золото превратилось в скорпионов и змей, которые расползлись во все стороны, и старик задрожал от страха. Тогда Аль-Азрак спросил старика: «Согласен ли ты ослепнуть вместо своего сына?» И ответил старик: «Я стар, на что мне мои глаза? Пусть прозреет мой сын, и я буду счастлив». И тотчас к юноше вернулось зрение, и он зажмурился от яркого солнечного света. Но, когда он увидел, что отец его ослеп, радость его угасла. «Верни зрение моему отцу, — попросил он. — Ведь Аллах поразил меня, а не его». И тогда Аль-Азрак сделал зрячими обоих, потому что убедился: сердце у них доброе. И он продолжал свой путь к морю и остановился в местечке вроде нашего, возле дюн, на берегу моря.

Амма снова замолкает. И Лалла думает о дюнах, где жил Аль-Азрак, и в ушах ее звучит шум ветра и моря.

— Рыбаки каждый день приносили ему еду. Они знали, что Синий Человек — святой, и просили благословить их. Некоторые приходили к нему издалека, из укрепленных городов юга, приходили, чтобы услышать его слово. Но не словами учил Сунне<sup>7</sup> Аль-Азрак, и, когда кто-нибудь просил его: «Укажи путь истинный», он, не отвечая, продолжал часами читать молитвы. А потом говорил пришельцу: «Поди принеси хворосту, чтобы разжечь огонь. Поди принеси воды», словно тот был его прислужником. И еще говорил ему: «Обмахни меня опахалом», — и вообще разговаривал с ним сурово, называл ленивцем и лжецом, словно тот был его рабом.

В сумраке дома Амма неторопливо ведет свой рассказ, и Лалле чудится, что она слышит голос Синего Человека.

— Так обучал он Сунне, не словами, но поступками и молитвами, чтобы побудить пришельцев смириться в сердце своем. Но когда приходили простые люди или дети, Аль-Азрак принимал их ласково, говорил им ласковые слова и рассказывал чудесные легенды, потому что знал: их сердце не зачерствело, и они и впрямь угодны Аллаху. Для них он иногда творил чудеса, чтобы помочь им, ведь им негде было больше искать помощи. Я тебе рассказывала про чудо с источником, который по его воле забил из-под камня? — спрашивает Амма задумчиво.

— Рассказывала, но все равно Расскажи еще раз, — просит Лалла.

Эту историю она любит больше всего на свете. Каждый раз, когда ее слышит, душу охватывает какое-то непонятное чувство, словно она вот-вот заплачет, словно ее знобит в лихорадке. Лалла пытается представить себе, как все это случилось, давным-давно, в деревушке у самой границы пустыни, среди домов и пальм, на большой безлюдной площади, где жужжат осы и

---

<sup>7</sup> *Сунна* (араб. путь, обычай) — священное предание ислама, содержащее рассказы о жизни пророка Мухаммеда, а также его высказывания. Дополнение к Корану.

блестит на солнце гладкая, как зеркало, вода в колодце, в которой отражаются облака и небо. На площади ни души, потому что солнце уже палит вовсю и люди укрылись в прохладе своих домов. По неподвижной воде колодца, уставившегося в небо точно зрачок, время от времени проходит медленная рябь от дыхания раскаленного воздуха, осыпающего поверхность воды тонкой белой пылью, и она словно подергивается чуть заметным бельмом, которое тотчас же тает. Зеленовато-синяя вода прекрасна и глубока, она безмолвна и неподвижна в чаше из красной земли, на которой босые ноги женщин оставили поблескивающие следы. Одни только осы кружат над водой, почти касаясь ее поверхности, и возвращаются к домам, где тянется вверх дымок от жаровен.

— И вот к колодцу пришла с кувшином за водой одна женщина. Теперь уже никто не помнит, как ее звали, потому что случилось это давным-давно. Но женщина эта была очень старая, сил у нее совсем не осталось, и, подойдя к колодцу, она стала причитать и плакать, что ей приходится так далеко ходить за водой. Сидела она, сгорбившись, на земле, плакала и стенала. И вдруг рядом с ней оказался Аль-Азрак, а она и не заметила, как он подошел...

Теперь Лалла отчетливо видит его. Высокий, худой, в бурнуса цвета песка. Лицо его скрыто покрывалом, но глаза горят странным светом, который и успокаивает, и придает сил, точно пламя светильника. Теперь она узнаёт его. Это он появляется на каменистом плато у начала пустыни и обволакивает Лаллу своим взглядом так властно, с такой силой, что у нее кружится голова. И является он вот так, бесшумно, словно тень, он всегда тут как тут, когда в нем есть нужда.

— Старая женщина все плакала и плакала, и тогда Аль-Азрак ласково спросил ее, почему она плачет.

Но хотя он и является вот так бесшумно, словно возникнув из самой пустыни, его нельзя испугаться. Во взгляде его столько доброты, голос его нетороплив и спокоен, и само лицо его излучает свет.

— Старая женщина поведала ему о своей печали, о своем одиночестве, о том, что ей приходится ходить за водой в такую даль, а у нее не хватает сил донести до дому полный кувшин...

Голос и взгляд его как бы слиты воедино, словно ему уже заранее известно все, что должно случиться в будущем, и ведомы предначертания человеческих судеб.

— «Не плачь, — сказал старой женщине Аль-Азрак, — я помогу тебе дойти до дому».

И он довел ее под руку до самого ее жилья, а когда они подошли к дому, сказал ей только: «Подними этот камень у обочины дороги, и у тебя всегда будет вода». Старая женщина сделала так, как он сказал, и из-под камня забил родник, вода в нем была чистая-чистая, и она разлилась вокруг и превратилась в водоем, и такой прекрасной и свежей воды не было во всей округе. И женщина поблагодарила Аль-Азрака, а позднее люди из окрестных селений приходили взглянуть на источник и испить из него воды, и все восхваляли Аль-Азрака, которого Аллах наделил такой силой.

Лалла думает об источнике, который забил из-под камня, о светлой и гладкой воде, сверкавшей в лучах солнца. Долго думает она обо всем этом в полумраке дома, пока Амма продолжает месить тесто, чтобы испечь хлеб. А тень Синего Человека исчезает так же бесшумно, как появилась, но его властный взгляд витает над нею в воздухе, обволакивая ее, точно чье-то незримое дыхание.

Амма умолкла, она не произносит больше ни слова. Только по-прежнему

месит и поколачивает тесто в большой глиняной миске, которая чуть подрагивает. Быть может, Амма тоже думает о прекрасном, глубоком источнике, о воде, которая пробилась из-под придорожного камня, подобно слову Аль-Азрака, слову истины, открывшему путь истины.

---

Каким прекрасным светом залит всегда их Городок! Прежде Лалла не обращала на это особого внимания, но Хартани научил ее видеть. Солнечные лучи удивительно светлы, особенно по утрам, сразу после восхода солнца. Они освещают скалы и красную землю, вдыхают в них жизнь. Есть места, откуда лучше всего любоваться солнечным светом. Как-то утром Хартани привел Лаллу в одно из таких мест. Это пропасть на дне каменистой лощины. Никто, кроме Хартани, и не подозревает об этом потаенном уголке. Не зная дороги, его не найдешь. Хартани берет Лаллу за руку и ведет ее по узкому ущелью, спускающемуся в самую глубь земли. Лаллу сразу охватывает влажная, тенистая прохлада, и все звуки исчезают, словно она нырнула с головой под воду. Ущелье уходит глубоко в землю. Лалле становится немного страшно: она впервые спускается в сердце земли. Но пастух крепко сжимает ее руку, и это придает ей смелости.

И вдруг они останавливаются: длинное ущелье залито светом, оно открывается прямо в небо. Лалла не может понять, как это вышло, они ведь спускались всё ниже и ниже, и однако это так — перед ней небо, бескрайнее и невесомое. Она застывает на месте, не дыша, широко распахнув глаза. Здесь нет ничего, кроме неба, такого прозрачного, что кажется: ты паришь в нем птицей.

Хартани делает Лалле знак приблизиться к выходу. А сам опускается на камни — осторожно, чтобы они не осыпались. Лалла садится немного позади, голова у нее кружится, и она вздрагивает. Внизу, у самого подножия скалы, сквозь дымку открывается огромная пустынная равнина, высохшие русла рек. У горизонта стелется туман цвета охры: там начинается пустыня. Туда время от времени и уходит Хартани, уходит один, прихватив с собой только немного хлеба в узелке из носового платка. Пустыня начинается на востоке, там, где солнечный свет особенно прекрасен, так прекрасен, что хочется по примеру Хартани побежать босиком по песку, перепрыгивая через острые камни и овраги, мчаться все дальше в сторону пустыни.

«Хартани, как красиво!»

Лалла иногда забывает, что пастух не может ее понять. Когда она говорит с ним, он поворачивается к ней лицом, глаза его блестят, а губы пытаются повторить движения ее губ. Потом, скорчив гримасу, он смеется.

«О-о!»

Она показывает пальцем на неподвижную черную точку посреди необозримого простора. Хартани с минуту вглядывается в эту точку, а потом показывает ей, что это птица: указательный палец согнут, а три других растопырены наподобие птичьих крыльев. Точка медленно, чуть покачиваясь, плывет по небу, она снижается, становится ближе. Теперь Лалла ясно различает туловище, голову, распластанные крылья. Это ястреб ищет добычу, неслышно, как тень, скользя в воздушном потоке.

Лалла долго глядит на него, и сердце ее бьется чаще обычного. Никогда не видела она ничего прекраснее этой птицы, описывающей медленные круги высоко в небе над красной землей, одинокой и безмолвной птицы, которая — наедине с ветром и солнечным светом — временами вдруг камнем падает

вниз, словно вот-вот рухнет на землю. Сердце Лаллы бьется сильнее, потому что безмолвие хищной птицы проникает в нее, рождает в ней страх. Она как замороженная смотрит на крылатого хищника, не в силах отвести от него взгляд. Зловещее молчание небесных глубин, холод вольного простора и в особенности обжигающий свет оглушают ее, голова у нее кружится. Чтобы не упасть в бездну, она цепляется за руку Хартани. Он тоже следит за ястребом. Но так, словно ястреб ему брат и нет между ними преграды. У обоих один и тот же взор, одно и то же мужество, обоим по душе безбрежное молчание неба, ветра и пустыни.

Заметив это сходство между Хартани и ястребом, Лалла невольно вздрагивает, но голова у нее перестает кружиться. Перед ней бескрайнее небо, а земля кажется серым и охряным маревом, зыблущимся на горизонте. Но раз Хартани все это знакомо, Лаллу уже не пугает окружающее ее со всех сторон молчание. Закрыв глаза и держась за руку пастуха, она словно взмывает в воздух, в глубину неба. Вдвоем они медленно чертят над землей огромные круги, они так высоко, что не слышат уже никаких звуков, только шорох ветра в собственных крыльях, так высоко, что почти уже не видят ни скал, ни колючих кустарников, ни лачуг из досок и картона.

После этого долгого полета вдвоем, опьяненные ветром, солнцем и лазурью неба, они возвращаются ко входу в пещеру, на вершину красной скалы: они легко опускаются на нее, не задев ни одного камешка, не потревожив ни одной песчинки. Хартани умеет проделывать такие штуки — без слов, без размышлений, одной только силой своего взгляда.

Ему ведомы самые разные места, откуда можно любоваться солнечным светом, ведь солнечный свет неодинаков, каждый раз он совсем другой. Вначале, когда Хартани вел Лаллу за собой по каменным уступам в ложбины, к старым высохшим расщелинам или на вершину какой-нибудь красной скалы, она думала, что он собирается ловить ящериц или разорять птичьи гнезда, как другие ребята. Но Хартани просто вытягивал вперед руку, и глаза его блестели от удовольствия; там, куда он указывал, не было ничего, кроме безбрежной, ослепительной белизны неба, или солнечных лучей, пляшущих на изломах каменных глыб, или множества лунных пятен, которые образует солнце, просачиваясь сквозь листву. Иногда он показывал ей повисших в воздухе мошек, похожих на крошечные шарики между пучками травы, так что казалось: в воздухе протянута огромная паутина. Все окружающее становилось более прекрасным и новым под ясным взглядом Хартани, словно до пастуха никто ничего не видел, словно мир только что сотворен.

Лалла любит идти следом за Хартани. Она идет за ним по тропинке, которую он указывает. Собственно говоря, это даже не тропинка, ее нет и следа, и все же, когда Хартани идет вперед, Лалла видит, что тропинка пролегает именно здесь, и нигде больше. Быть может, это даже не человечьи, а козьи или лисьи тропы. Но Хартани свой в этом мире, он знает то, чего не знают другие люди, и умеет видеть не одними глазами, но всем телом.

Вот и с запахами то же самое. Иногда Хартани заходит далеко-далеко на восток по каменистой равнине. Солнце жжет плечи и лицо Лаллы, ей трудно поспевать за пастухом. Но он не обращает на нее внимания. Он что-то ищет на ходу, чуть пригнувшись к земле, прыгая с камня на камень. Потом вдруг застывает и, ложась ничком, прикидывает лицом к земле, словно хочет напиться воды. Лалла тихонько подходит к нему, он чуть приподнимает голову. Его темные с металлическим отливом глаза лучатся радостью, словно он нашел величайшее в мире сокровище. Из пыльной земли среди камней торчит серо-зеленый кустик — малюсенькое растение с худосочными листочками,

какие встречаются здесь на каждом шагу. Но, приблизив в свой черед лицо к кусту, Лалла улавливает вначале слабый, но потом все более и более густой аромат, аромат прекраснейших цветов, запах мяты и травы *шиба* и еще запах лимона, запах моря и ветра, запах летних лугов. Все эти запахи и еще многие другие таит в себе крохотное грязное и хрупкое растение, выросшее под защитой камней на громадной безводной равнине, и знает об этом один только Хартани.

Это он открывает Лалле все чудесные ароматы, потому что он знает потаенные места. Ведь запахи точно камни или звери: у каждого свое тайное место. Их надо уметь находить, как это делают собаки: учуять в струях ветра, обнюхивая крохотные следы, а потом, не колеблясь, бежать напрямик к потаенному месту.

Хартани многому научил Лаллу. Прежде она ничего не знала. Прежде она проходила мимо какого-нибудь кустика, корешка или пчелиных сотов, не замечая их. А между тем воздух напоен ароматами! Они все время струятся, они как дыхание, они поднимаются, опускаются, пересекаются, смешиваются, расходятся. От заячьих следов, к примеру, всегда поднимается странный запах страха; а вот тут, чуть подалее, Хартани манит Лаллу к себе. Вначале она ничего не замечает на красной земле, но мало-помалу ей в ноздри проникает что-то терпкое, резкое, душок мочи и пота, и вдруг она узнаёт: да ведь это же запах дикой собаки; голодная, оцетинившаяся, она пробежала по равнине, преследуя зайца.

Лалла любит бродить с Хартани. Он показывает все это ей одной. Других остерегается: они слишком торопятся, чтобы уловить какой-нибудь аромат или любоваться полётом птиц пустыни. Хартани не боится людей. Скорее уж они его боятся, говорят, что он *меджун*, одержим злыми духами, колдун, у него дурной глаз. У Хартани нет ни отца, ни матери, он явился невзвестно откуда, его, не проронив ни слова, оставил у колодца воин пустыни. Он тот, у кого нет имени. Лалле иногда хочется спросить пастуха: «Откуда ты родом?»

Но Хартани неведом язык людей, он не отзывается на вопросы. Старший сын Аммы уверяет, будто Хартани потому не говорит, что он глухой. Так, во всяком случае, объяснил ему школьный учитель, таких людей называют глухонемыми. Но Лалла знает, что это неправда: Хартани слышит лучше, чем кто бы то ни было. Он улавливает такие тихие, легкие звуки, какие не расслышишь, даже приложив ухо к земле. Он слышит, как пробежал заяц на другом конце каменистой равнины, слышит, как по тропинке на дальнем склоне долины идет человек. Он умеет обнаружить стрекочущую цикаду или гнездо куропатки в высокой траве. Но человеческую речь Хартани понимать не хочет, потому что он родом из тех краев, где нет людей — только одни песчаные холмы да небо.

Иногда Лалла пытается разговаривать с пастухом, например, произносит отдельно, глядя ему в самые зрачки: «Именем Ал-ла-ха!», и тогда странный свет вспыхивает в его темных, отливающих металлическим блеском глазах. Он прикладывает руку к губам Лаллы и, пока она говорит, следит за движениями ее губ. Но сам не произносит ни слова в ответ.

Потом вдруг через мгновение ему это надоедает, он отводит взгляд и садится поодаль, на другом камне. Но это не имеет значения. Лалла теперь знает: слова по-настоящему не важны. Важно совсем другое — то, что ты хочешь сказать в самой-самой глубине души, высказать как тайну, как молитву, одни эти речи и важны. А Хартани только так и говорит, только на этом языке он умеет изъясняться, только его и понимает. Много может передать молчание. Этого Лалла тоже не знала до встречи с Хартани. Другие

ждут слов или каких-нибудь поступков, доказательств, а он, Хартани, молча смотрит на Лаллу своими прекрасными, с металлическим отливом глазами, и в сиянии его взгляда становится понятным, о чем он говорит, чего хочет.

Когда пастуха что-то тревожит или, наоборот, он особенно счастлив, он останавливается и прикладывает руки к вискам Лаллы, вернее, не прикладывает, а держит ладони у ее висков, не касаясь их, и долго стоит так, и лицо его озарено светом. И Лалла чувствует на своих щеках и на висках тепло его ладоней, словно ее согревает какой-то огонь. Странное это ощущение, тогда и ее душу переполняет счастье, проникает в нее до самых глубин, освобождает ее, умиротворяет. Вот за эту скрытую в его ладонях силу Лалла особенно любит Хартани. Может, он и в самом деле колдун?

Она рассматривает руки пастуха, чтобы понять. Руки у него узкие, с длинными пальцами и с перламутровыми ногтями, кожа на них нежная и смуглая, с тыльной стороны почти черная, а на ладонях желтовато-розовая, так листья на деревьях бывают одного цвета снаружи и другого с изнанки.

Лалле очень нравятся руки Хартани. Таких нет ни у кого в Городке; наверно, и во всем краю не сыщешь других таких, думает Лалла. Они проворные и легкие, но при этом сильные. Лалла уверена: такие руки должны быть у человека благородной крови, может быть, у сына шейха, а может даже, у воина с востока, явившегося из самого Багдада.

Руки Хартани умеют всё: не только хватать камни или ломать сучья, но и вязать скользящие узлы из пальмовых волокон, и мастерить силки для птиц, а кроме того, позволяют ему свистеть, высвистывать разные мелодии, подражать крику куропатки, ястреба, лисицы или шуму ветра, грозы, моря. Но главное, его руки умеют говорить. И это особенно нравится Лалле. Иногда, собираясь завести разговор, Хартани усаживается на большой плоский камень на самом солнцепеке, поджав ноги под широким грубошерстным бурнусом. Одежда у него совсем светлая, почти белая, и потому видны только его смуглое лицо и руки, и вот тут он начинает говорить.

Собственно говоря, то, что он рассказывает Лалле, рассказом назвать нельзя. Просто движениями рук, губ, блеском глаз он рождает в воздухе образы. Мимолетные образы, которые вспыхивают и гаснут, точно молния, но никогда Лалле не доводилось слышать ничего более прекрасного и правдивого. Даже истории Намана-рыбака, даже рассказы Аммы об Аль-Азраке, Синем Человеке пустыни, и о светлом источнике, забившем из-под камня, не могут с ними сравниться. То, о чем рассказывают руки Хартани, непредсказуемо, как он сам, это похоже на сон, потому что образы, которые он вызывает, появляются как раз в ту минуту, когда их меньше всего ждешь, и в то же время именно их ты и ожидаешь. Он может так разговаривать долго, и перед глазами возникают птицы с распластанными крыльями, громоздящиеся друг на друга скалы, дома, собаки, ураганы, самолеты, гигантские цветы, горы и ветер, обвевающий лица спящих. Непонятно, как это получается, но, когда Лалла глядит на его лицо, ловит жесты его черных рук, она видит все эти картины, прекрасные и неожиданные, напоенные светом и жизнью, словно он и в самом деле выпустил их из своей ладони, словно они слетели с его губ, струятся из его взгляда.

Прекраснее всего, что, когда Хартани ведет свой рассказ, ничто не нарушает безмолвия. Солнце опалает каменистую равнину и красные скалы. Временами налетит порыв холодного ветра или зашуршит песок, стекающий по желобку в скале. В гибких и длинных пальцах Хартани вдруг показывается змея, скользящая в глубину оврага, там она замирает, подняв голову. А потом из его ладоней вдруг вырывается, шумно взмахивая крыльями, большой

белый ибис. Вот на ночное небо выплыла круглая луна, и Хартани указательным пальцем зажигает звезды — одну, другую, третью... А теперь наступает лето, хлынул дождь, вода, стекая ручьями, разливается большой круглой лужей, и над ней вьется мошкара. Прямо в середину синего неба Хартани запускает треугольный камень, тот летит все выше, выше и вдруг хоп! — распускается и становится деревом с густой, полной птиц листвой.

Иногда Хартани, строя гримасы, передразнивает людей и животных. Поджав губы, втянув голову в плечи и округлив спину, он замечательно изображает черепаху, Лалла каждый раз при этом хохочет, словно видит такое впервые. Или, выпятив губы и обнажив резцы, Хартани показывает верблюда. А еще он очень хорошо подражает героям, которых видел в кино: Тарзану, Мацисту<sup>8</sup> или персонажам комиксов.

Время от времени Лалла приносит ему маленькие иллюстрированные журналы, которые берет у старшего сына Аммы или покупает на собственные сбережения. Приключения, которые происходят с Акимом или Рош Рафалем на Луне и на других планетах, или маленькие книжечки о Микки Маусе или Доналде. Их она любит больше всего. Читать она не умеет, но по ее просьбе сын Аммы два-три раза пересказывал ей эти истории, и она запомнила их наизусть. Но Хартани не желает слушать никаких рассказов. Он берет книжечки и с забавным видом рассматривает их, держа наискосок и склоняя при этом голову набок. Потом, насмотревшись в досталь на рисунки, он вскакивает и изображает Рош Рафаля или Акима верхом на слоне, причем в роли слона выступает скала.

Но Лалла никогда не остается подолгу с Хартани, потому что рано или поздно наступает минута, когда его лицо делается каким-то отчужденным. Лалла не понимает, что произошло, почему лицо его точно окаменело и стало суровым, а взгляд устремлен куда-то вдаль. Словно туча заволокла вдруг солнце или на холмы и долины быстро спустилась тьма. Это ужасно. Лалле так хотелось бы продлить те минуты, когда у Хартани было счастливое лицо, он улыбался и глаза его светились. Но это невозможно. Хартани вдруг убегает, точно спугнутый зверь. Срывается с места и исчезает, и Лалла не успевает увидеть, куда он скрылся. Но она и не пытается его удержать. Наоборот, бывает даже, солнце заливает каменистую равнину и руки Хартани вызывают к жизни удивительные видения, а Лалла сама старается уйти первой. Она встает и уходит, не ускоряя шага, не оборачиваясь, пока не выйдет на дорогу, что ведет к Городку, к лачугам из досок и картона. Быть может, водясь с Хартани, она и сама стала такой, как он.

Впрочем, в Городке люди не одобряют того, что Лалла так часто видится с Хартани. Быть может, люди боятся, как бы она сама не стала *меджнуном*, как бы в нее не вселились злые духи, живущие в теле пастуха. Старший сын Аммы обзывает Хартани вором, у того, мол, в маленьком кожаном мешочке на шее спрятано золото. Но это неправда, Хартани не вор. Золото свое он нашел в высохшем русле реки. Он взял Лаллу за руку и привел на дно расщелины. Там на сером песке высохшего русла Лалла увидела поблескивающую золотую пыль.

— Он тебе не пара, — говорит Амма, когда Лалла возвращается с каменистой равнины.

Лицо Лаллы стало теперь почти таким же черным, как у Хартани: там,

---

<sup>8</sup> *Мацист* — герой немых фильмов, суперсилач. Впервые появился в 1914 г. в итальянском фильме «Кабирия», где могучий раб спасает благородную римлянку, которую карфагеняне хотят принести в жертву Молоху.



наверху, солнце палит гораздо сильнее.

— Уж не собираешься ли ты замуж за Хартани? — спрашивает иногда Амма.

— А почему бы и нет? — отвечает Лалла, пожимая плечами.

Замуж ей вовсе не хочется, она и не думает о замужестве. При мысли, что она может выйти за Хартани, Лалла смеется.

И однако при первой же возможности, посчитав, что закончила свою работу, она уходит из Городка и идет к холмам, где живут пастухи. Это на востоке, там, где начинаются безводные земли и высятся скалы из красного камня. Она любит шагать по белой-белой тропинке, петляющей между холмами, слушать пронзительное стрекотанье цикад и разглядывать змеиные следы на песке.

Но вот уже слышится пересвист пастухов. Пастухи — большей частью мальчишки и девчонки — разбредаются по холмам со своими овцами и козами. Они пересвистываются, окликают и подзывая друг друга или отпугивая диких собак.

Лалла любит бродить между холмами, щурясь от слепящих белых лучей, под льющийся со всех сторон свист. У нее даже мурашки пробегают по коже, несмотря на жару, и сердце начинает учащенно биться. Иногда она, забавы ради, отвечает пастухам свистом. Это Хартани научил ее свистеть, заложив два пальца в рот.

Выйдя на дорогу и увидев ее, пастушата сначала держатся поодаль: они недоверчивы. Лица у них гладкие, цвета обожженной меди, лбы выпуклые, а волосы удивительного цвета — почти красные. Это солнце и ветер пустыни обожгли им кожу и волосы. Одеты они в лохмотья: мальчишки в длинных рубахах из сурового полотна, а девочки в платьях, сшитых из мешков из-под муки. Они не подходят близко, потому что говорят на языке шлехов и не понимают языка жителей долины. Но Лалла любит пастушат, и они ее не боятся. Иногда она приносит им поесть — немного хлеба, печенья или сушеных фиников, то, что ей удалось взять украдкой из дома Аммы.

Они подпускают к себе только Хартани, потому что он такой же пастух, как и они, и не живет в Городке. Когда Лалла уходит с ним вдвоем далеко на каменистую равнину, пастухи прибегают туда, бесшумно перепрыгивая с камня на камень. Но время от времени они свистят, чтобы предупредить о своем появлении. Прибежав, они окружают Хартани и быстро-быстро лопочут на своем диковинном языке, напоминающем птичий щебет. А потом так же быстро убегают по каменистому плато, продолжая свистеть, иногда Хартани пускается за ними следом, да и сама Лалла пытается их догнать, но она не умеет бегать так быстро, как они. Они оглядываются на нее, громко смеясь, и продолжают бежать дальше, оглашая воздух взрывами веселого смеха.

На белых камнях посреди равнины они делят между собой свой завтрак. Под рубахой на груди в холщовой тряпиче они носят с собой немного черного хлеба, фиников, инжира и сухого сыра. Они дают по кусочку Хартани и Лалле, а Лалла взамен угощает их белым хлебом. Иногда она приносит красное яблоко, купленное в лавке. Тогда Хартани вынимает свой маленький ножик без ручки и режет яблоко на мелкие дольки, чтобы каждый получил по кусочку.

Как хорошо на каменистой равнине после полудня! Солнечные блики без усталости порхают по изломам камней, и все вокруг так и искрится. Небо глубокого темно-синего цвета, его не затмевает та белая дымка, что поднимается над морем и реками. Когда налетает сильный ветер, приходится прятаться между уступами скал, чтобы не замерзнуть, и тогда слышно только, как над землей и в кустарнике свищет ветер. Это напоминает рокот моря,

только ветер поет медленнее, протяжнее. Лалла прислушивается к шуму ветра, к тонким голосам пастушат и отдаленному блеянию стада. Эти звуки она любит больше всего на свете, а еще крик чаек и плеск волн. Когда слышишь эти звуки, кажется, что на земле не может случиться ничего плохого.

Однажды в такой день, поев хлеба и фиников, Лалла пошла следом за Хартани к самому подножию красных холмов, туда, где тянутся пещеры. Там пастух ночевал, когда наступала засуха и козам в поисках новых пастбищ приходилось забираться все дальше. В красной скале зияют черные отверстия, наполовину скрытые колючим кустарником. Некоторые из них кажутся не больше норы, но стоит вползти внутрь, пещера расширяется и становится просторной, как дом, и в ней так прохладно.

Лалла вползла в пещеру на животе следом за Хартани. Вначале она ослепла от темноты и испугалась.

«Хартани! Хартани!» — позвала она.

Пастух возвратился, взял ее за локоть и втащил вглубь. Когда глаза ее стали что-то различать во мраке, Лалла увидела большую залу. Стены здесь были очень высоки — и не разглядишь, где они кончаются, и все в пятнах, серых и синих, в янтарных и медных потеках. Воздух казался серым из-за скупого света, проникающего в отверстия скалы. Лалла услышала громкое хлопанье крыльев и прижалась к пастуху. Но это были всего лишь летучие мыши, потревоженные во сне. Шурша и шелестя, перелетали они подальше, в глубь пещеры.

Хартани уселся на большом плоском камне в центре пещеры, и Лалла устроилась рядом с ним. Они вместе стали смотреть на ослепительный свет, проникавший сюда через устье пещеры. В самой пещере царит сумрак и сырость вечной ночи, а снаружи, на каменной равнине, солнечный свет слепит глаза. словно это другой мир, другая страна. словно ты оказался на дне морском.

Лалла молчит, говорить ей не хочется. Как и Хартани, она погружается в царство ночи. И взгляд ее темен как ночь, а кожа смугла.

Лалла чувствует, как на нее веет теплом от Хартани, а свет его взгляда мало-помалу проникает в нее. Ей так хотелось бы стать ближе ему, найти доступ в его мир, быть по-настоящему с ним вместе, чтобы он мог наконец ее понять. Она приближает губы к его уху, вдыхает запах его волос, его кожи и тихо, почти беззвучно произносит его имя. Их окружает сумрак пещеры, он обволакивает их легкой, но надежной пленкой. Лалла явственно слышит, как по стенам пещеры стекают ручейки, как вскрикивают во сне летучие мыши. Она касается щекой щеки Хартани, тело ее обдает странная, жаркая волна, а голова начинает кружиться. Жар солнца, пропитавший за день их тела, теперь медленно расходится от них длинными, горячечными волнами. Дыхание их смешивается, сливается в одно, в словах больше нет нужды, важно лишь то, что они чувствуют. Это еще не изведенное ею опьянение рождено в короткие мгновения сумраком пещеры, словно каменные стены и влажная тьма годами ждали их прихода, чтобы выпустить из плена свои чары. Хмельной вихрь закружил Лаллу, она отчетливо слышит биение своей крови в жилах, которое сливается с шорохом стекающих по стене капель и вскриками летучих мышей. Ей кажется, что тела их составляют одно целое с пещерой, а может, они пленники в утробе какого-то великана.

Запах коз и овец, идущий от Хартани, смешивается с ароматом девичьей кожи. Ладони Лаллы горят, на лбу выступает пот, волосы слипаются.

И вдруг Лалла перестает понимать, что с ней происходит. Ей делается страшно, она встряхивает головой, пытаюсь вырваться из объятий пастуха,

который прижал ее локти к камню и обвил ее ноги своими длинными, крепкими ногами. Лалла хочет крикнуть, но, словно во сне, из горла ее не вырывается ни звука. Влажный сумрак смежает и туманит ей глаза, тело пастуха, навалившееся на нее всей своей тяжестью, не дает ей дышать. И вдруг словно что-то прорвалось в ее горле, она кричит, и голос ее громом прокатывается по стенам пещеры. Внезапно разбуженные летучие мыши начинают кружить над ними, шурша и хлопая крыльями.

Хартани уже стоит во весь рост, вскочив на камень, чуть отступив назад. Длинные его руки отмахиваются от летучих мышей, тучами ошалело мечущихся вокруг. Лалла не видит лица пастуха, потому что мрак в пещере еще больше сгустился, но чувствует его смятение. И ей становится грустно-грустно, и грусть ее все нарастает. Она уже не страшится ни темноты, ни летучих мышей. Теперь она сама берет Хартани за руку и чувствует, что он весь дрожит, тело его содрогается, словно в ознобе. Он замер на месте. Откинувшись назад и заслонив рукой глаза, чтобы не видеть летучих мышей, он дрожит так, что у него даже лязгают зубы. И тогда Лалла ведет его к выходу из пещеры, тащит наружу, и вот наконец солнце заливает их головы и плечи.

При свете дня Лалла видит лицо Хартани, такое искаженное, такое жалкое, что не может удержаться от смеха.

Она стряхивает со своего разорванного платья и с длинной рубахи Хартани приставшую к ним влажную землю. И они вместе начинают спускаться по склону к каменистой равнине. Солнце ярко вспыхивает на острых камнях; под небом, синим до черноты, простирается белая и красная земля.

Ей кажется, они только что очертя голову, спасаясь от изнурительной жары, нырнули в холодную воду и долго плавали там, стараясь освежиться. И вот теперь они во весь дух пускаются бежать по каменистому плато, перепрыгивая с уступа на уступ, пока Лалла не останавливается, задохнувшись; она сгибается пополам: у нее закололо в боку. А Хартани продолжает прыгать с уступа на уступ, точно козленок, но вдруг замечает, что она отстала, и, описав большой круг, возвращается назад. Они вдвоем садятся на солнцепеке на камень, крепко держась за руки. Солнце опускается к горизонту, небо становится желтым. По холмам и в долине разносится свист пастухов, они перекликаются, отвечают друг другу.

---

Лалла любит огонь. А огонь в Городке бывает разный. Один разжигают поутру прежде, чем из-за красных холмов выглянет солнце, это женщины и девочки готовят пищу в больших черных котлах, и по земле, смешиваясь с утренним туманом, стелется дымок. Совсем другой огонь дают травы и ветки: они горят медленно, тлеют сами собой, почти без пламени. А на исходе дня в великолепном свете заходящего солнца, среди отблесков меди горят жаровни. Низкое пламя извивается, точно длинная, зыбкая змея, обретая более четкие очертания у каждого дома и выбрасывая серые кольца в сторону моря. А еще разводят огонь под старыми консервными банками, разогревая гудрон, чтобы замазать дыры в крышах и стенах.

В Городке огонь любят все, в особенности дети и старики. Как увидят, что где-то пылает огонь, сразу приходят и рассаживаются вокруг, опускаясь на пятки, и невидящими глазами глядят на танцующее пламя. Или подбрасывают в огонь маленькие сухие веточки, которые мгновенно вспыхивают, потрескивая, и пригоршни травы, что горит, исходя синеватыми вьющимися

струйками.

Лалла устраивается на песчаном берегу у большого костра из веток, который развел Наман-рыбак, чтобы разогреть вар и проконопатить лодку. Близится вечер, воздух тих и недвижим. Небо светло-голубое, прозрачное и безоблачное.

Берег зарос худосочными деревцами, выжженными солнцем и разъеденными солью, листва их — это тысячи мелких серо-голубых игл. Проходя мимо них, Лалла срывает целую пригоршню таких иголок, чтобы подбросить их в костер Намана-рыбака, а несколько игл сует в рот, медленно жуя на ходу. У иголок солоноватый, терпкий вкус, но к нему примешивается еще запах дыма, и Лалле это нравится.

Наман разводит свой костер где придется, там, где на песке валяются выброшенные на берег толстые сухие ветки. Он складывает их в кучу, а между ними запихивает пучки сухой травы, собранной на песчаной пустоши за дюнами. И еще он подкладывает в костер сухие водоросли и чертополох. Все это он заготавливает, когда солнце стоит еще высоко в небе. По лбу и щекам старика стекают струйки пота. И песок жжется как огонь.

А потом с помощью огнива и трута Наман разжигает костер, позаботившись о том, чтобы пламя занялось с той стороны, где нет ветра. Ловко разжигает костер рыбак. Лалла внимательно следит за всеми его движениями, стараясь их перенять. Наман умеет выбрать в дюнах подходящее место — не слишком открытое и не слишком безветренное.

Огонь раза два-три занимается и гаснет, но Наман словно бы и не обращает на это внимания. Каждый раз как пламя гложет, он ворошит траву рукой, не боясь обжечься. А у огня такой уж нрав — он любит тех, кто его не боится. И вот пламя вспыхивает снова, сначала небольшое, виден только его гребешок, посверкивающий среди ветвей, и вдруг огонь охватывает самое основание костра и трещит, ярко освещая все вокруг.

Когда огонь как следует разгорится, Наман-рыбак устанавливает чугунный треножник, а на него водружает большой котел с варом. Потом садится на песок и смотрит на огонь, подбрасывая в него пучки травы, которые мгновенно пожирает пламя. И тут вокруг костра собираются дети. Они издали почуяли запах дыма и бегут к огню по берегу. Они кричат, перекликаются, громко хохочут, ведь огонь-чародей пробуждает желание бегать, кричать, смеяться. Теперь яркие языки пламени взмывают высоко вверх, они колышутся, трещат, танцуют. Какие только видения не рождаются в их извивах! Лалла больше всего любит смотреть на самое основание костра, на раскаленные, окруженные огненным ореолом головешки, этот жгучий цвет, которому нет названия, похож на цвет солнца.

И еще она любит искрами, взлетающими вверх вместе с серым дымом, они вспыхивают и гаснут, исчезая в синем небе. Ночью искры еще прекраснее, они похожи на облака из падающих звезд.

Песчаные мушки тоже потянулись к костру, привлеченные запахом горящих водорослей и кипящего вара, но дым им не по вкусу. Наман не обращает на них внимания. Он смотрит только на огонь. Время от времени он встает и окунает в котел палку — проверить, хорошо ли нагрелся вар, потом помешивает вязкую жидкость, шурясь от клубящегося дыма. Лодка его лежит на берегу в нескольких метрах от костра вверх килем, приготовленная для конопачения. Теперь солнце быстро катится вниз, приближаясь к иссохшим холмам за дюнами. Темнота сгущается. Дети сидят на берегу, тесно прижавшись друг к другу, их смех понемногу стихает. Лалла смотрит на Намана, стараясь поймать светящийся в его взгляде светлый луч цвета

морской волны. Наман замечает ее и дружески машет ей рукой, а потом вдруг спрашивает так, точно нет ничего естественнее его вопроса: «Я тебе уже рассказывал про Балаабилу?»

Лалла качает головой. Она рада: самое время послушать такую историю, когда сидишь на берегу, глядя на огонь, над которым в котле пузырится вар, на синее-синее море, и тебя ласкает ветерок, колеблющий дым костра, и жужжат мушки и осы, а рядом плещут волны, подступая к старой лодке, лежащей килем вверх на песке.

«Да неужто я никогда не рассказывал тебе про Балаабилу?»

Старик Наман встает, чтобы взглянуть на вар, который кипит ключом. Он медленно помешивает палкой в котле, и, судя по выражению его лица, все идет как надо. Он протягивает Лалле старую кастрюлю с обгорелой ручкой: «Держи! Когда я все приготовлю у лодки, наполнишь кастрюлю варом и принесешь мне».

Не дожидаясь ответа, он отходит к лодке и копошится возле нее. Раскладывает перед собой кисти всех сортов, которые смастерил из палок, обернув концы тряпками.

«Давай!»

Лалла наполняет кастрюлю варом. Вар вскипает маленькими колючими пузырьками, дым щиплет Лалле глаза. Но она бегом бежит к Наману, держа перед собой в вытянутой руке кастрюлю с варом. Дети, смеясь, бегут за ней следом и рассаживаются вокруг лодки.

«Балаабилу, Балаабилу...»

Старик Наман напевает соловьиное имя, словно припоминая подробности легенды. Обмакнув кисти в горячий вар, он начинает промазывать корпус лодки в тех местах, где швы между досками заткнуты паклей.

«Было это давным-давно, — начинает Наман. — В ту пору ни меня, ни моего отца, ни даже моего деда еще не было на свете, и все-таки люди помнят эту историю. В ту пору на свете жили совсем другие люди, тогда не знали ни римлян, ни иных чужеземцев. Вот почему в ту пору водились джинны — их пока не прогнали с земли. Так вот, в ту пору в одном большом городе на Востоке жил могущественный эмир, и была у него одна-единственная дочь, которую звали Лейла, что значит Ночь. Эмир души не чаял в своей дочери, и была она красивее всех девушек в его владениях, и притом самая добрая, самая умная, и все сулили ей небывалое счастье...»

Вечер медленно захватывает небо, густеет синева моря, а пена на гребнях волн кажется еще белоснежней. Старый Наман то и дело обмакивает кисти в кастрюлю с варом и водит ими, слегка вращая их, по желобкам, заткнутым паклей. Горячая жидкость заполняет углубления и стекает на песок. Все дети, в том числе Лалла, не отрываясь следят за руками Намана.

«Но вот страну постигло страшное бедствие, — продолжает Наман. — На нее обрушилась кара Аллаха, владения эмира поразила страшная засуха, высохли реки и колодцы, все живое умирало от жажды, сначала деревья и растения, потом животные: овцы, козы, верблюды и птицы — и наконец люди; они умирали от жажды в полях, на дорогах, страшно было глядеть, потому-то люди до сих пор вспоминают об этом...»

Налетают мушки, они облепляют губы детей, жужжат у них над ухом. Их пьянит терпкий запах вара и густой дым, клубящийся в дюнах. Прилетают и осы, но этих никто не гонит: когда старый Наман рассказывает свои истории, начинает казаться, будто ос коснулось волшебство и они стали вроде джиннов.

«Сильно опечалился эмир и повелел созвать мудрецов, чтобы спросить у

них совета, но никто из них не знал, как прекратить засуху. И тут вдруг в город явился путешественник-чужеземец, это был египтянин, который умел колдовать. Эмир призвал его к себе и попросил чужеземца избавить королевство от проклятия. Египтянин уставился взглядом в чернильное пятно, но вдруг испугался, задрожал и отказался отвечать эмиру. «Говори, — просил его эмир, — говори, и я сделаю тебя самым богатым человеком в моих владениях». Но чужеземец отказывался отвечать. «Государь, — молил он, упав на колени, — дозвожь мне уехать, не проси открыть тебе тайну».

Наман замолкает, чтобы обмакнуть кисти в кастрюлю, дети и Лалла почти не смеют дохнуть. Слышно, как потрескивает огонь и бурлит в котле вар.

«Тогда эмир разгневался и сказал египтянину: «Говори, или тебе конец». Палачи схватили чужестранца и уже занесли сабли, чтобы отрубить ему голову. «Остановитесь! — закричал тогда египтянин. — Ладно, я открою тебе тайну проклятия. Но знай, что проклят Аллахом ты сам!»

Наман как-то по-особому, очень медленно, произносит слово «Млааун», проклятый Аллахом, так что дети даже вздрагивают. На секунду он прерывает рассказ, чтоб выбрать остатки вара из кастрюли. Потом, не говоря ни слова, протягивает кастрюлю Лалле, и та бежит к костру, чтобы зачерпнуть кипящего вара. Хорошо, что Наман ждет, пока она вернется, чтобы продолжить рассказ.

«И тогда египтянин спросил эмира: «Скажи, правда ли, что ты повелел однажды наказать человека, который украл золото у купца?» «Да, я повелел наказать его, — отвечал эмир, — потому что он был вор». «Так знай же, человек этот был невиновен, — сказал египтянин, — на него возвели напраслину, и он проклял тебя, и это он наслал засуху, потому что он в дружбе с духами и демонами».

Когда на берег сходит вечер, а ты сидишь и слушаешь глубокий голос старого Намана, кажется, будто время остановилось или вернулось вспять, в глубь веков, и тянется теперь, долгое и безмятежное; Лалле хотелось бы, чтобы легенда, которую рассказывает Наман, никогда не кончалась, даже если он будет рассказывать дни и ночи напролет, а она и остальные дети заснут и, когда проснутся, вновь будут слышать голос Намана.

«Что же мне делать, чтобы снять с себя это проклятье?» — спросил эмир. И египтянин ответил, глядя ему прямо в глаза: «Знай, для этого есть одно лишь средство, и я открою его тебе, поскольку ты пожелал его узнать. Ты должен принести в жертву свою единственную дочь, которая тебе дороже всего на свете. Ты должен отвести ее в лес и отдать на съедение диким зверям, и тогда засуха, поразившая твою страну, прекратится». Заплакал эмир, закричал от гнева и горя, но поскольку он был человек благородный, то позволил египтянину уйти с миром. Когда подданные эмира узнали обо всем, они тоже стали плакать, потому что любили Лейлу, дочь своего государя. Однако делать нечего, надо было принести жертву, и эмир решил отвести свою дочь в лес и отдать ее на съедение диким зверям. Но в этой стране жил юноша, который любил Лейлу как никто другой, и решил он ее спасти. От одного своего родственника-колдуна он унаследовал кольцо, тот, кто им владел, мог превратиться в любого зверя или птицу, только потом ему никогда уже не суждено было вернуть себе прежний облик, хотя обладатель кольца и становился бессмертным. И вот наступила ночь жертвоприношения, и эмир отправился в лес вместе со своей дочерью...»

Воздух прозрачен и чист, горизонт беспределен. Лалла вглядывается в самую дальнюю даль, словно она превратилась в чайку и летит, летит над морем, устремляясь вперед.

«В глухую чащу леса забрался эмир, там он помог дочери сойти с коня и

привязал ее к дереву. А сам ускакал прочь, рыдая от горя, потому что отовсюду уже слышалось рычание зверей, подбирающихся к жертве...»

Плеск волн временами становится явственнее, словно море подступает ближе. Но это только проказы ветра: кружась в ложбинах между дюнами, он взметает песчаные вихри, и они смешиваются с дымом.

«Бедная Лейла, привязанная в лесу к дереву, дрожала от страха и звала на помощь отца. У нее кровь стыла в жилах при мысли о том, что ее растерзают дикие звери... Вот уже громадный волк подошел к ней совсем близко, она видела, как в ночной тьме ярким пламенем горят его глаза. И вдруг в лесу послышалось пение. Голос был такой прекрасный, такой чистый, что страх у Лейлы совсем пропал, а дикие звери в лесу застыли на месте и заслушались...»

Руки старого Намана берут кисти, одну за другой, и, вращая их, водят ими по корпусу лодки. На его руки и смотрят Лалла и остальные дети, словно именно руки рассказывают чудесную историю.

«Весь лес наполнило это райское пение, и, слушая его, дикие звери ложились на землю и становились кроткими как ягнята, потому что музыка, лившаяся с горных высот, преображала их, переворачивала им душу. Лейла тоже с восхищением слушала музыку, и вдруг пути ее сами собой упали, и она побрела по лесу, и, куда бы она ни шла, невидимый певец витал над нею, скрытый листвою. И на всем ее пути дикие звери лежали на земле и лизали руки принцессы, не причиняя ей никакого вреда...»

Воздух теперь так прозрачен, а свет такой мягкий, что кажется, ты перенесся в какой-то иной мир.

«Лейла шла по лесу всю ночь, а наутро пришла ко дворцу своего отца, и до самых ворот ее сопровождало чудесное пение. Когда люди увидели принцессу, они очень обрадовались, потому что все любили ее. И никто не обратил внимания на маленькую птичку, которая незаметно перелетала с ветки на ветку. И в то же утро на иссохшую землю хлынул дождь...»

На мгновение Наман перестает водить кистью; дети и Лалла смотрят на его смуглое лицо с сияющими зелеными глазами. Но никто не задает вопросов, не спрашивает, что было дальше.

«Но и под дождем птичка Балаабилу продолжала петь, ведь это был тот юноша, что спас жизнь принцессе, которую любил. И так как он не мог снова принять человеческий образ, то каждую ночь прилетал под окно Лейлы, садился на ветку дерева и пел свои прекрасные песни. Говорят даже, что после своей смерти принцесса тоже превратилась в птицу, соединилась с Балаабилу и они вместе вечно поют в лесах и полях».

Легенда окончена, Наман умолк. Он продолжает возиться со своей лодкой, водит по ней обмакнутому в вар кистями. Свет тускнеет, потому что солнце уже уходит за черту горизонта. Небо становится ярко-желтым, с зеленоватым отливом, холмы кажутся вырезанными из картона. Дым костра, легкий и прозрачный, против света едва заметен, словно дымок сигареты.

Ребятишки расходятся один за другим. Лалла остается вдвоем со старым Наманом. Он молча заканчивает свою работу. А потом и сам уходит, медленно шагает по берегу, унося с собой кисти и кастрюлю с варом. На берегу рядом с Лаллой остается теперь только погасший костер. Сумрак быстро захватывает все небо, яркая дневная синева понемногу сменяется чернотой ночи. Море неведомо почему вдруг успокаивается. Волны тихо-тихо лижут прибрежный песок, расстилая пелену сиреневой пены. Первые летучие мыши уже отправились на охоту за насекомыми и чертят над морем свои зигзаги. То тут, то там загудит комар или мелькнет заблудившаяся ночная бабочка. Издалека

доносится приглушенный крик козодоя. В костре еще пылает несколько угольков, они горят без пламени и дыма, похожие на диковинных мерцающих зверьков, притаившихся в пепле. Когда, вспыхнув особенно ярко, гаснет, как потухшая звезда, последний уголек, Лалла встает и уходит.

---

Старые пыльные дороги почти сплошь испещрены следами, и Лалла любит идти по следам. Иногда — если это следы птиц или насекомых — они никуда не ведут. Иногда приводят к какой-нибудь норе или к двери дома. Это Хартани научил ее идти по следу, не давая себя запутать разросшейся вокруг траве, цветам или сверкающей гальке. Когда Хартани идет по следу, он точь-в-точь охотничья собака. Глаза блестят, ноздри раздуты, все тело устремлено вперед. Время от времени он даже ложится на землю, чтобы лучше учуять след.

Лалла любит ходить по тропинкам к дюнам. Она вспоминает тогда, как приехала в Городок после смерти матери. Вспоминает, как тряслась в кузове крытого брезентом грузовика, а сестра ее отца, та, кого она зовет Амма, куталась в длинный серый шерстяной бурнус, опустив покрывало на лицо, чтобы защитить его от пыли, когда они ехали через пустыню. Ехали они несколько дней, и все время Лалле приходилось трястись в кузове, под брезентом, задыхаясь от духоты среди мешков и другого пыльного груза. А потом однажды через щель в брезенте Лалла увидела море, синее-синее, тянущееся вдоль окаймленного пеной берега, и заплакала, сама не зная отчего, от радости или от усталости.

Каждый раз, идя по тропинке вдоль берега, Лалла вспоминает это синее-синее море, открывшееся ей вдруг из пропыленного грузовика, и длинные бесшумные волны, чуть косо ложившиеся на берег и захлестывавшие его. Вспоминает обо всем, что предстало перед ней вдруг через щель в брезенте, и к глазам ее подступают слезы: ей кажется, она чувствует на себе взгляд матери, который обволакивает ее, вызывает в ней сладкий трепет.

Ради этого Лалла и бродит в дюнах с бьющимся сердцем, и все тело ее устремлено вперед, как у Хартани, когда он идет по следу. Она ищет места, куда приходила в первые дни после приезда сюда, а было это так давно, что она не помнит даже, какой была.

«Умми!»<sup>9</sup> — шепчет она иногда едва слышно. А порой говорит с матерью тихо-тихо, одним дыханием, глядя в просвет между дюнами на ярко-синее море. Она сама хорошенько не знает, о чем говорить с матерью, ведь все это было так давно, что позабылось даже лицо матери. Как знать, не забыла ли она и звук ее голоса, и те слова, которые любила слушать когда-то?

«Где ты теперь, Умми? Я так хочу, чтобы ты пришла ко мне, так хочу...»

Лалла садится на песок, лицом к морю, и следит за ленивым движением волн. Но море не совсем такое, как в первый раз, когда она увидела его после долгой езды в душном и пыльном грузовике по красным дорогам, ведущим из пустыни.

«Умми, неужели ты не хочешь прийти ко мне? Ты же видишь, я тебя не забыла».

Лалла пытается вспомнить слова, которые когда-то говорила ей мать,

---

<sup>9</sup> «Мама!» (араб.)



слова песен, которые она пела. Но вспомнить их трудно. Надо закрыть глаза и откинуться назад, как можно дальше, словно ты падаешь в бездонный колодец. Но вот Лалла открывает глаза — в памяти не осталось никаких следов.

Она встает и идет вдоль берега, глядя на волны, протягивающие по песку длинную полосу пены. Солнце обжигает ей плечи и шею, свет слепит глаза. Но Лалле это приятно. Приятно ощущать на губах и соль, которую ветер бросает ей в лицо. Она разглядывает вынесенные на берег раковины — перламутрово-розовые, соломенно-желтые; старые домики моллюсков, истертые и пустые; длинные ленты водорослей — черно-зеленые, серые, пурпурные. Она идет осторожно, чтобы не наступить на медузу или ската. Иной раз, когда вода схлынет, на песке, в том месте, где осталась лежать плоская рыбина, начинается забавная суматоха. Лалла долго идет по берегу, подгоняемая плеском волн. Время от времени она останавливается и стоит, не шевелясь и глядя на собственную густую и черную тень, струящуюся от ее ног, или на ослепительную пену.

«Умми, — снова говорит Лалла. — Неужели ты не можешь прийти хоть на минутку? Мне так хочется тебя увидеть, я так одинока. Когда ты умерла и Амма приехала за мной, я не хотела с ней уезжать, я знала, что больше не увижу тебя. Вернись, хотя бы на минутку, пожалуйста, вернись!»

Если глядеть сквозь полуприкрытые веки, как солнечные лучи играют на белом песке, можно увидеть необозримые песчаные равнины, которые в краю, где жила Умми, окружали со всех сторон их дом. Лалла даже вздрагивает: ей показалось вдруг, что она на мгновение увидела то сухое дерево.

Сердце ее учащенно бьется, она бежит в дюны, туда, куда не проникает ветер с моря. Там она бросается ничком на горячий песок, колючие головки чертополоха цепляются за ее платье, впиваются мелкими иголочками в живот и в ляжки, но она не обращает внимания. Ее пронзила такая мучительная боль, такая жгучая, ей кажется, что она вот-вот потеряет сознание. Пальцы ее погружаются в песок, дыхание пресекается. Тело, затвердев, стало как деревяшка. Наконец медленно-медленно она открывает глаза, словно и впрямь сейчас увидит очертания сухого дерева, которое ее ждет. Но нет — вокруг ничего, только безбрежное ярко-синее небо да из-за дюн доносится неумолчный говор волн.

«Умми, о Умми!» — стонет Лалла.

Но теперь она видит все совершенно отчетливо: пыль и красные камни на обширной равнине, там, где стоит сухое дерево; равнина такая огромная, что кажется, она тянется до самого края земли. Она совершенно пустынная, и маленькая девочка бежит по пыли к сухому дереву, девочка так мала, что, не добежав до черного дерева, заблудилась среди камней и не знает, куда идти. Она кричит изо всех своих сил, но голос ее отскакивает от красных камней и тает в солнечном свете. Она кричит, но ее окружает зловещее молчание, оно давит, оно причиняет боль. И тогда заблудившаяся девочка бредет куда глаза глядят, падает, вновь поднимается, острые камни обдирают ее босые ступни, голос дрожит от рыданий, она не может вздохнуть.

«Умми! Умми!» — кричит она. Теперь она явственно слышит этот свой голос, исполненный отчаяния голос, который не может прорваться за пределы пыльной каменистой равнины и, захлебнувшись, возвращается назад. Но сейчас, оказавшись уже в другом времени, она слышит эти слова, и они терзают ее, потому что означают: Умми никогда не вернется.

Но внезапно перед девочкой, затерянной посреди пыльной каменистой

равнины, вырастает дерево, сухое дерево. Оно давно умерло от старости и безводья, а может, его поразила молния. Оно не очень высокое, но необыкновенное: все словно перекручено, несколько старых веток злобно щетинятся, волокна черного ствола туго переплетены, а длинные черные корни обвилились вокруг камней. Девочка медленно идет к дереву, сама не зная зачем, она подходит ближе к иссохшему стволу и дотрагивается до него рукой. И вдруг цепенеет от страха: с вершины сухого дерева, извиваясь, сползает длинная-длинная змея. Ее бесконечное тело скользит по ветвям, чешуя с металлическим скрежетом трется о мертвое дерево. Змея спускается неторопливо, тянется своим серо-голубым туловищем к лицу девочки. Девочка смотрит на нее не мигая, не шевелясь, почти не дыша, не может издать ни звука. Змея вдруг останавливается и впивается в нее взглядом. И тогда, отпрыгнув в сторону, девочка бросается бежать во весь дух по пустынной каменистой равнине, она бежит так, словно ей предстоит пробежать всю землю; с пересохшим ртом, с ослепшими от солнечного света глазами, дыша со свистом, бежит она к дому, к тени Умми, к Умми, которая крепко прижимает ее к себе, гладит по лицу; девочка вдыхает нежный аромат волос матери, слышит ее ласковый голос.

Но сегодня на краю белого песчаного простора нет никого, никого, а небо кажется еще бездонней, еще пустынной. Лалла сидит в ложбине у дюны, согнувшись пополам, уткнув голову в колени. Солнце жжет ей затылок у самых корней волос, жжет плечи сквозь редкую ткань ее платья.

Она думает об Ас-Сире, о том, кого называет Тайной, кого она встретила на каменном плато у начала пустыни. Быть может, он хотел ей что-то сказать, сказать, что она не одинока, показать ей дорогу, ведущую к Умми. Быть может, это его взгляд и сейчас обжигает ей шею и плечи.

Но, открыв глаза, она не видит на берегу ни души. Страх ее пропал. Пропали, будто их и не было никогда, сухое дерево, змея, громадная, покрытая красными камнями и пылью равнина. Лалла возвращается к морю. Оно почти такое же великолепное, как в тот день, когда Лалла впервые увидела его сквозь щель в брезенте грузовика и заплакала. Солнце рассеяло дымку над морем. Над волнами пляшут искры и вздымаются пенные валы. Теплый ветер напоен ароматами морских глубин, запахом водорослей, ракушек, соли и пены.

И снова Лалла медленно бредет вдоль берега в каком-то опьянении, словно и впрямь из глубин моря, из залитого солнцем неба, из белого прибрежного песка на нее устремлен чей-то взгляд. Она не понимает, в чем тут дело, но чувствует: повсюду есть кто-то, кто смотрит на нее, озаряя ее своим взглядом. Это и тревожит ее немного, и согревает, теплая волна рождается где-то внутри нее и заливают все тело, до самых кончиков пальцев.

Она останавливается, озирается по сторонам: вокруг ни души, ни единой человеческой фигуры. Только громадные, неподвижно застывшие, поросшие чертополохом дюны да волны, чередой набегающие на берег. Может, это море неотрывно глядит на нее глубоким взглядом морских волн, ослепляющим взглядом волнистых дюн, этих волн из песка и соли? Наман-рыбак говорит, что море подобно женщине, но никогда не объясняет, что это значит. И взгляд этот устремлен на нее отовсюду, со всех сторон.

В эту самую минуту огромная стая чаек и крачек пролетает над берегом, осеняя его своей тенью. Лалла замирает, погрузив ноги во влажный песок, на который набегают волны, и, откинув назад голову, она следит за полетом морских птиц.

Они медленно летят навстречу потоку теплого ветра, рассекая воздух

длинными заостренными крыльями. Головы их вытянуты чуть в сторону, из полуоткрытых клювов вырываются странные стенания, диковинный хрип.

В центре стаи летит чайка, которую Лалла всегда сразу узнаёт: она белоснежно-белая, без единого черного пятнышка. Чайка медленно проплывает над головой Лаллы, медленно гребет против ветра, слегка распутив перья своих крыльев и приоткрыв клюв; она пролетает над Лаллой и смотрит на нее, склонив к берегу маленькую головку и поблескивая бусинкой глаза.

«Кто ты? Куда ты летишь?» — спрашивает Лалла.

Белая чайка смотрит на нее, но не отвечает. Она догоняет остальных птиц и медленно летит вдоль берега в поисках пищи. Птица меня знает, думает Лалла, но она не решается спуститься ко мне, ведь чайки не могут жить среди людей.

Старик Наман говорит иногда, что морские птицы — это души людей, погибших на море во время бури, и Лалле кажется, что белая чайка — это душа какого-то высокого, стройного, светлолицего рыбака, чьи волосы сотканы из света, в чьих глазах сверкает пламя. А может, это морской принц.

И вот Лалла садится на песок между дюнами и следит за стаями чаек, летящих вдоль берега. Они летят легко и свободно, почти без усилий, их длинные изогнутые крылья поддерживает струя ветра, а головы их чуть наклонены в сторону. Они высматривают, чем можно поживиться, неподалеку отсюда большая городская свалка, куда сбрасывают мусор приезжающие грузовики. Птицы кричат не умолкая, издают странный протяжный стон, прерывающийся вдруг ни с того ни с сего пронзительными криками, взвизгиваниями, смехом.

Порой белая чайка, похожая на морского принца, подлетает вдруг к Лалле и чертит над дюнами большие круги, словно узнала ее. Лалла машет ей рукой, пытается подманить ее, называя разными именами, в надежде, что, если угадает правильно, птица вновь примет человеческий образ и из пены встанет морской принц, чьи волосы сотканы из света, в чьих глазах сверкает пламя.

**«Сулейман!**

**Мумин!**

**Даниэль! »**

Но большая белая чайка продолжает кружить в небе, удаляясь в сторону моря. Касаясь волн острием крыла, она не сводит с Лаллы сурового взгляда, однако не отвечает ей. Слегка раздосадованная, Лалла бежит следом за стаями птиц и, размахивая руками, выкрикивает наугад разные обидные прозвища, чтобы позлить морского принца: «Цыплята! Воробьи! Голубята! — И даже: — Ястребы! Грифы!», потому что чайки не любят этих птиц.

Но безымянная белая птица летит все так же медленно и равнодушно, летит, удаляясь вдоль берега, парит в струях восточного ветра; напрасно Лалла бежит по утопанному прибрежному песку — птицы ей не догнать.

Чайка улетает, скользя над полосой пены среди других птиц, улетает, и вот уже птицы стали неразличимыми точками, тающими в лазури неба и моря.

---

И еще Лалле очень нравится вода. Когда среди лета зарядят дожди, вода стекает с крыш, крытых листами железа и картона, и, журча свою нежную песенку, собирается в больших бидонах под водостоками. Дождь обыкновенно начинается ночью, Лалла слушает, как, всё нарастая, раскатывается по долине или над морем гром. Сквозь щели в досках она

любуется прекрасными белыми зигзагами молний, которые беспрестанно вспыхивают и гаснут, и при этом все в доме вздрагивает. Амма неподвижно лежит на своем ложе, она продолжает спать, укрывшись с головой, не слыша шума грозы. Но в другом конце комнаты мальчишки проснулись, и Лалла слышит, как они шепчутся, беззвучно хихикая. Садятся на своих матрацах и тоже стараются сквозь щели в досках увидеть, что делается снаружи.

Лалла встает и бесшумно идет к двери, чтобы полюбоваться узорами молнии. Но поднялся ветер, большие холодные капли падают на землю, стучат по крыше, и Лалла снова прячется под одеяло: шум дождя ей больше всего нравится слушать вот так, в темноте, лежа с открытыми глазами, глядя, как время от времени освещается крыша, и прислушиваясь, как громко барабанят дождевые капли по земле и по железу — точно с неба сыплются мелкие камешки.

Вскоре из водостоков в пустые керосиновые бидоны начинает хлестать вода, и Лалле радостно, будто эту воду пьет она сама. Вначале бидоны издают металлический звон, но, по мере того как они наполняются, звук становится глуше. Вода заливает все вокруг: льется на землю, в лужи, в старые, брошенные на улице котелки. Капли дождя, ударяясь о землю, взбивают сухую зимнюю пыль, и в воздухе стоит особенный запах — чудесный запах влажной земли, соломы и дыма. Кое-кто из детей выбегает ночью на улицу. Сбросив с себя одежду, они голышом бегают под дождем по улицам, со смехом и криками. Лалле тоже хотелось бы побегать с ними, но она уже слишком большая, девочки ее возраста без одежды не бегают. И она вновь засыпает, не переставая прислушиваться к дробному перестуку капель по крыше и думать о двух прекрасных струях, которые бьют теперь по обе стороны крыши, наполняя переливающейся через край водой бидоны из-под керосина.

Когда с неба льет несколько дней и ночей подряд, какое это удовольствие — попариться в бане, в городе, по ту сторону реки. Амма решила взять с собой Лаллу в баню под вечер, когда заходящее солнце припекало уже не так сильно и в небе начали сгущаться большие белые облака.

Сегодня очередь женщин мыться в бане, и они тянутся сюда по узкой тропинке, идущей вдоль берега реки. В трех-четыре километра вверх по течению перекинут мост, по которому ездят грузовики, а не доходя моста — брод. Здесь женщины и переправляются через реку.

Амма идет впереди с Зубидой и с ее двоюродной сестрой, по имени Зора, и другими женщинами, которых Лалла знает в лицо, но имени их не помнит. Они поднимают юбки, переходя реку вброд, громко переговариваются и смеются. Лалла немного отстает, на душе у нее радостно, ведь в такие дни нет работы по дому и не надо собирать хворост. И потом, ей очень нравятся большие, низко нависшие белые облака и зелень травы у берега реки. Вода в реке ледяная, земляного цвета, она струится между ногами Лаллы, когда та переходит реку вброд. Там, где начинается отводной канал, есть ступенька. Лалла, поскользнувшись, оказывается вдруг по пояс в воде, она спешит выбраться на сушу, платье облепляет ей живот и ноги. На другом берегу мальчишки подглядывают, как женщины, перебираясь через реку, задирают юбки, а те обстреливают мальчишек мелкими камешками.

Баня — большое кирпичное строение на самом берегу реки. Сюда Амма и привела Лаллу, когда та приехала в Городок. Лалла никогда прежде не видела ничего подобного. Это большое просторное помещение с чанами, наполненными горячей водой, и печками, где раскаляются камни. Один день здесь моются женщины, другой — мужчины. Лалле очень нравится баня, в ней

так много света, он льется в окна под самой крышей из волнистого железа. Баня работает только летом, потому что вода здесь редкость. Вода поступает из громадной, построенной на возвышении цистерны, откуда она стекает по желобам, которые тянутся под открытым небом до самой бани, где низвергаются в большой цементный бассейн, похожий на место для стирки. Сюда Амма с Лаллой приходят ополоснуться после того, как вымоются в горячей воде, они обливаются холодной водой из больших ковшей, вскрикивая и вздрагивая от холода.

И еще одно нравится здесь Лалле — пар, который белым туманом наполняет зал, затягивает его молочной пеленой до самого потолка и выходит через окна, а свет от этого мерцает. Войдя в баню, в первое мгновение ты задыхаешься от пара. Потом раздеваешься и складываешь одежду на стуле в глубине помещения. В первое время Лалла стеснялась — не хотела раздеваться догола перед другими женщинами, она не привыкла мыться в бане. Ей казалось, что все смотрят на нее и смеются, потому что у нее нет груди и слишком белая кожа. Но Амма ворчала на нее, заставляла снимать одежду, подбирать кверху длинные волосы и, скрутив их узлом, повязывать полотняной повязкой. Но теперь Лалла раздевается без всякого смущения. И на других не обращает внимания. Вначале ей все казалось ужасным, ведь среди женщин были уродливые и старые, иссеченные морщинами, словно высохшее дерево, или, наоборот, толстые, с жирными складками, с грудями, свисавшими, точно бурдюки, или больные, с ногами, покрытыми язвами или вздувшимися венами. Но теперь Лалла смотрит на них по-другому. Ей жалко уродливых и больных женщин, она их больше не боится. А потом, вода такая чудесная, такая чистая, она льется в громадную цистерну прямо с неба, она такая свежая, что должна вылечить тех, кто нуждается в исцелении.

Когда после долгих месяцев засухи Лалла наконец погружается в воду, та сразу обволакивает ее тело, с такой силой обхватывает ноги, живот, грудь, что на мгновение у Лаллы пресекается дыхание.

Вода очень горячая и жесткая, и к коже сразу приливает кровь, поры расширяются, волны тепла проникают до самого нутра, словно вода наделена такой же властью, как небо и солнце. Лалла погружается все глубже, пока обжигающая вода не поднимается выше подбородка, касается губ и вот уже доходит до ноздрей. Тогда Лалла на некоторое время замирает, глядя на потолок из волнистого железа, который словно плывет в облаках пара.

Потом подходит Амма, неся в горсти траву мыльнянку и пемзовый порошок, она трет Лаллу, чтобы смыть с ее тела пот и пыль, трет ей спину, плечи, бедра. Лалла отдает свое тело во власть тетки: Амма умеет так ловко намыливать и скоблить кожу; потом Лалла идет к цементному бассейну и погружается в прохладную, почти холодную воду, и вода сжимает ей поры, разглаживает кожу, натягивает нервы и мышцы. Моясь вместе с другими женщинами, Лалла прислушивается к шуму воды, которая низвергается из цистерны. Эта вода особенно нравится Лалле. Она прозрачная, как в горном ключе, она легкая, она скользит по чистой коже Лаллы, как по обкатанному камню, она плещется в солнечном свете, разлетаясь тысячами брызг. Под струей воды женщины моют свои длинные, отяжелевшие черные волосы. Даже самые безобразные тела кажутся прекрасными, если смотреть на них сквозь струи чистой воды, от холода голоса звучат громче, далеко разносится пронзительный смех. Амма обеими руками плещет водой в лицо Лалле, и на ее загорелом лице ослепительно сверкают белые зубы. Блестящие капли медленно скользят по ее смуглым грудям, по животу, по бедрам. Вода полирует, разглаживает кожу, ладони делаются мягкими-мягкими. Становится

холодно, хотя все помещение наполнено паром.

Амма обертывает Лаллу большим полотенцем, а сама закутывается в простыню, которую завязывает на груди. И они вместе идут в глубину зала, туда, где на стульях сложена их одежда. Тут они садятся, и Амма долго, прядь за прядью, расчесывает волосы Лаллы, пропуская их сквозь сжатые пальцы левой руки, чтобы проверить, не завелись ли насекомые.

И это тоже приятно и навевает дремоту. Лалла смотрит прямо перед собой, ни о чем не думая, утомленная всей этой водой, одурманенная густым паром, медленно, тяжелыми клубами поднимающимся к окнам, где трепещет солнечный свет, оглушенная шумом женских голосов и смехом, плеском воды и гуденьем печей, где нагреваются камни. Так она и сидит на металлическом стуле, поставив босые ноги на прохладный цементный пол и дрожа в своем большом влажном полотенце, а ловкие руки Аммы тем временем неутомимо расчесывают, перебирают, гладят ее волосы, а последние капли воды стекают по ее щекам и спине.

А потом, когда все уже кончено, когда они одеты, Амма и Лалла выходят на улицу и сидят там, греясь на вечернем солнышке, они пьют мятный чай в маленьких стаканчиках с золотым рисунком, почти не разговаривая друг с другом, точно совершили далекое путешествие и слишком переполнены увиденными чудесами. Путь до дощато-картонного Городка на другой стороне реки долог. Когда они возвращаются домой, все уже окутано иссиня-черной темнотою и в просветах между облаками сверкают звезды.

---

Бывают особенные дни, не похожие на другие, это дни праздников, и ты живешь как бы ради них, в ожидании и в надежде. Когда ждать уже недолго, на улицах Городка, в домах, у колонки только и разговору что о празднике. Всем не терпится, всем хочется, чтобы праздник поскорее наступил. Случается, Лалла проснется утром, сердце у нее колотится быстро-быстро, а по рукам и ногам бегают странные мурашки — это потому, что она решила: сегодня праздник. Она поспешно вскакивает и второпях, даже не успев пригладить волосы, вылетает на улицу — пробежаться по утреннему холодку, пока солнце еще не взошло, все вокруг тонет в сероватой мгле и все молчит, кроме нескольких птиц. Но поскольку в Городке не заметно никакой суеты, Лалла понимает: праздник еще не настал, и ей не остается ничего другого, как вновь забраться под одеяло, если только не вздумается пойти в дюны посидеть на берегу, любуясь отблесками первых лучей солнца на гребнях волн.

Время тянется так медленно и долго и вселяет трепет нетерпения в тела мужчин и женщин, потому что празднику предшествует пост. В предпраздничные дни полагается есть очень мало, только до восхода солнца и после заката, и совсем не пить. Вот почему с течением времени внутри тебя образуется какая-то пустота, и она все ширится, жжет, и в ушах начинает звенеть. И все-таки Лалла любит поститься — потому что, когда долго не ешь, когда много часов и дней не пьешь, чувствуешь себя так, будто ты весь очистился изнутри. Время тянется дольше и кажется более наполненным, ибо ты замечаешь каждую мелочь. Дети во время поста не ходят в школу, женщины не работают в поле, парни не бегают в город. Все сидят в тени своих лачуг и деревьев, обмениваясь редкими словами и глядя, как вместе с солнцем то убывают, то растут тени.

Когда попостишься несколько дней, небо тоже начинает казаться особенно чистым, особенно синим и гладким над ослепительно белой землей.

Каждый звук делается громче и протяжнее, точно сидишь внутри пещеры, и солнечный свет тоже мнится чище и прекраснее.

Даже сами дни становятся длиннее — это трудно объяснить, но иногда чудится, что от утра до сумерек прошел целый месяц.

Лалла любит поститься, когда солнце нещадно палит и засуха. Серая пыль оставляет во рту привкус камня, и, чтобы отбить его, сосешь мелкие, пахнущие лимоном травинки или терпкие листья шибы, надо только не забывать сплевывать слюну.

Во время поста Лалла каждый день ходит к каменистым холмам повидать Хартани. Он тоже целыми днями не ест и не пьет, но в остальном ведет себя как обычно, и лицо его такое же, как всегда, обожженно-смуглое. И, как всегда, на этом темном лице ярко горят глаза, сверкают в улыбке белые зубы. Разница лишь в том, что Хартани плотно закутывается в грубошерстный бурнус, чтобы тело не отдавало влагу. Так он и стоит на солнце, на одной ноге, стоит неподвижно, упершись ступней другой ноги в икру немного ниже колена, и смотрит вдаль, где играют отблески света и пасутся стада овец и коз.

Лалла садится рядом с ним на плоский камень и вслушивается в звуки, со всех сторон обступающие их, идущие с гор: стрекотанье насекомых, пересвист пастухов, а еще потрескиванье расширяющихся от жары камней и шорох ветра. Времени у нее сколько угодно: в дни поста не надо ходить за водой или хвостом для стряпни.

Хорошо, что в дни поста стоит такая сушь. Начинает казаться, что все вокруг исстрадалось до боли и глядит, глядит на тебя, не отводя глаз. Ночью над зубцами каменных холмов встает луна, круглая, расплывшаяся. Тогда Амма подает похлебку из нута и хлеб, и все торопливо едят; даже муж Аммы, Селим по прозвищу Сусси, спешит приступить к еде и не поливает, как обычно, хлеб оливковым маслом. Все едят молча, никто ничего не рассказывает. Лалле хотелось бы заговорить, она могла бы говорить взахлеб о стольких вещах, но знает: нельзя, во время поста надо хранить безмолвие. Когда постишься, ты соблюдаешь пост и в словах, и даже в мыслях. И ходить надо медленно, слегка волоча ноги, и нельзя ни на кого и ни на что указывать пальцем, и свистеть тоже нельзя.

Дети иногда забывают, что сейчас пост, им трудно все время сдерживаться. И они вдруг громко смеются или начинают бегать взапуски по улицам, поднимая тучи пыли, под громкий лай собак. Но старухи кричат им вслед и бросают в них камнями, и беготня прекращается, может, потому, что дети тоже обессилели от поста.

Пост длится так долго, что Лалла начинает уже забывать, как было до поста. Но вот в один прекрасный день Амма отправляется к холмам покупать барашка, и все понимают: праздник близится. Амма уходит одна. Она говорит, что Селим по прозвищу Сусси ничего толком купить не умеет. Она идет по узкой извилистой тропинке к каменистым холмам, где живут пастухи. Лалла с другими ребятами издали следуют за ней. Дойдя до холмов, Лалла озирается: не видно ли поблизости Хартани; но она знает, искать его бесполезно. Пастух не любит чужих, и, когда жители Городка приходят покупать баранов, он исчезает. Баранов продают приемные родители Хартани. Они соорудили загон из воткнутых в землю веток и теперь ждут, сидя в холодке.

Баранов продают и другие люди, тоже пастухи. Над иссохшей землей плывет странный дух — запах сала и мочи, пронзительно кричат бараны в плену загонов из веток. К пастухам приходят многие жители Городка и даже самого настоящего города. Машины они оставили у въезда в Городок, там, где

кончается дорога, и остальной путь проделали пешком по тропинке. Это северяне — кожа у них желтая, они в костюмах — или крестьяне с юга: сусси, фасси, жители Могадора. Они знают, что здесь много пастухов, среди которых попадаются родственники или друзья, вот и надеются купить по дешевке хорошего барашка, совершить выгодную сделку. Они толпятся возле загонов, спорят, размахивают руками, наклоняются, чтобы получше рассмотреть животных.

Амма проходит по торжищу не торопясь. Не останавливается, а просто обходит один загон за другим, быстро окидывая взглядом животных, ей этого достаточно, чтобы высмотреть хорошего барашка. Когда обход закончен, можно не сомневаться: она уже сделала свой выбор. Амма подходит к хозяину барашка и просит назвать цену, поскольку она хочет купить этого барана, и никакого другого, то платит, почти не торгуясь. Она не забывает принести с собой веревку, которую пастух обвязывает вокруг шеи животного. Теперь остается только привести барашка домой. Эта честь выпадает на долю старшего сына Аммы, того, которого зовут Бареки. Баран большой и сильный, шерсть у него грязно-желтая, и от нее сильно несет мочой, но Лалле все-таки немного жаль его, когда он проходит мимо, низко наклонив голову, и во взгляде у него испуг, потому что Бареки изо всех сил тянет веревку и она душит барана. Потом барана привязывают позади дома Аммы в закутке, сколоченном из старых досок специально для этой цели, и вволю кормят и поят все те дни, что ему осталось прожить.

И вот настает день, когда, проснувшись, Лалла сразу чувствует: сегодня праздник. И не потому, что кто-то сказал ей об этом, просто так она чувствует, открыв глаза и увидев дневной свет. В мгновение ока она вскакивает и выбегает на улицу с другими ребятами. В воздухе, словно птичий щебет, уже звенит, поднимается над дощатыми и картонными домами разноголосье праздника.

Лалла бежит во весь дух по еще холодной земле, бежит через поля, по узкой тропинке, к морю. На гребне дюны морской ветер налетает на нее с такой силой, что ноздри у нее слипаются, и она едва удерживается, чтобы не упасть навзничь. Море темное и грозное, но небо еще окрашено в такой нежный серый цвет, что страх Лаллы проходит. Она быстро сбрасывает с себя одежду и без колебаний бросается в воду. Налетевшая волна накрывает ее с головой, бьет по векам, стучит в барабанные перепонки, врывается в ноздри. Соленая вода наполняет рот, попадает в горло. Но в этот день Лалла не боится моря, большими глотками пьет она соленую воду и, шатаясь как пьяная, ослепшая от соли, выбирается на сушу. А потом снова бросается в волны и долго плывет вдоль берега, то проезжая коленями по песчаному дну, когда море отступает, то взмывая вверх на гребне набухающей волны.

И вдруг над головой Лаллы, негромко вскрикивая, медленно пролетает ее любимая белоснежная чайка.

Лалла машет ей рукой, наугад выкрикивает имена, чтобы подзвать ее к себе: «Эй, Калла! Илла! Замзар! Хория! Хабиб! Шерара! Хаим!..»

При звуках последнего имени чайка вдруг наклоняет голову, смотрит на девочку и начинает кружить над ее головой.

«Хаим! Хаим!» — снова кричит Лалла. Теперь она уверена, что так звали моряка, погибшего когда-то в море, ведь имя Хаим означает «странник».

«Хаим! Хаим! Ну прошу тебя, лети сюда!»

Но белая чайка, описав еще один круг, улетает в потоке ветра, она летит вдоль берега, туда, где каждое утро собираются другие чайки, прежде чем направиться к городской свалке.



Лаллу немного знобит, ее пробирает холод от воды и ветра. Солнце вот-вот взойдет. Позади каменных холмов, там, где живет Хартани, нарождается розовато-желтая заря. На теле Лаллы, покрывшемся гусиной кожей, свет вспыхивает в капельках морской воды. Дует сильный ветер, синее платье Лаллы почти все засыпано песком. Еще не обсохнув, Лалла натягивает платье и то вприпрыжку, то шагом возвращается в Городок.

Сидя на земле у дверей своего дома, Амма жарит лепешки в большой, полной кипящего масла кастрюле. В сумраке, еще не рассеявшемся вокруг домов, красным пятном горит жаровня.

Пожалуй, этот час праздника Лалла любит больше всего. Еще дрожащая от морской прохлады, она садится у пылающей жаровни и ест хрустящие лепешки, смакуя нежное тесто, к вкусу которого примешивается терпкий дух морской воды, еще сохраняющийся у нее в горле. Заметив мокрые волосы Лаллы, Амма ворчит на нее, но недолго, ведь сегодня праздник. Тут к жаровне подсаживаются сыновья Аммы, глаза у них еще совсем сонные, а за ними и Селим Сусси. Они молча едят янтарные лепешки, выбирая их из большой полной до краев глиняной миски. Муж Аммы ест медленно, сильно двигая челюстями, точно пережевывает жвачку, делая перерыв только для того, чтобы слизать с пальцев стекающие по ним капли масла. Изредка он все-таки произносит несколько незначущих слов, но его никто не слушает.

Но все же праздничный день имеет привкус крови, ведь в этот день режут барана. Странное у Лаллы чувство: словно что-то давит на нее, что-то ее гнетет, как воспоминание о дурном сне, от которого колотится сердце. И мужчины, и женщины вокруг радуются, радуются все, ведь пришел конец посту, можно есть вволю, есть до отвала. Но Лалла не может радоваться безоглядно, и все из-за барана. Объяснить это трудно, но ее словно что-то так и подстегивает, ей хочется убежать подальше отсюда. Может, она и вправду похожа на Хартани и праздники не для нее?

Резать барана приходит специальный человек. Иногда это Наман-рыбак — он еврей и может сделать это, не осквернив себя. А иногда приглашают человека из других мест — из племени эссауа, у него здоровенные, мускулистые ручищи и злое лицо. Лалла терпеть его не может. Наман — дело другое: он режет барана, когда его об этом просят, чтобы оказать услугу, и денег не берет, его просто угощают куском жареного мяса. А мясник, тот злой: он убивает барана только за деньги. Он тянет барана за собой на веревке, и Лалла убегает к морю, чтобы не слышать душераздирающие вопли животного, которого тащат к площадке неподалеку от колонки, и не видеть, как мясник перережет барану горло своим острым ножом и оттуда хлынет кровь, черная кровь, которая, дымясь, наполнит эмалированные тазы. Но Лалла все-таки скоро возвращается, потому что ее обуревают нетерпение — голод. Подойдя к дому Аммы, она слышит веселый треск огня, вдыхает чудесный аромат поджариваемого мяса. Амма не любит, чтобы ей помогали, когда она поджаривает на вертеле самые лакомые куски баранины. Она любит одна сидеть у огня и поворачивать вертелы, железные спицы, на которые нанизаны куски мяса. Когда задние ноги и ребра хорошо прожарятся, она снимает их с огня и складывает в большую глиняную миску, которая стоит прямо на угольях. И тут она подзывает Лаллу — настало время копчения. Вот эта минута праздника тоже одна из самых любимых у Лаллы. Она садится у огня неподалеку от Аммы и сквозь пламя и дым смотрит на тетку. Время от времени Амма бросает в огонь пучок влажной травы или сырых дров, и тогда от огня черными клубами валит дым.

Занимаясь стряпней, Амма изредка обронит словечко-другое, и Лалла

прислушивается к ее голосу, в то же время слушая, как потрескивает огонь, как кричат играющие вокруг дети и разговаривают мужчины; жаркий и сильный запах пропитывает ее лицо, волосы, одежду. Маленьким ножом Лалла режет мясо на тонкие полоски и кладет их на решетку из сырых поленьев, подвешенных над огнем там, где дым отделяется от пламени. В это время Амма обычно рассказывает о стародавних временах, о жизни в южных краях, по ту сторону гор, там, где начинаются пески пустыни, а колодцы синие, как само небо.

— Расскажи мне о Хаве, Амма, пожалуйста, — просит Лалла.

И поскольку день долог, а дело у них одно — следить за кусочками мяса, которые копятся в клубах дыма, и время от времени слегка передвигать их прутиком или руками, предварительно облизав пальцы, чтобы не обжечься, Амма начинает рассказывать. Вначале она говорит медленно, с запинками, словно с трудом вспоминает, и такая неторопливость как-то подходит к палящему солнцу, которое медленно-медленно поднимается по синему небу, к потрескиванию пламени, к запаху мяса и дыма.

— Лалла Хава, — так называет ее Амма, — была старше меня, но я хорошо помню, как она в первый раз вошла в наш дом, когда ее привез твой отец. Она была родом с юга, из великой пустыни, там твой отец и познакомился с ней, ее племя жило на юге, в долине Сегиет-эль-Хамра, возле священного города Смары, из ее племени вышла семья великого Ма аль-Айнина, того, что прозван был Влагой Очей. Но людям ее племени пришлось покинуть родные места, потому что их изгнали оттуда солдаты-христиане. Они изгнали мужчин, женщин и детей, и тем пришлось много дней и месяцев скитаться по пустыне. Это все твоя мать рассказала нам потом. В ту пору мы жили в Сусе и были очень бедны, но счастливы вместе, потому что твой отец очень любил Лаллу Хаву. Она так хорошо смеялась и пела и даже умела играть на гитаре — сядет, бывало, на солнышке у дверей дома и поет песни...

— А что она пела, Амма?

— Песни юга, иногда на языке шлехов, песни Ассаки, Гулимина, Тан-Тана, но я не умею их петь, как она.

— Все равно, Амма, спой, я хочу послушать.

И вот под треск пламени Амма начинает тихонько напевать. Лалла старается не дышать, чтобы лучше расслышать песню своей матери.

— «Настанет день, о да, настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций, в этот день в жале змеи не окажется яда, и ружейные пули больше не будут сеять смерть, это будет в тот день, когда я покину тебя, моя любовь...»

Лалла вслушивается в голос, шепчущий из пламени, она не видит лица Аммы, и ей кажется, будто до нее доносится голос матери.

— «Настанет день, о да, настанет день, и в пустыне навеки умолкнет ветер, и песчинки станут слаще сахара, и под каждым белым камнем меня будет ждать свежая вода, в этот день пчелы споют мне песенку, это будет в тот день, когда я тебя разлюблю...»

Но теперь голос Аммы стал другим, более сильным и легким, он звучит высоко, как голос флейты, и звенит, как медные колокольчики, это уже не ее голос, это голос незнакомой молодой женщины, которая поет сквозь пелену пламени и дыма, поет для Лаллы, для нее одной.

— «Настанет день, о да, настанет день, когда ночью засияет солнце, и луна прольет в пустыню лужицы лунной воды, и небо опустится так низко, что я смогу дотянуться рукой до звезд, в этот день я увижу, как пляшет передо мной моя тень, это будет в тот день, когда я покину тебя, моя любовь...»

Далекий голос ознобом пробегает по телу Лаллы, обволакивает ее, затуманенным взглядом глядит она, как пляшут под лучами солнца языки пламени. Во время долгого молчания, прервавшего слова песни, до Лаллы доносятся издали звуки музыки, ритм праздничных барабанов. Ей кажется, она осталась одна — Амма ушла, оставив с Лаллой незнакомый голос, поющий песню.

— «Настанет день, о да, настанет день, когда я взгляну в зеркало и увижу в нем твое лицо, и услышу твой голос на дне колодца, и узнаю следы твоих ног на песке, в этот день я пойму, что пришел мой смертный час, потому что в этот день я потеряю тебя, моя любовь...»

Голос стал более низким и глухим, похожим на вздох, он слегка дрожит в колеблющемся пламени, теряется в клубах синего дыма.

— «Настанет день, о да, настанет день, и солнце почернеет, и земля разверзнется до самых недр, и море затопит пустыню, в тот день в глазах моих померкнет свет, и уста мои не произнесут больше твоего имени, и сердце мое перестанет страдать, в этот день я забуду тебя, моя любовь...»

Незнакомый голос угас в шепоте, растворился в пламени и синем дыме, но Лалла долго еще ждет, не шелохнувшись, пока до нее наконец доходит, что голос больше не вернется. Глаза ее полны слез, сердце сжимается от боли, но она молчит, а тем временем Амма снова начинает нарезать мясо тонкими ломтиками и укладывать их на деревянную решетку среди дыма.

— Расскажи мне о ней еще что-нибудь, Амма.

— Лалла Хава знала много песен, и голос у нее был красивый, как у тебя, и она умела играть на гитаре и на флейте и танцевать. Но когда с твоим отцом случилось несчастье, ее сразу будто подменили, с тех пор она никогда больше не пела, не играла на гитаре, даже когда ты родилась, она не захотела петь, и пела только для тебя, когда ты плакала по ночам, чтобы убаюкать тебя, укачать...

А вот и осы прилетели. Их привлек запах жареного мяса, осы роятся сотнями. Они с жужжаньем кружат возле очага, пытаются усесться на ломтики мяса. Но дым отгоняет их, они задыхаются и, одурманенные, пробиваются сквозь пламя. Некоторые падают прямо в огонь и сгорают в короткой желтой вспышке, другие, оглушенные, обожженные, падают на землю. Бедные осы! Они прилетели получить свою долю мяса, но не знают, как к нему подступиться. Они пьянеют и неистовствуют от едкого дыма, из-за которого не могут добраться до деревянной решетки. Но они все равно лезут напролом, ослепленные, глупые, как ночные бабочки, и гибнут. Лалла бросает им кусочек мяса, чтобы они насытились и улетели подальше от огня. Но одна из них жалит Лаллу, впивается ей в шею. «Ай!» — вскрикивает Лалла и, оторвав от себя осу, бросает подальше, ей больно, но все равно жалко, в глубине души она все-таки любит ос.

А вот Амма не обращает на ос никакого внимания. Она просто отгоняет их тряпкой, а сама продолжает рассказывать, переворачивая ломтики мяса на решетке.

— Она не любила сидеть дома... — говорит Амма, немного приглушая голос, точно рассказывает какой-то старый-старый сон. — Привяжет, бывало, тебя платком у себя за спиной и уходит далеко-далеко... Никто не знал, куда она ходит. Она садилась в автобус и ехала к берегу, а иногда в соседние деревни. Она ходила по рынкам или к колодцам, туда, где собирались незнакомые ей люди, там она садилась на камень и смотрела на них. Быть может, они принимали ее за нищенку... Домашнюю работу она выполнять не хотела, потому что мои родные плохо с ней обращались, но я ее любила, как

родную сестру.

— Расскажи мне еще, как она умерла, Амма.

— Нехорошо говорить об этом в праздник, — отвечает Амма.

— Ничего, Амма, расскажи мне все-таки про тот день, когда она умерла.

Разделенные пламенем, Амма и Лалла плохо различают лица друг друга. Но кажется, будто еще чей-то взгляд проникает в них до самых глубин — туда, где таится боль.

Клубы серого и голубого дыма танцуют, то делаясь реже, то сгущаясь, точно облака; на деревянной решетке ломтики мяса стали темно-коричневыми, точно старая кожа. Где-то там далеко неторопливо заходит солнце, ветер гонит к берегу морские волны, поют цикады, кричат ребяташки, носясь по улочкам Городка, переговариваются мужчины, звучит музыка. Но Лалла ничего этого не слышит. Она вся отдалась шепчущему голосу, который рассказывает ей о смерти матери, умершей давным-давно.

— Мы не думали, что это случится, никто не думал. Однажды Лалла Хава слегла, она чувствовала себя такой усталой и все время мерзла. Так она пролежала несколько дней, не ела, не двигалась, но ни на что не жаловалась. Когда ее спрашивали, что с ней, она отвечала только: «Ничего-ничего, просто я устала, вот и всё». Мне пришлось заниматься с тобой, кормить тебя, потому что у Лаллы Хавы уже не было сил подняться с постели... Врача в деревне не было, больница далеко, никто не знал, что делать. А потом однажды — помнится, это было на шестой день — Лалла Хава позвала меня, голос у нее совсем ослаб, она поманила меня рукой и сказала только: «Я умираю, вот и всё». Станный у нее был голос, и лицо совсем серое, а глаза горели. Тут я испугалась, бросилась опростетью из дома, унесла тебя далеко-далеко через поля к подножию холма и провела там целый день, сидя под деревом, а ты играла рядом. Когда я возвратилась домой, ты спала у меня на руках, но я услышала, как в доме плачут моя мать и сестры, а отец встретил меня у порога и сказал, что Лалла Хава умерла...

Не сводя глаз с пляшущего и потрескивающего пламени, с завитков поднимающегося к синему небу дыма, Лалла вся превратилась в слух. Осы продолжают свой хмельной полет, пулями пронзая пламя, и падают на землю с опаленными крылышками. Лалла вслушивается в их музыку — единственную настоящую музыку, которая звучит в Городке из досок и картона.

— Никто не ждал, что это случится, — рассказывает Амма. — Но когда это случилось, все плакали, а меня сковал такой холод, словно я сама была при смерти, и все горевали из-за тебя, ведь ты была еще слишком мала, чтобы понять. А потом, когда отец мой умер и мне пришлось перебраться сюда, в Городок, и выйти за Сусси, я взяла тебя к себе...

Ждать, пока прокопятся кусочки мяса, надо еще долго, поэтому Амма продолжает свои рассказы, но она больше ничего не говорит о Лалле Хаве. Теперь она рассказывает об Аль-Азраке, о том, кого звали Синим Человеком, о том, кто умел повелевать ветром и дождем и кому повиновалось все — даже камни и кустарники. Она рассказывает о его одинокой хижине в пустыне, сплетенной из веток и пальмовых листьев. Говорит, что там, где появлялся Синий Человек, в небе всегда кружили самые разные птицы, которые пели райские песни, присоединяя свой голос к его молитве. Но путь к дому Синего Человека находили только чистые сердцем. Другие же люди теряли след в пустыне.

— А с осами он тоже умел разговаривать? — спрашивает Лалла.

— И с осами, и с дикими пчелами, потому что он был их повелителем, он

знал, какими словами их приручить. Но он знал также песню, которой можно было наслатъ тучи ос, пчел и мух на врагов. Захоти он, мог бы разрушить целый город. Но он был справедлив и пользовался своей властью, чтобы творить одно только добро.

Рассказывает Амма также о пустыне, о великой пустыне, которая начинается к югу от Гулимина, к востоку от Таруданта, за долиной Дра. Там, в пустыне, у подножия дерева, и родилась Лалла, по рассказам Аммы. Там, в краю великой пустыни, небо огромно и горизонту нет конца, потому что взгляду не на чем задержаться. Пустыня как море: там ветер гонит волнами жесткий песок, вынося пену — перекасти-поле; там обкатанные камни, пятна лишайника, лужицы соли и, когда солнце клонится к земле, черные впадины теней. Долго рассказывает Амма о пустыне, и, пока она говорит, огонь мало-помалу догорает, дымок становится легким, прозрачным и угли подергиваются серебристой, подрагивающей пылью.

— ...Там, в пустыне, люди иной раз идут целыми днями, не встречая ни жилья, ни колодца, потому что пустыня так огромна, что никому не дано узнать ее всю. Люди уходят в пустыню, как лодки в море — никто не знает, когда они вернутся. Бывают там и бури, но они не похожи на здешние, это страшные ураганы, ветер срывает песок с места и подбрасывает до самого неба, и тогда людям конец. Они тонут в песках, гибнут, как лодки в пучине, погребенные в песках. В тех краях всё не как у нас, и солнце там другое: оно обжигает сильнее, иной раз люди возвращаются ослепшие, с опаленным лицом. А ночью там такой холод, что заблудившиеся путники кричат от боли, от холода, ломающего кости. Да и люди там другие... Они жестоки, они, как лисы, подстерегают свою добычу, они подкрадываются в тишине. Кожа у них черная, как у Хартани, а одежда синяя, и на лице покрывало. Да это и не люди, а джинны, дети дьявола, они водятся с дьяволом, они вроде колдунов...

А Лалла снова думает об Аль-Азраке, Синем Человеке, повелителе пустыни, о том, по чьему слову из-под камней пустыни начинали бить родники. Амма тоже вспоминает о нем и говорит:

— Синий Человек сначала был таким, как и другие жители пустыни, но потом на него сошла благодать, и он покинул свое племя, свою семью и стал жить в одиночестве... Но он знал все, что знают жители пустыни. Он был наделен даром исцелять больных наложением рук, и Лалла Хава тоже имела эту власть, и она умела толковать сны, и предсказывать будущее, и находить потерянное. Когда люди узнавали, что она ведет свой род от Аль-Азрака, они приходили к ней за советом — иногда она отвечала на их вопросы, а иногда не хотела отвечать...

Лалла смотрит на свои руки, ей хочется понять, что в них скрывается. Кисти у нее большие и сильные, как у парня, но кожа мягкая, и пальцы тонкие.

— А у меня есть этот дар, Амма?

Амма смеется. Она встает, потягивается.

— Не думай об этом, — говорит она. — Ну вот, мясо готово, надо выложить его на блюдо.

Амма уходит, а Лалла снимает с угляй решетку и выкладывает ломтики мяса на большое глиняное блюдо, время от времени не отказывая себе в удовольствии полакомиться кусочком. Едва огонь погас, к жаровне снова слетелись тучи ос, они громко жужжат, вьются вокруг Лаллиных рук, запутываются в ее волосах. Но Лалла их не боится. Она ласково отстраняет их и бросает им еще один кусок копченого мяса, ведь и для ос сегодня особый день.

А потом она идет к морю, бредет узкой тропинкой, ведущей в дюны. Но

она не подходит к воде. Остается по ту сторону дюн, чтобы укрыться от ветра, ища ложбинку в песке, где можно полежать. Найдя ямку, где нет засилья чертополоха и муравьев, она ложится на спину, вытянув вдоль тела руки, и смотрит в небо. По небу плывут большие белые облака. Лениво рокочет море, лижущее прибрежный песок. Лалле нравится слушать его, не видя. Кричат чайки, скользящие в воздушных потоках, от их мельканья мерцает солнечный свет. Шелестит сухой кустарник, лепечут листочки акаций, шуршат колючки, и все это словно шум воды. Несколько ос, чующих запах мяса, вьются над руками Лаллы.

Лалла пытается еще раз услышать незнакомый голос, который поет где-то далеко-далеко, словно в другой стране, гибкий, чистый голос, то высокий, то низкий, подобный журчанию родника, подобный солнечному лучу. Небо над головой Лаллы постепенно темнеет, но ночь медлит, ведь зима кончается, приходит царство света. Сумрак сначала становится серым, потом красным, большие облака похожи на огненные гривы. Лалла все лежит в дюнах, не сводя глаз с неба и облаков. И вдруг за шумом моря и ветра, сквозь пронзительные крики чаек, ищущих приюта на ночном берегу, она и впрямь слышит нежный голос, повторяющий грустный напев, звонкий голос, который слегка дрожит, словно предчувствует уже, что смерть скоро его заглушит, голос чистый, как вода, которую все пьешь-пьешь и никак не можешь напиться после долгих дней палящего зноя. Эта музыка рождается в небе, в облаках, она отдается в песчаных дюнах, она разлита повсюду в воздухе, она трепещет даже в сухих листьях чертополоха. Она звучит для Лаллы, для нее одной, она обволакивает ее, омывает своим ласковым потоком, нежно проводит рукой по ее волосам, по лбу, по губам, рассказывает ей о своей любви, нисходит на нее и дарует благословение. Лалла ложится ничком, зарывшись лицом в песок, что-то вдруг обрывается в ней, ломается, слезы беззвучно текут по ее щекам. Никто не кладет ей руку на плечо, никто не спрашивает: «О чем ты плачешь, малышка Лалла?» Но незнакомый голос вызывает на ее глаза эти тихие слезы, пробуждает в глубине ее души образы, которые многие годы были скованы неподвижностью. Слезы каплют на песок, под подбородком Лаллы расплывается маленькое мокрое пятно, на влажные щеки и губы налипают песчинки. И вдруг все исчезает. Голос с небесных высот умолк. Наступает ночь, прекрасная темно-синяя бархатная ночь, когда звезды блещут в просветах между фосфоресцирующими облаками. Лаллу пробирает дрожь, как в приступе лихорадки. Она бредет наугад вдоль дюн, среди мерцающих светлячков. Но она боится змей и потому возвращается на узкую тропинку, еще хранящую следы ее ног, и медленно идет по ней к Городку, где продолжается праздник.

---

Лалла чего-то ждет. Сама в точности не знает чего, но ждет. Дни в Городке тянутся долго, ветреные, дождливые летние дни. Порой Лалле кажется, что она просто ждет наступления очередного дня, но день настает, и она понимает: нет, это не то. Она ждет, ждет, и всё тут. Люди долготерпеливы, может, они всю свою жизнь чего-то ждут, да так никогда и не дождутся.

Мужчины часто подолгу сидят на камнях на самом солнцепеке, прикрыв голову полой бурнуса или махровым полотенцем. Глаза их устремлены вдаль. На что они смотрят? На пыльный горизонт, на дороги, по которым катят грузовики, похожие на огромных разноцветных скарабеев, на неровную линию каменистых холмов, на белые облака, плывущие по небу. Вот на что они

смотрят. И ничего другого им не надо. Женщины тоже ждут, безмолвно сидят у колонки, прикрыв лицо черным покрывалом и упираясь в землю босыми ступнями.

Даже дети умеют ждать. Садятся возле бакалейной лавки и ждут, не кричат, не шалят. Время от времени один из них встает, заходит в лавку и взамен своих монеток получает там бутылку фанты или пригоршню мятных конфет. А другие только молча на него смотрят.

Бывают дни, когда ты сам не знаешь, куда идешь, сам не знаешь, что случится. Все выжидают чего-то, толпясь на улице или на обочине дороги; оборванные ребятишки ждут, когда пройдут большие голубые туристские автобусы или грузовики, которые развозят дизельное топливо, доски, цемент. Лалле хорошо знаком рев грузовиков. Иногда и она усаживается на выложенный недавно откос при въезде в Городок. Когда подъезжает грузовик, ребята все как один поворачивают голову в ту сторону, откуда тянется дорога.

Там далеко-далеко в дрожащем над асфальтом воздухе зыблются холмы. Шум мотора слышен задолго до того, как грузовик появится на дороге. Это пронзительный вой, почти переходящий в свист, время от времени прерываемый сигналом клаксона, который эхом раскатывается между стенами домов. Потом появляется облако пыли, желтое облако, к которому примешивается синий дым от мотора. И по гудронированной дороге на большой скорости мчится красный грузовик. Над кабиной шофера труба, выбрасывающая синий дым, яркие солнечные блики играют на ветровом стекле и хромированных частях. Шины пожирают гудронированную дорогу, из-за ветра грузовик немного вихляет, и каждый раз, когда колеса прицепа вгрызаются в обочину дороги, к небу взлетает облако пыли. Пролетая мимо ребятишек, грузовик сигналил во всю мочь, земля содрогается под четырнадцатью черными шинами, машина обдает их своим жарким дыханием, смесью пыльного ветра и выхлопных газов.

А дети долго еще говорят о красном грузовике и рассказывают разные случаи про грузовики: красные грузовики, белые грузовики-цистерны и желтые грузовики-экскаваторы.

Так тянется время, когда люди чего-то ждут. Они часто ходят на дорогу к мосту и к морю взглянуть, как исчезают вдали те, кто не остается в этих краях, те, кто уезжает.

Некоторые дни кажутся особенно долгими, они длиннее других, потому что мучает голод. Лалле хорошо знакомы такие дни, когда в доме совсем нет денег, а Амме все еще не удалось найти работу в городе. Даже Селим Сусси, муж Аммы, не знает, где раздобыть денег, все вокруг мрачные, грустные, даже злые. Тогда Лалла по целым дням не возвращается домой, она уходит как можно дальше, на каменистую равнину, туда, где живут пастухи, и ищет Хартани.

Так бывает всегда: когда ей очень хочется его видеть, он вдруг обнаруживается в каком-нибудь укромном месте — сидит в своей белой чалме на камне. Стережет коз и овец. Лицо у него черное, руки худые и сильные, как у старика. Он делится с Лаллой черным хлебом и финиками, а иногда еще уделяет немного подошедшим пастухам. Делает он это просто, без всякого высокомерия, словно сделанное им сушая безделица.

Лалла внимательно вглядывается в пастуха, ей нравятся его невозмутимое лицо, орлиный профиль и свет, горящий в глубине темных глаз. Хартани тоже чего-то ждет, но, наверное, только он один из всех и знает чего. Он не говорит об этом, ведь ему незнаком язык людей. Но по взгляду его можно угадать, чего он ждет, чего ищет. Слово какая-то частица его самого

осталась в том краю, где он родился, за каменными холмами и заснеженными горами, в необъятности пустыни, и настанет день, когда он наконец обретет эту частицу и станет полностью самим собой.

Целый день проводит Лалла с пастухом, однако не подходит к нему слишком близко. Она садится неподалеку от него на камень и смотрит прямо перед собой, смотрит на танцующий, мерцающий над иссушенной долиной воздух, на искрящиеся лучи белого солнца, на медленно бродящих среди белых камней овец и коз.

В такие печальные, тревожные дни с одним только Хартани и можно быть рядом, обходясь без слов. Довольно одного взгляда, и он поделится с тобой хлебом и финиками, ничего не требуя взамен. Он даже предпочитает, чтобы от него держались поодаль, в этом он похож на коз и овец, которые никогда никому не принадлежат вполне.

Целый день слушает Лалла переключку пастухов на холмах, их свист, разрывающий белое безмолвие. И, когда потом она возвращается в Городок из досок и картона, ей дышится вольнее, пусть даже Амма ворчит, что она не принесла чего-нибудь поесть.

В один из таких дней Амма отвела Лаллу к хозяйке ковровой мастерской. Они отправились в город за реку, в квартал, населенный городской беднотой, к большому белому дому с узкими, забранными решеткой окнами. Войдя в комнату, служащую мастерской, Лалла слышит жужжание ткацких станков. Их здесь двадцать, а может, и больше, они стоят рядами в молочном сумраке большой комнаты, освещенной тремя мигающими неоновыми трубками. У станков на коленях или на табуретках сидят девочки. Они работают быстро, пропускают челнок между нитями основы, маленькими стальными ножницами состригают концы нитей, уплотняют шерстяные нити утка. Самой старшей, должно быть, лет четырнадцать, младшей на вид нет и восьми. Они не разговаривают между собой, даже не смотрят на Лаллу, которая входит в мастерскую вместе с Аммой и хозяйкой. Хозяйку зовут Зора, это крупная женщина в черном; в пухлых руках она всегда сжимает гибкий прут, которым бьет девочек по ногам и плечам, едва они замешкаются у станка или вздумают поболтать с соседкой.

— Ей уже приходилось ткать? — спрашивает хозяйка, даже не взглянув на Лаллу.

Амма отвечает, что когда-то показывала Лалле, как ткут ковры. Зора покачивает головой. Она кажется очень бледной, быть может, из-за черной одежды, а может, потому, что никогда не отлучается из своей мастерской. Она медленно подходит к свободному станку, где лежит большой темно-красный ковер, затканый белыми точками.

— Пусть кончит этот ковер, — объявляет хозяйка.

Лалла садится у станка и начинает ткать. Много часов подряд работает она в большой темной комнате, руки ее движутся как у автомата. Вначале она то и дело останавливается: у нее устают пальцы, но она все время чувствует на себе взгляд бледной толстухи и тотчас снова берется за работу. Она знает, что эта бледная женщина не станет ее бить, потому что Лалла старше других работниц. Когда взгляды их встречаются, у Лаллы словно что-то обрывается внутри и в глазах вспыхивает гнев. Но толстуха в черном вымещает злость на самых маленьких, худых и бледных, боязливых, как собачонки, дочерях нищих, девочках, брошенных родителями на произвол судьбы: они круглый год живут в доме Зоры, и денег им не платят. Стоит им замешкаться или шепотом перемолвиться словом, бледная толстуха с неожиданным проворством бросается к ним и стегает их по спине своим прутком. Но девочки



никогда не плачут. Слышен только свист прута, рассекающего воздух, да глухой удар по спине. Лалла стискивает зубы, ниже наклоняет голову, чтобы не видеть и не слышать, ей хочется кричать и самой ударить Зору. Но она молчит, она ведь должна принести домой Амме деньги. Но, чтобы отомстить, она нарочно путает узор на красном ковре.

Однако на следующий день Лалла не выдерживает. Когда бледная толстуха начинает избивать Мину, худенькую и щупленькую девочку, которой едва минуло десять лет, за то, что у той сломался челнок, Лалла встает и спокойно заявляет:

— Перестаньте ее бить!

С минуту Зора, не понимая, смотрит на Лаллу. На ее жирном и бледном лице застыло такое ошеломленное выражение, что Лалла повторяет:

— Перестаньте ее бить!

Но внезапно лицо Зоры искажается гневом. Она изо всей силы хлещет прутом, целясь в лицо Лалле, но удар приходится по левому плечу, потому что Лалла сумела увернуться.

— Я тебе покажу, я еще и тебя исполосую! — кричит Зора, и лицо ее даже слегка розовеет.

— Брось! Ведьма! — Лалла выхватывает у Зоры прут и ломает его о колено.

Теперь лицо толстухи искажается страхом. Она отшатывается назад.

— Прочь! Убирайся! Сейчас же убирайся! — запинаясь, бормочет она.

А Лалла уже опрометью мчится через большую комнату, она выскакивает на улицу, на солнечный свет, и бежит не останавливаясь до самого дома Аммы. Как прекрасна свобода! Можно снова любоваться облаками, беспорядочно плывущими по небу, осами, вьющимися вокруг кучек отбросов, ящерицами, хамелеонами, травой, трепещущей на ветру. Лалла садится перед домом в тени дощатой стены и жадно ловит все, даже едва слышные звуки. К вечеру возвращается Амма.

— Я никогда больше не пойду к Зоре, — только и говорит Лалла.

Амма несколько мгновений глядит на нее, но не произносит ни слова.

Именно с этого дня и произошла настоящая перемена в жизни Лаллы. Словно она вдруг сразу повзрослела и люди стали ее замечать. Даже сыновья Аммы теперь держат себя иначе — не так грубо и презрительно, как прежде. Иногда Лалла даже немножко жалеет о том времени, когда она была совсем маленькой и приехала в Городок, когда никто не знал ее имени, когда она могла спрятаться за кустиком, в какой-нибудь бочке или картонной коробке. Ей нравилось быть подобием тени, приходиться и уходить так, чтобы никто ее не видел, не говорил с ней.

Только старый Наман и Хартани не переменились. Наман-рыбак, как и прежде, рассказывает невероятные истории, когда чинит сети на берегу или когда приходит к Амме поесть маисовых лепешек. Рыба у него почти не ловится, но в поселке его любят и по-прежнему приглашают в гости. Его светлые глаза прозрачны, как вода, а лицо исчерчено глубокими морщинами, похожими на рубцы от старых ран.

Амма слушает его рассказы об Испании, о Марселе, о Париже и обо всех других городах, которые он повидал на своем веку, которые исходил. Он знает названия тамошних улиц, имена живущих там людей. Амма расспрашивает его, интересуется, может ли его брат помочь ей найти в тех краях работу.

«Почему бы и нет?» — покачивает головой Наман.

Так он отвечает на все вопросы и все же обещает написать брату. Но

уехать не так-то просто: надо иметь деньги, выправить бумаги. Амма задумывается; глядя вдаль, она мечтает о белых городах, где так много улиц, домов, автомобилей. Быть может, как раз этого-то она и ждет.

А вот Лалла об этом не слишком задумывается. Ей это безразлично. Она смотрит в глаза Наману, а это все равно как если бы она сама побывала в тех морях, в тех краях, в тех домах.

И Хартани об этом не думает. Он по-прежнему остается ребенком, хотя ростом и силой не уступает взрослому. Он тонкий, высокий, лицо чистое и гладкое, словно выточено из черного дерева. Может, все потому, что он не знает языка людей.

В грубошерстном бурнусе, низко надвинув на лоб чалму, он обычно сидит на скалистом выступе, устремив глаза вдаль. Его по-прежнему окружают чернолицые, как и он сам, пастухи, диковатые и оборванные, со свистом перепрыгивающие с уступа на уступ. Лалла любит приходить к ним на равнину, залитую белым солнечным светом, туда, где время не движется, туда, где не надо становиться взрослой.

---

Человек этот появился в доме Аммы как-то утром в самом начале лета. Это был горожанин в сером с зеленоватым отливом костюме и в черных кожаных ботинках, блестевших как зеркало. Он принес подарки Амме и ее сыновьям — зеркало в белой пластиковой рамке с электрической подсветкой, транзисторный приемник размером со спичечный коробок, самописки с золотыми колпачками и сумку, набитую сахаром и консервными банками. Войдя в дом, он в дверях столкнулся с Лаллой, но даже не взглянул на нее, разложил свои подарки на полу. Амма предложила ему сесть, он поискал глазами стул, но в доме были только подушки и деревянный сундучок Лаллы Хавы, который Амма привезла с юга, когда ездила за Лаллой. На этот сундучок и сел гость, обтерев его сначала ладонью. Он ждал, пока принесут чай и сласти.

Когда позже Лалла узнала, что человек приходил свататься к ней, она очень испугалась. Ее словно вдруг оглушили, и сердце у нее заколотилось сильно-сильно. Узнала она об этом не от Аммы, а от ее старшего сына Бареки:

— Мать решила выдать тебя за него, потому что он богач.

— Но я не хочу замуж! — крикнула Лалла.

— Тебя не спросят, ты должна слушаться тетку, — заявил Бареки.

— Ни за что! Ни за что! — Лалла выбежала с этим криком, глаза ее наполнились слезами ярости.

Потом она вернулась в дом тетки. Мужчина в серо-зеленом костюме ушел, но подарки остались. Али, младший сын Аммы, слушал музыку, прижав к уху крошечный транзистор. Он хмуро поглядел на вошедшую Лаллу.

— Зачем ты приняла подарки от этого человека? Я не выйду за него замуж, — резко сказала Лалла тетке.

— Она небось хочет выйти за Хартани! — захихикал Али.

— Выйди вон! — приказала ему Амма.

И мальчишка вышел с транзистором.

— Ты не можешь заставить меня выйти за него! — сказала Лалла.

— Это будет хороший муж для тебя, — сказала Амма. — Он, правда, не очень молод, но зато богат, у него большой дом в городе, и он знаком со многими могущественными людьми. Ты должна за него выйти.

— Я никогда не выйду замуж, никогда!

Амма с минуту молчит. Потом снова начинает говорить — уже ласковой, но Лалла держится настороже.

— Я воспитала тебя как дочь, я люблю тебя, а ты хочешь нанести мне такую обиду.

Лалла с гневом глядит на Амму. Она впервые обнаружила в ней лживость.

— Мне все равно, — говорит она. — Я не выйду за этого человека. И не хочу его дурацких подарков! — Она тычет пальцем в зеркало с электрической подсветкой, которое стоит на подставке прямо на глинобитном полу. — У тебя и электричества-то нет!

И вдруг ей становится нестерпимо. Она выходит из теткиного дома и идет к морю. Только на этот раз она не бежит, а медленно бредет по тропинке. Сегодня все по-другому. Точно все завяло, выцвело под взглядами людей.

«Надо уехать», — громко говорит Лалла самой себе. Но тут же думает, что не знает даже, куда ей ехать. Тогда она спускается вниз по склону дюны и идет вдоль широкого берега, ищет старого Намана. Ей так хотелось бы, чтобы он оказался здесь — сидел бы, как всегда, на корнях старого фигового дерева и чинил свои сети. Она бы подробно расспросила его обо всех этих испанских городах с волшебными названиями: Альхесирас, Малага, Гранада, Теруэль, Сарагоса, обо всех портах, от которых отчаливают пароходы, большие, словно города, об автострадах, по которым катят на север машины, об уходящих поездах, о самолетах. Часами слушала бы она его рассказы о заснеженных горах, о туннелях, о реках, безбрежных, как море, о полях, засеянных пшеницей, о бескрайних лесах и в особенности о тех благоухающих городах, где высятся белоснежные дворцы, соборы, фонтаны и залиты светом витрины магазинов. О Париже, Марселе, обо всех этих улицах и домах, таких высоких, что за ними почти не видно неба, о садах, кафе, отелях и перекрестках дорог, на которых можно встретить людей со всех концов земли.

Но старого рыбака нигде не видно. Только белая чайка скользит навстречу ветру, кружа над ее головой.

«Эй! Принц! Принц!» — кричит Лалла.

Белая птица описывает еще несколько кругов над головой Лаллы, а потом быстро исчезает, уносимая ветром в сторону реки.

А Лалла долго еще сидит на берегу одна, только ветер звенит у нее в ушах и рокошет море.

В последующие дни никто ни о чем не заговаривал с Лаллой, и мужчина в серо-зеленом костюме больше не появлялся. Маленький транзистор успел сломаться, а консервы были съедены. Одно только зеркало с электрической подсветкой в пластиковой рамке продолжало стоять на том самом месте, где его поставили, — на глинобитном полу у двери.

Все эти ночи Лалла плохо спала, вздрагивала от малейшего шороха. Ей вспоминались рассказы о девушках, которых ночью похищали силой, потому что они не хотели выходить замуж. Каждое утро Лалла вставала раньше всех, едва забрезжит рассвет, умывалась и шла за водой к колонке. Так она могла наблюдать за всеми, кто приходил в Городок.

А потом на их край обрушился ветер злосчастья, он дул много дней подряд. Станный это был ветер, ветер злосчастья, он прилетал сюда всего раз или два в году, на исходе зимы или осенью. И самое странное, что, когда он поднимался, люди не сразу его замечали. Дул он вначале не очень сильно, а порой и вовсе утихал, и о нем забывали. Он не похож был на ледяной, штормовой ветер, когда в самый разгар зимы море вздымает разъяренные волны. Не походил он и на жгучий, иссушающий ветер, прилетающий из пустыни, от которого вспыхивают отблески в глубине домов, который шуршит

песком по железным и картонным крышам. Нет, ветер злосчастья был тихий ветерок — покружит, налетит порывом разок-другой, а потом наваливается всей тяжестью на крыши домов, на плечи и грудь людей. Когда дует этот ветер, воздух становится жарче и тяжелее, и кажется, будто все окутано серой мглой.

Когда поднимается этот мягкий, ленивый ветер, почти повсюду люди, в особенности старики и дети, начинают болеть и многие умирают. Вот отчего этот ветер прозвали ветром злосчастья.

Когда в этом году он задул над Городком, Лалла сразу его узнала. Она увидела серые тучи пыли, движущиеся по равнине, заставшие пеленой море и устье реки. Несмотря на жару, люди выходили теперь из домов только в бурнусах. Исчезли осы, попрятались собаки, забившись в укромные уголки у стены и уткнувшись мордой в песок. На душе у Лаллы стало грустно, она думала о тех, кого ветер унесет с собой. А когда она услышала, что старый Наман заболел, сердце ее сжалось, ей вдруг стало нечем дышать. Никогда прежде с ней такого не бывало, ей пришлось опуститься на землю, чтобы не упасть.

А потом она пошла, побежала бегом к дому рыбака. Она была уверена, что увидит там много людей, которые пришли, чтобы помочь старику, ухаживать за ним, но Наман был совсем один, он лежал на соломенной циновке, подложив под голову руку. Его била такая дрожь, что у него стучали зубы, и ему даже не хватило сил приподняться на локте, когда Лалла вошла в его дом. Наман только слабо улыбнулся, и глаза его блеснули ярче, когда он узнал девочку. Глаза рыбака по-прежнему были цвета морской волны, но худое лицо стало серовато-белым, и ей было страшно.

Лалла садится рядом с ним и начинает говорить почти шепотом. Обыкновенно это он рассказывает ей разные истории, а она слушает, но сегодня все перевернулось. Лалла рассказывает ему что на ум взбредет, чтобы утишить свою тревогу и обогреть душу старика. Она рассказывает ему то, что когда-то рассказывал ей он сам, о его путешествиях в города Испании и Франции. Говорит о них так, точно сама видела все эти города, сама совершила все эти долгие путешествия. Она рассказывает ему об улицах Альхесираса, узких и кривых улочках близ порта, куда налетает морской ветер и где стоит запах рыбы, потом о вокзале и платформах, выложенных голубыми плитками, об огромных виадуках, переброшенных через овраги и реки. Рассказывает об улицах Кадиса, о садах, пестреющих яркими цветами, о высоких пальмах, выстроившихся перед белыми дворцами, об улицах, где мельтешат толпы людей, где мимо огромных зданий, похожих на мраморные горы, мимо зеркальных витрин снуют черные машины и автобусы. Она рассказывает так, как если бы прогуливалась там сама, об улицах всех этих городов: Севильи, Кордовы, Гранады, Альмадена, Толедо, Аранхуэса — и о Мадриде, таком громадном, что в нем можно заблудиться и проплутать несколько дней, о городе, куда стекаются люди со всех концов земли.

Старый Наман слушает Лаллу, не произнося ни слова, не шевелясь, но его светлые глаза лихорадочно блестят, и Лалла чувствует, что ему приятно слушать ее рассказы. Когда она на минуту умолкает, ей становится слышно, как дрожит старик и какое у него свистящее дыхание, и она торопливо продолжает свой рассказ, чтобы не слышать больше этих зловещих звуков.

Теперь она рассказывает о большом французском городе Марселе, о его порте, о громадных причалах, где бросают якорь корабли из всех стран мира; о громадных, похожих на крепости грузовых судах, с высокими палубными надстройками и мачтами раскидистой деревьев, о белоснежных теплоходах с

тысячами окон, странными названиями и таинственными флагами, о кораблях, названных именами городов: Одесса, Рига, Берген, Лимасол. На улицах Марселя теснится, движется многолюдная толпа, люди без конца снуют взад и вперед сквозь двери огромных магазинов, толпятся перед кафе, ресторанами, кинотеатрами, а черные машины катят по проспектам, уходящим в бесконечную даль, поезда пролетают по мостам, взмывшим выше крыш, а самолеты отрываются от земли и медленно кружат в сером небе над домами и пустырями. В полдень в церквях начинают звонить колокола, и перезвон их разливается по улицам, эспланадам и под сводами подземных туннелей. Ночью город озаряют огни, прожектора обшаривают море своими лучами, вспыхивают автомобильные фары. Узкие улочки безмолвны, вооруженные американскими ножами бандиты, притаившись в темных подворотнях, подстерегают запоздалых прохожих. Иногда на пустырях или на набережных, в тени уснувших грузовых судов, происходят кровавые побоища.

Лалла рассказывает так долго и голос у нее такой тихий, что старый Наман засыпает. Во сне он перестал дрожать, и дыхание его стало более ровным. Теперь Лалла может наконец выйти из дома рыбака на свет, от которого режет глаза.

Многие люди страдают от ветра злосчастья — бедняки и совсем маленькие дети. Проходя мимо их домов, Лалла слышит стоны, жалобные причитания женщин, плач детей и понимает: наверное, и там кто-то при смерти. Лалла печальна, ей хотелось бы унести далеко-далеко отсюда, за море, в города, которые ее воображение подарило старому Наману.

Но человек в серо-зеленом костюме пришел снова. Он, конечно, и слыхом не слыхал, что над лачугами из досок и картона носится ветер злосчастья, а если и знал бы, что ему до того: таких как он ветер злосчастья не берет. Несчастья, беды обходят их стороной.

Он снова пришел в дом Аммы и у дверей столкнулся с Лаллой. Увидев его, она испугалась и вскрикнула: уверена была, что он придет, и со страхом ожидала этой минуты. Человек в серо-зеленом костюме бросил на нее странный взгляд, пристальный и жесткий, как у людей, привыкших повелевать. Кожа на лице у него белая и сухая, с синеватой тенью бороды на щеках и подбородке. Он принес с собой новые свертки с подарками. Лалла отстраняется, когда он проходит мимо нее, и глядит на свертки. Гость по-своему истолковал ее взгляд — шагнул к ней, протягивая подарки. Но Лалла отскакивает в сторону проворно, как только может, и бросается бежать без оглядки, пока не чувствует под ногами песчаную тропинку, ведущую к каменистым холмам.

Лалла не замечает, как кончается тропинка. Со слезами на глазах, со сжимающимся сердцем спешит она изо всех сил. Здесь солнце всегда палит сильнее, точно ты оказался ближе к небу. Но зато тяжелый, давящий ветер не дует на этих холмах цвета кирпича и мела. Жесткие камни щетинятся на разломах острыми гранями, черные кусты покрыты колючками, на которых кое-где повисли клочья овечьей шерсти, даже трава здесь режет как нож. Лалла долго идет по холмам. Одни взгорки высокие, крутые и скалистые, склоны их напоминают стены, другие совсем низкие, словно куча гальки, которую набросали ребяташки.

Каждый раз как Лалла приходит сюда, ей чудится, будто она попадает совсем в другой мир, словно время и пространство растягиваются, а пылающий свет небес, проникая в легкие, расширяет их, и тело у нее как у великанши, которая будет жить долго-долго и тихо-тихо.

И вот, теперь уже неторопливо, Лалла поднимается по высохшему руслу

реки к большому каменному плато, где обитает тот, кого она зовет Ас-Сир.

Она сама хорошенько не понимает, почему идет туда; похоже, она раздвоилась: одна Лалла, ослепленная страхом и гневом, бежит от ветра злосчастья, сама не зная куда; другая знает, куда держит путь, и направляет свои шаги к обиталищу Ас-Сира. И Лалла поднимается к каменистому плато, чувствуя какую-то пустоту в голове, ничего не понимая. Босые ноги ступают по старым следам, которых не смогли стереть ни ветер, ни солнце.

Медленно взбирается она на плато. Солнце обжигает ей лицо и плечи, печет ноги и руки.

Но она почти не чувствует ожогов. Солнечный свет приносит освобождение, стирает воспоминания, и память становится чистой, как белый камень. Солнечный свет смывает следы ветра злосчастья, испепеляет болезни, проклятия.

Лалла идет вперед, зажмурившись от слепящих переливов света, платье липнет к ее вспотевшему телу на животе, на груди, на спине. Наверное, никогда еще не заливало землю такое море света, и никогда еще Лалла не жаждала его так, как сейчас, словно она явилась из сумрачной долины, где всегда царят смерть и мгла. Воздух здесь неподвижен, он дрожит и трепещет, и кажется, будто слышишь, как рокочут волны света, странная музыка, похожая на песню пчел.

Когда Лалла оказывается на огромной пустынной равнине, ветер снова налетает на нее, едва не сбивает с ног. Это холодный, резкий, ни на минуту не стихающий ветер, он набрасывается на нее, и она дрожит в своей промокшей от пота одежде. Ослепительный свет кажется еще ярче под ветром, вспыхивает звездами на вершинах каменных глыб. Здесь нет ни травы, ни деревьев, ни родников — испокон века только солнце и ветер. Здесь нет дорог, не видно следов человека. Лалла бредет наугад к середине плато, туда, где живут одни скорпионы и сколопендры. Сюда не ступала ничья нога, сюда не заходят даже пастухи из пустыни, и, если коза или овца забредет сюда ненароком, они бегут следом за ней со свистом и, осыпая ее камнями, заставляют вернуться назад.

Лалла медленно бредет, почти совсем зажмурившись, ступая на цыпочках босыми ногами по раскаленным камням. Она словно очутилась в другом мире, совсем близко от солнца, и с трудом удерживает равновесие, вот-вот упадет. Она движется вперед, но душа ее как бы отделилась от нее, вернее, все ее существо опережает тело в его движении — она вся живет в прищуренном взгляде, в своих пяти настороженных чувствах, и только тело ее отстаёт, еще медлит на острых камнях.

Она нетерпеливо ждет того, кто должен явиться ей, она знает: он придет, это неотвратимо. Едва она пустилась бежать, спасаясь от человека в серо-зеленом костюме, спасаясь от смерти старого Намана, она уже знала, что кто-то ждет ее на безлюдном каменном плато. Это воин пустыни, лицо которого скрыто синим покрывалом.

Лалле знаком только его взгляд, острый как клинок. Он взглянул на нее с вершины пустынных холмов, и взгляд его достиг ее, проник в душу и неодолимо повлек сюда.

Теперь она неподвижно замирает посреди громадной каменистой равнины. Вокруг нее нет ничего — только нагромождения камней, пылинки света и яркое, безоблачное, оголенное небо.

Лалла стоит не шевелясь на большой каменной чуть наклонной плите, жесткой, сухой плите, которую никогда не обтачивал никакой ручеек. Лучи солнца опаляют ее, трепещут на лбу, на груди, внутри нее, эти лучи и есть

взгляд.

Вот-вот появится Синий Воин. Ему уже пора быть здесь. Лалле кажется, она слышит скрип его шагов по песку, ее сердце колотится часто-часто. Вихри белого солнечного света обволакивают ее, вспышками пламени вьются вокруг ног, запутываются в волосах, шершавый его язык обжигает губы и веки. Соленые слезы струятся по ее щекам, попадая в рот, соленый пот каплями стекает из-под мышек, щекоча бока, ручейками сбегая по шее, между лопатками. Синий Воин пустыни, чей взгляд опалает, как солнечные лучи, вот-вот явится.

Но Лалла по-прежнему стоит одна посреди пустынной равнины, на чуть наклоненной плите. Ее обжигает холодный ветер, жестокий ветер, которому ненавистны люди, он бушует здесь, он хочет смести ее с лица земли, превратить в пыль. Здешний ветер жалуется только скорпионов и сколопендр, ящериц и змей, на крайний случай — лисиц огненной масти. Но Лалла его не боится, она знает: откуда-то из нагромождения скал, а может, с неба на нее устремлен взгляд Синего Человека, того, которого она зовет Ас-Сир, Тайна, потому что он скрывается от всех. Он должен, должен прийти, его взгляд проникнет в самую глубь ее существа и даст ей силы бороться с человеком в серо-зеленом костюме и со смертью, подстерегающей Намана; он превратит ее в птицу, и она взмоет в поднебесье и, быть может, тогда наконец догонит принца, большую белую чайку, которая неутомимо кружит над морем.

И когда этот взгляд вдруг настигает ее, в голове Лаллы поднимается вихрь, словно на нее обрушился мощный световой вал. Взгляд Ас-Сира полыхает ярче огня, голубым опаляющим светом, светом далеких звезд.

На несколько мгновений Лалла перестает дышать. Ее глаза расширены. Она опускается на землю, смежив веки, запрокинув голову от невыносимой тяжести проникающего в нее потока света, который и ее самое делает тяжелой как камень.

Он пришел. Снова явился, бесшумно скользя над острыми камнями, в одежде древних воинов пустыни, в белом шерстяном бурнуса, а на лице покрывало, синее, как ночная мгла. Лалла смотрит во все глаза на того, кто возникает в ее грезе. Она видит его руки цвета индиго, видит свет, излучаемый его взглядом. Он молчит. Он всегда молчит. Он умеет говорить взглядом, ведь он живет в мире, где нет нужды в человеческих словах. Вокруг его белого бурнуса клубятся исполинские вихри золотого света, словно ветер взметнул тучи песка. Но слышит Лалла лишь стук собственного сердца, которое бьется очень медленно и где-то очень далеко.

Лалле не нужны слова. Ей не надо задавать никаких вопросов, не надо даже думать. Закрыв глаза, съежившись в пыли, она чувствует на себе взгляд Синего Человека, жар его пронизывает все ее тело, трепещет в каждой клеточке. Вот это и есть самое непостижимое. Жар его взгляда проникает в самые потаенные уголки ее существа, изгоняя горе, лихорадочную тревогу, растворяя сгустки, затрудняющие ток крови и причиняющие боль.

Ас-Сир недвижим. Теперь он стоит прямо перед ней, а волны света обтекают его, скользят вокруг его бурнуса. Что он делает? Страх Лаллы рассеивается, она чувствует, как жар охватывает ее все сильнее, словно лучи пронзили ее лицо, осветили все ее тело изнутри.

Она читает во взгляде Синего Человека. И вот вокруг нее в бесконечности простерлась пустыня, она сверкает и волнится, вспыхивают снопы искр, ленивые волны барханов уходят куда-то в неизведанное. Лалла видит селения, большие белые города с башнями, стройными, как стволы пальм, красные дворцы, утопающие в зелени, окруженные лианами и гигантскими

цветами. Она видит большие озера, в которых вода синяя, как небо, такая прекрасная, такая чистая вода, что подобной ей не сыскать на всей земле. Лалла грезит, закрыв глаза, запрокинув голову навстречу солнечным лучам, обхватив руками колени. Но греза эта родилась вне ее самой, она жила здесь, на этом каменном плато, задолго до появления Лаллы, а теперь Лалла вошла в эту грезу словно во сне, и та распахнула перед ней свой простор.

Куда ведет эта дорога? Лалла не знает куда, но идет по ней, уносимая течением, увлекаемая ветром пустыни, то обжигающим ее губы и веки, ослепляющим и свирепым, то вдруг холодным и ленивым, этот ветер губит людей и низвергает вниз обломки скал. Этот ветер устремляется в бесконечность, за черту горизонта, в глубину небес, туда, где застыли созвездия, к Млечному Пути, к Солнцу.

Ветер несет ее по бесконечной дороге, по огромному каменному плато, где кружат, зыбятся вихри света. Пустыня расстилает перед ней свои обнаженные, песчаного цвета равнины, испещренные трещинами, морщинами, подобные увядшей старческой коже. Взгляд Синего Человека рассеян повсюду, до самой отдаленной дали, и как бы его глазами видит теперь Лалла солнечный свет. Кожей чувствует она ожог его взгляда, ветер, сушь, на губах у нее привкус соли. Она видит очертания барханов, громадных уснувших животных, и высокие черные скалы Хамады, и огромную пересохшую долину с красной землей. В этом краю нет людей, нет городов, ничто не задерживается здесь, ничто не тревожит безмолвия пустыни. Здесь только камень, песок и ветер. Но Лалла счастлива: она узнаёт каждую мелочь, каждую подробность представшей перед ней картины, каждый иссушенный, иссохший кустик на огромной долине. Словно когда-то, устремив глаза на далекий в зыбщемся мареве горизонт, она исходила ее всю босыми ногами, которые жгла раскаленная земля. Сердце ее бьется быстрее и громче, вот она видит впереди знаки, затерянные следы, сломанные веточки, кустарник, колеблемый ветром. Она ждет, она знает: она почти у цели, она вот-вот дойдет. Взгляд Синего Человека ведет ее через пропасти и обвалы, вдоль пересохших рек. И вдруг внезапно она слышит странную, невнятную, гортанную песню, которая звучит где-то вдали, рождаясь словно бы в недрах самого песка, сливается с неумолчным шорохом ветра среди камня, со звенящей мелодией лучей. Песня отзывается трепетом в груди Лаллы, она узнала: это песня Лаллы Хавы, которую пела Амма, это ее слова: «Настанет день, о да, настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций...» Но теперь Лалла не понимает слов, потому что поет их далекий-далекий голос, и поет он на языке шлехов. И однако песня идет к самому ее сердцу, и глаза Лаллы наполняются слезами, хотя она изо всех сил сжимает веки.

Музыка длится долго, она так долго баюкает Лаллу, что тени камней на песке пустыни становятся длинными. И тут Лалла замечает в глубине безбрежной долины красный город. Совсем не похожий на те города, которые она знает, в нем нет ни улиц, ни домов. Этот город, слепленный из глины, разрушенный временем и ветром, похож на жилища термитов или ос. Над красным городом разлит изумительный свет, как бы образующий в освещенном неугасимой зарей небе нежный купол, чистый и ясный. Дома сгрудились вокруг колодца, высится несколько неподвижных деревьев и кусты белых акаций, похожих на статуи. Но явственней всего предстает перед Лаллой белая гробница на красной земле, простая, как яичная скорлупа. Кажется, именно отсюда и струится тот светоносный взгляд, и Лалла понимает: это и есть обитель Синего Человека.



Лалле в одно и то же время и жутко, и сладко. Словно что-то в ее душе вдруг сломалось, рухнуло и в нее проникла смерть, неизвестность. Все больнее жжет огонь пустыни, он разливается по жилам, опалает внутренности. Взгляд Ас-Сира грозен, мучителен, потому что пустыня несет с собой еще и страдание, она порождает и обрушивает на все вокруг голод, страх, смерть. Прекрасный золотистый свет, красный город, белая невесомая гробница, откуда исходит сверхъестественное сияние, таят в себе также беды, несчастье, запустение. Долгий взгляд, устремленный на Лаллу, исполнен скорби, потому что земля беспощадна и небо отринуло людей. Лалла неподвижна, она вся поникла, колени ее упираются в землю. Солнце опалает ей плечи и шею. Она не открывает глаз. На ее щеках, облепленных красной пылью, слезы оставили две бороздки.

Когда наконец она поднимает голову и открывает глаза, взгляд ее затуманен. Она делает над собой усилие, чтобы вернуться к окружающему. Сначала перед ней возникают заостренные линии холмов, потом — пустынное пространство равнины, где нет ни травы, ни деревьев — только солнце и ветер.

Нетвердо ступая, пускается она в обратный путь, медленно сходит по тропинке в долину, к морю, к Городку из досок и картона. Тени становятся длиннее, солнце близится к горизонту. Лалла чувствует, что ее обожженное пустыней лицо опухло; никто теперь не узнает меня, думает она, я стала такой, как Хартани.

Когда она спускается вниз, к устью реки, в Городке уже совсем темно. Электрические лампочки желтыми точками прорезывают тьму. По дороге движутся грузовики, с тупой неумолимостью выбрасывая перед собой снопы белых лучей от фар.

Лалла то бежит бегом, то еле-еле плетется, словно сейчас остановится, повернется и умчится назад. В темноте тут и там звучит механическая музыка радиоприемников. Догорают огни покинутых жаровен, в домиках из плохо пригнанных досок женщины и дети, прячась от ночной сырости, уже закутались в одеяла. Изредка слабый порыв ветерка подхватит пустую консервную банку или погромыхает железной крышей. Собаки попрятались кто куда. Темное небо над Городком усеяно звездами.

Лалла бесшумно скользит между домами, она думает о том, что никому здесь не нужна, без нее все идет своим чередом, словно она уехала отсюда много лет назад, словно вообще никогда не существовала.

Вместо того чтобы повернуть к дому Аммы, Лалла идет на другой конец Городка, к лачуге старого Намана. Ее знобит от ночной сырости, и колени у нее дрожат, потому что она ничего не ела со вчерашнего дня. Там, наверху, на каменном плато, день длился так долго, что Лалле кажется: она уехала отсюда много дней, а может, и месяцев назад. Она словно бы с трудом узнаёт улицы Городка, дощатые бараки, голос радиоприемников, плач детей, запах мочи и пыли. И вдруг к ней приходит мысль: а может, она и впрямь провела на каменном плато много месяцев, которые показались ей одним бесконечным днем? Тут она вспоминает о старом Намане, и сердце ее сжимается. Несмотря на усталость, она пускается бегом по безлюдным улочкам Городка. Услышав, как она бежит, собаки глухо ворчат и тявкают разок-другой. Но вот и дом Намана, сердце ее сильно колотится, она с трудом переводит дыхание. Дверь в лачугу приоткрыта, света там нет.

Старый Наман все так же лежит на циновке, как и тогда, когда она уходила. Он еще дышит, очень медленно, со свистом, большие, широко открытые глаза устремлены во тьму. Лалла склоняется над ним, но он не

узнает ее. Открытый рот дышит с таким усилием, что губы уже не могут сложиться в улыбку.

«Наман... Наман...» — шепчет Лалла.

У старого Намана нет больше сил. Ветер злосчастия вселил в него лихорадку, ту, что свинцом наливает тело и голову и лишает аппетита. Быть может, ветер унесет его с собой навсегда. Лалла в тоске склонилась к лицу рыбака.

«Ты ведь не умрешь сейчас? Не умирай, поживи еще», — просит она.

Ей так хочется услышать голос Намана, хочется, чтобы он еще раз рассказал ей про белую птицу, заколдованного морского принца, или про камень, дарованный людям архангелом Гавриилом и почерневший от их грехов. Но Наман ничего больше не может рассказать, его сил едва хватает, чтобы дышать, чтобы вздымалась грудная клетка, его словно придавило невидимое бремя. И кажется, что его худое тело, влажное от болезненного пота и мочи, упало на землю и разбилось.

Лалла слишком устала, чтобы рассказать ему еще что-нибудь, чтобы снова описывать то, что находится за морем, эти испанские и французские города.

Поэтому она просто садится возле старика и смотрит в полуоткрытую дверь на звездную ночь. Она вслушивается в его свистящее дыхание, слышит злобные завывания ветра, перекатывающего консервные банки и гроыхающего железными крышами. И вдруг сразу засыпает, сидя прямо на полу, уткнувшись головой в колени. Хриплое дыхание старого Намана будит ее по временам, и тогда она спрашивает: «Ты еще не умер? Ты еще жив?»

Он не отвечает, но он не спит, его посеревшее лицо обращено к двери, а блестящие глаза кажутся незрячими, точно они видят что-то за пределами здешнего мира.

Лалла пытается бороться со сном: она боится того, что может случиться, если она заснет. Она как рыбаки, которых в бурю в непроглядной тьме унесло далеко от берега, их подкидывают волны, их крутят смерчи. Им нельзя спать: если они заснут, морская пучина затянет, поглотит их. Лалла противится сну, но глаза ее сами собой закрываются, она чувствует, что падает навзничь. И долго плывет, не зная куда, уносимая прерывистым дыханием старого Намана.

Внезапно, еще до рассвета, она просыпается как от толчка. Она смотрит на старика, который вытянулся на земляном полу, склонив к плечу успокоившееся лицо. Теперь он лежит совсем бесшумно, он перестал дышать.

Ветер за дверью стих. Он больше не угрожает людям. Все дышит покоем, будто на свете не было и нет смерти.

---

Когда Лалла решила уйти из дому, она никому не сказала об этом ни слова. А уйти она решила потому, что человек в серо-зеленом костюме еще не раз приходил к Амме, и каждый раз он смотрел на Лаллу блестящими, жесткими, как черные камешки, глазами, садился на сундучок Лаллы Хавы и пил мятный чай. Лалла не боялась его, но знала: если она не уйдет, в один прекрасный день он силой уведет ее в свой дом, чтобы сделать женой, потому что у него богатство и власть и он не любит встречать непокорство.

В то утро она вышла из дому до рассвета. Даже не взглянула на спящую под одеялом в глубине дома Амму. С собой взяла только кусочек синего полотна, в который завернула ломоть черствого хлеба и немного сухих

фиников, да золотой браслет, принадлежавший ее матери.

Она вышла бесшумно, не разбудив даже собаку. Ступала босыми ногами по холодной земле, пробираясь между рядами спящих домов. Небо стало уже белесоватым — близится рассвет. С моря наплывает туман, его большое мягкое облако поднимается вдоль реки, распростерши две изогнутые руки, точно огромная птица с серыми крыльями.

На мгновение Лалле захотелось подойти к лачуге Намана-рыбака, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Наман единственный, с кем Лалле было бы жаль расстаться. Но она боится опоздать и идет прочь от Городка по козьей тропе к каменистым холмам. Когда она начинает карабкаться по уступам, холодный ветер пробирает ее до костей. Здесь так же безлюдно. Пастухи еще спят в своих сплетенных из веток шалашах возле загонов, в первый раз Лалла всходит на холмы, не слыша их пронзительного свиста. Ее это немного пугает, словно бы ветер преобразил землю в пустыню. Но вот мало-помалу из-за холмов появляется солнце, красно-желтое пятно, к которому еще примешивается серый сумрак ночи. Лалла радуется солнцу, она решает, что когда-нибудь потом доберется туда, в то место, откуда небо и землю затопляет свет ранней зари.

Она взбирается по уступам, а мысли ее стремительно насканивают друг на друга. Она ведь знает, что навсегда покинула Городок и больше не увидит всего, что так любила: ни огромной безводной равнины, ни широкого белого берега, на который чередой набегают волны; ей грустно, когда она думает о неподвижных дюнах, где так хорошо было сидеть, глядя, как по небу плывут облака. Больше она не увидит ни белой птицы, морского принца, ни старого Намана, сидящего в тени фигового дерева возле перевернутой кверху днищем лодки. Она замедляет шаг, на мгновение ей захотелось оглянуться. Но перед глазами у нее безмолвные холмы, острые камни, на которых начинают играть солнечные лучи, низкорослый колючий кустарник, на котором подрагивают капельки павшей с неба росы, и легкая мошкара, подхваченная струей ветра.

И она идет дальше, не оборачиваясь, прижимая к груди узелок с хлебом и финиками. Но вот тропинка обрывается, дальше уже не встретишь людей. Из земли торчат острые камни, и, чтобы добраться до самого высокого холма, приходится перепрыгивать с уступа на уступ. Там, наверху, ее ждет Хартани, но его еще не видно. Быть может, он спрятался в пещере с той стороны, где отвесная скала и откуда видна вся долина до самого моря. А может, он где-нибудь совсем рядом, укрывается за выжженным кустиком, вполз, точно ящерица, по самую шею в каменную расщелину.

Хартани всегда настороже, как дикие собаки, готовый отскочить в сторону, готовый умчаться. Быть может, сегодня он передумал и не захочет пуститься в дальний путь? А между тем вчера Лалла сказала ему, что придет, и показала на бескрайний простор, на громадную меловую стену, которая как бы подпирает небо там, где начинается пустыня. Его глаза блеснули ярче, ведь он всегда мечтал о пустыне, с самого раннего детства, ни на минуту не оставляя мысли о ней. Это видно по тому, как он смотрит на горизонт: взгляд пристальный, лицо напряжено. Он никогда не садится, всегда стоит, точно готовится к прыжку. Это он показал Лалле дорогу в пустыню, дорогу, где теряются все следы, откуда никто еще не возвратился, и небо над нею — такое чистое и такое прекрасное.

Солнце уже встало, огненным ослепительным диском появляется оно перед Лаллой и, медленно разрастаясь, ползет над хаосом камней. Никогда еще оно не казалось ей таким прекрасным. Невзирая на боль, на то, что на глазах выступают слезы и катятся по щекам, Лалла глядит на него в упор, не

мигая, как, по рассказам старого Намана, глядят морские принцы. И солнечный свет проникает в нее, достигает самых сокровенных глубин ее существа, и прежде всего — ее сердца.

Но вот уже исчезают малейшие следы тропинки. Лалле приходится искать свой путь среди скалистых уступов. Она перепрыгивает с камня на камень через пересохшие ручьи, прижимается к отвесным склонам. Огромное яркое пятно взошедшего солнца слепит ей глаза, и она бредет почти наугад, чуть подавшись вперед, чтобы не упасть. Один за другим минует она холмы и наконец ступает на широкое каменистое нагорье. Но и здесь никого нет. Впереди насколько хватает глаз тянутся всё такие же иссохшие камни с редкими пучками молочая да кактусов. Это солнце опустошило землю, выжгло и высушило ее настолько, что остались одни только белые камни да кустарники. Больше Лалла не смотрит на солнце в упор: оно уже слишком высоко в небе и в одно мгновение выжгло бы ей глаза. Небо пылает. Оно все синее, полыхающее пламенем. Лалла жмурится изо всех сил и смотрит прямо перед собой. Чем выше поднимается солнце, тем сильнее разбухают, вбирая его свет, все предметы на земле. Здесь не раздается ни звука, но временами кажется, будто слышишь, как трещат, расширяясь, камни.

Лалла идет долго. Как долго? Наверное, несколько часов. Идет, не зная куда — просто в сторону, противоположную той, где ее тень, за черту горизонта. Там высятся красные горы, они словно парят в небе, там деревни и, быть может, река, там озера, наполненные синей, как небо, водой.

И вдруг откуда ни возьмись перед ней вырос Хартани. Он стоит неподвижно, в обычном своем грубошерстном бурнусе и белой чалме. Когда Лалла подходит к нему, его черное лицо озаряется улыбкой.

«О Хартани! Хартани!»

Лалла прижимается к нему, вдыхая знакомый запах пота, который идет от его пропыленной одежды. Он тоже прихватил с собой немного хлеба и фиников во влажной тряпиче, привязанной к поясу.

Лалла развязывает свой узелок и делится с ним хлебом. Они едят, не присаживаясь, второпях, потому что давно уже проголодались. Пастух оглядывается по сторонам. Глаза его ощупывают каждую точку в окрестном пейзаже, он похож на хищную птицу с немигающим взглядом. Вдали на горизонте, в той стороне, где высятся красные горы, он указывает Лалле на какое-то пятнышко. Потом подносит к губам сложенную пригоршней ладонь: там вода.

Они снова пускаются в путь. Первым идет Хартани, легко перепрыгивая с камня на камень. Лалла старается шагать за ним след в след. Она все время видит впереди легкий и хрупкий силуэт пастуха, кажется, он не идет, а танцует на белых глыбах. Лалла смотрит на него, как глядят на язычок пламени, на солнечный зайчик, и ноги ее сами следуют ритму его шагов.

Солнце палит теперь немилосердно, оно давит на голову и плечи Лаллы, терзает ей внутренности. Кажется, что свет, проникший в нее утром, теперь начал обжигать, растекаться по всему телу, его длинные мучительные волны захлестывают ноги и руки, затопляют черепную коробку. Жар иссушающий, пыльный. Ни одной капельки пота не выступило на теле Лаллы, ее синее платье, касаясь живота и ног, трещит и высекает искры. В глазах высохли слезы, корочка соли образовала острые, похожие на песчинки кристаллики в уголках век. Губы стали сухими и жесткими. Она проводит по ним кончиками пальцев и думает, что рот у нее стал как у верблюда, скоро она сможет, не ощущая боли, есть кактусы и чертополох

А Хартани продолжает, не оглядываясь, перепрыгивать с уступа на уступ.

Его легкий белый силуэт все удаляется и удаляется, он похож на бегущую без остановки, без оглядки молодую антилопу. Лалла хочет его догнать, но у нее больше нет сил. Шатаясь и неотрывно глядя вперед, она бредет наугад среди хаоса камней. Ее исцарапанные ступни кровоточат. Она то и дело падает, колени у нее разбиты. Но боли она почти не ощущает. Она ощущает только беспощадный, льющийся со всех сторон свет. В этом сверканье ей чудится, что вокруг нее по камням скачут сотни животных: дикие собаки, козы, крысы, лошади, они совершают головокружительные прыжки. И еще здесь белые птицы, ибисы, птица-секретарь, лебеди, которые хлопают огромными пылающими крыльями, точно собираются взлететь, и кружатся в бесконечном хороводе. Лалла чувствует, как от веяния их крыльев шевелятся волосы у нее на голове, в густом воздухе она улавливает шелест их оперения. И она оборачивается, смотрит назад, надеясь увидеть всех этих птиц, зверей, даже льва, которого заметила краешком глаза. Однако стоит ей взглянуть на них в упор, как они тают, исчезая, но вновь появляются за ее спиной.

Она почти потеряла из виду Хартани. Его легкий силуэт танцует на белых камнях, словно оторвавшаяся от земли тень. Лалла больше не пытается идти по его следам. Она даже не различает уже неподвижную массу красных гор в небе за равниной, Да и движется ли она вперед? Ее босые ноги натываются на камни, кровоточат, она проваливается в ямы. Кажется, что бесконечная дорога, которую она уже прошла, куда-то исчезает, словно речная вода, скользящая между ног. Это все солнечный свет, он изливается на огромную пустынную равнину, струится вместе с ветром, очищая пространство. Свет журчит, как вода. Лалла слышит его напев, но не может утолить им жажду. Свет струится из самой середины неба, он вспыхивает на земле в глыбах гипса, в пластах слюды. Время от времени среди охристой пыли, среди белых камней мелькнет вдруг огненный камень, цвета раскаленного угля, острый, как клык. Лалла идет как замороженная, глядя на этот сверкающий камень, он придает ей силы, словно это тайный знак, оставленный Ас-Сиром, чтобы указать ей путь. А то вдруг вспыхнет пластинка ослепительной, как золото, слюды, блестки которой напоминают соты, и Лалле чудится, будто она слышит, как жужжит пчелиный рой. Но иногда на пыльной земле попадает простой кругляш — серый, матовый камень, обыкновенный морской голыш, и Лалла не может оторвать от него взгляд, поднимает его, сжимает в руке, словно ищет в нем спасения. Горячий камень весь испещрен белыми жилками, образующими в центре дорожку, от которой отходят другие дорожки, тонкие, как детские волоски. Сжимая камень в кулаке, Лалла идет вперед. Солнце уже начинает клониться к другому краю белой равнины. Время от времени порывы вечернего ветра взметаю столбы пыли, скрывая от глаз высокую красную гору у подножия неба.

«Хартани! Хартан-а-ни!» — кричит Лалла. Она рухнула на колени среди камней: ноги отказываются ей служить. Раскинувшееся над ней пустынное небо еще неогладнее, чем прежде, еще пустынее. И эхо молчит.

Все контуры вокруг такие чистые и четкие. Лалла различает каждый камешек, каждый кустик почти до самого горизонта. Нигде ни души. Ей хочется увидеть ос, хорошо бы, думает она, посмотреть, как они плетут невидимые узоры над головой ребятишек. Ей хочется увидеть какую-нибудь птицу, пусть даже ворона, пусть грифа. Но вокруг ничего, никого. Только за спиной ее собственная длинная черная тень, похожая на ров, прорытый в слишком белой земле.

И тогда Лалла ложится на землю и думает: я скоро умру, потому что тело ее обессилело, а солнечный огонь выжег ее легкие и сердце. Мало-помалу

свет начинает слабеть, небо затягивается дымкой. Но, может, это ей от слабости кажется, что солнце меркнет?

И вдруг перед ней снова возник Хартани. Он стоит как птица, сохраняя равновесие, на одной ноге. Потом подходит ближе, наклоняется над ней. Лалла цепляется за его бурнус, изо всех сил сжимает грубошерстную ткань, только бы не выпустить ее, так что пастух едва не падает. Он присаживается возле нее на корточки. На смуглом лице ярко блестят выразительные глаза. Хартани дотрагивается до лица Лаллы, до ее лба, глаз, проводит пальцем по растрескавшимся губам. Потом указывает на какую-то точку на каменистой равнине в той стороне, где садится солнце, там, где у скалы стоит дерево. Это вода. Близко? Далеко ли? Воздух так прозрачен, что не угадаешь. Лалла делает усилие, чтобы подняться, но тело ее не слушается.

«Хартани, я больше не могу... — шепчет Лалла, показывая на свои израненные ноги, которые она поджала под себя. — Уходи! Брось меня, уходи!»

Пастух по-прежнему сидит на корточках возле нее, он в нерешительности. Может, и вправду уйдет? Лалла молча глядит на него, ей хочется уснуть, исчезнуть. Но Хартани обхватывает руками тело Лаллы и медленно отрывает ее от земли. Лалла чувствует, как дрожат от напряжения мускулы его ног, она обвивает руками его шею, стараясь слить тяжесть своего тела с телом пастуха.

Хартани продолжает свой путь по камням, прыгая по ним так быстро, словно не обременен никакой ношей. Он бежит на своих длинных подрагивающих ногах, карабкаясь по склонам оврагов, перемахивая через расселины. Вихри света и пыльный ветер улеглись на каменистой равнине, но с красного горизонта еще льются тихие струйки, высекающие искры из кремния. Впереди, там, где солнце пало на землю, образовалась огромная световая воронка. Лалле слышно, как в жилке на шее Хартани бьется его сердце, слышно, как тяжело он дышит.

Еще дотемна успели они добраться до той скалы и того дерева, где была вода. Это обыкновенная выбоина в камне, заполненная серой водой. Хартани осторожно опускает Лаллу на землю у самой воды и дает ей напиться из своей пригоршни. Вода холодная, чуть терпкая. Потом пастух и сам наклоняется над водой и долго пьет, уткнув в нее лицо.

Они ждут темноты. Здесь она наступает сразу, словно опускается занавес — ни облаков, ни дымки, никакого красочного зрелища. Словно бы не осталось уже ни воздуха, ни воды — одно только солнце, которое гасят горы.

Лалла лежит на земле, прижавшись к Хартани. Она не шевелится. Израненные ноги ноют, кровь на ступнях запеклась коркой, как черная подошва. Временами от ступней по всей ноге, по костям и мышцам до самого паха, растекается боль. Лалла тихонько стонет, стиснув зубы, чтобы не кричать, и впивается пальцами в тело пастуха. Он не глядит на нее, он смотрит на горизонт, туда, где чернеют горы, а может, он смотрит на огромное ночное небо. Лицо его в сумраке стало совсем темным. О чем он думает? Лалле так хотелось бы проникнуть в его душу, узнать, чего он хочет, куда идет... Не столько для него, сколько для себя самой она начинает говорить. Хартани слушает, как слушают собаки, сторожко подняв голову, ловя созвучия слогов.

Лалла рассказывает ему о человеке в серо-зеленом костюме, о жестких черных глазах, похожих на металлические буравчики, рассказывает о том, как сидела ночью возле Намана, когда на поселок дохнул ветер злосчастья.

«Теперь, — говорит она, — я выбрала в мужа тебя, никто больше не может похитить меня или силой привести к судье, чтобы на мне жениться...

Теперь мы будем жить вместе, и у нас будет ребенок, и никто тогда не захочет взять меня в жены. Понимаешь, Хартани? Даже если они нас схватят, я скажу, что ты мой муж и у нас будет ребенок, и тут они уже ничего не смогут поделаться. Им придется нас отпустить, и мы сможем уехать далеко-далеко на юг, в пустыню...»

Она не чувствует больше ни усталости, ни боли, а только опьянение свободой, среди этой каменистой равнины в ночной тиши. Она крепко сжимает в объятиях тело юноши, пока не сливается воедино запах их тел и не смешивается их дыхание. Юноша бережно овладевает ею, она слышит, как учащенно бьется у ее груди его сердце.

Обратив лицо к небу, Лалла глядит пристально, не отрываясь. Ночь, холодная и прекрасная, окутывает беглецов, окружает густой синевой. Никогда еще не видела Лалла такой прекрасной ночи. Там, в Городке, и даже на берегу моря между тобой и ночью всегда что-то стоит — пелена тумана или пыли. И ночь тускнеет от этой дымки, ведь рядом люди, они разводят огонь, готовят пищу, дышат. А здесь все чисто. Хартани вытянулся теперь рядом с ней, и оба закружились в бесконечном круговороте, вбирая мир расширившимися зрачками.

Кожа на лице Хартани такая гладкая, словно лоб и щеки его изваяны из отполированного камня. Небесный свод над ними медленно наполняется звездами, мириадами звезд. Они вспыхивают белыми бликами, мерцают, чертят в небе таинственные письмена. Два беглеца смотрят на них широко открытыми глазами, почти не дыша. Они чувствуют, как на лица их ложится узор созвездий, и кажется, вся их жизнь сосредоточилась теперь только в глазах, и они пьют сладостный свет ночи. Они ни о чем больше не думают, ни о пути в пустыню, ни о страданиях, которые ждут их завтра, ни о том, что будет после; они не ощущают ни ран, ни жажды, ни голода — ничего земного; они забыли даже о жгучем солнце, от которого почернели их лица и тела и которое опалило им глаза.

Звездный свет струится тихо, словно дождь. Он не шумит, не взбивает пыли, не поднимает ветра. Он заливает теперь всю каменистую равнину, и высохшее дерево возле источника становится легким и прозрачным, как дымка. Земля уже не плоская, как прежде, она вытянулась чуть вверх, словно нос лодки, и теперь, покачиваясь и колыхаясь, медленно плывет среди прекрасных звезд, а двое детей, чьи тела стали совсем невесомыми, прильнув друг к другу, отдаются любви.

Каждое мгновение рождается новая крошечная звезда, едва различимая в темноте, и невидимые нити ее света сливаются с другими. Целые чаши света, серого, красного, белого, пререзают густую синеву ночи, пузырьками застывают в ней.

Потом, когда Хартани спокойно засыпает, прижавшись к ней лицом, Лалла долго еще глядит на небесные знаки, на вспышки света, на все, что там бьется, трепещет или остается недвижимым, точно взгляд. Высоко в небе, прямо над ее головой, простирается огромный Млечный Путь — путь, который, по рассказам Намана, начертан кровью агнца архангела Гавриила.

Лалла впитывает в себя бледный свет, струящийся из звездных скоплений, и ей вдруг кажется, что она совсем близко от него, как в той песне, которую пел голос Лаллы Хавы, стоит ей протянуть руку, и она зачерпнет целую пригоршню прекрасного сверкающего света. Но она не шевелится. Ее ладонь лежит на шее Хартани, и она чувствует, как под пальцами пульсирует его кровь и тихо струится дыхание. Ночь успокоила лихорадку, порожденную зноем и сухью. Свет Галактики утишил голод, жажду, тревогу; на коже Лаллы,

точно капельки росы, запечатлелся след каждой небесной звезды.

Земля исчезла из их глаз. Двое детей, прильнувших друг к другу, плывут в просторе Вселенной.

---

Каждый день пройденной земли становилось немного больше. Караван разделился на три отряда, они шли в двух-трех часах перехода друг от друга. Отряд Лархдафа держался левее, ближе к отрогам Хоа, в направлении Сиди-эль-Хаш. На крайнем правом крыле отряд Саадбу, младшего сына великого шейха, шел вдоль высохшего русла Янг-Саккума, по долине Сегиет-эль-Хамра. В центре и чуть позади двигался Ма аль-Айнин со своими воинами верхом на верблюдах. А за ними, гоня впереди себя стада, тянулась толпа мужчин, женщин и детей, следовавших за огромным облаком красной пыли, которое клубилось впереди.

День за днем шли они в глубине огромной долины, а солнце над их головой совершало свой путь в обратном направлении. Был конец зимы, дожди еще не напоили землю. Почва в долине растрескалась и задубела, словно старая кожа. Даже сама ее краснота обжигала глаза и лица.

Утром, еще затемно, раздавался призыв к первой молитве. Потом начинал возиться проснувшийся скот. Долина наполнялась дымом жаровен. Издалека доносились громкие песнопения воинов Лархдафа, которые подхватывали люди Саадбу. Но Синие Воины великого шейха молились молча. А когда в воздухе начинали куриться первые тучи красной пыли, люди со своими стадами снимались с места. Каждый взваливал на плечи ношу и пускался в путь по еще серой и холодной земле.

На горизонте, над Хамадой, медленно нарождался свет. Люди глядели на сверкающий диск, освещавший долину, жмурились и наклонялись чуть вперед, словно заранее вступали в борьбу с тяжестью и болью, какие обрушит на их головы и плечи солнечный свет.

Иногда Лархдаф и Саадбу со своими людьми оказывались так близко, что Синие Воины слышали стук лошадиных копыт и ворчание верблюдов в их отрядах. И тогда все три песчаных облака сливались в небе в одно, почти скрывая солнце.

Когда солнце достигало зенита, поднимался ветер, он кружил по пустыне и гнал перед собой вздымавшиеся стеной красную пыль и песок. Поставив стада полукругом, люди хоронились за спиной ложившихся на землю верблюдов или за колючим кустарником. Земля казалась такой же безбрежной, как небо, такой же пустынной и ослепительной.

За воинами великого шейха, неся запас съестного в большом полотняном узле, привязанном к груди, шел Нур. День за днем с рассвета до заката шел он по следу лошадей и людей, не зная, куда идет, не видя ни отца, ни матери, ни сестер. Только вечером, когда путники разжигали костер из сухих веток, чтобы приготовить чай и кашу, он иногда отыскивал своих. Но ни с кем не заговаривал, и никто не заговаривал с ним. Усталость и сушь словно бы выжгли слова в его гортани.

Когда начинало темнеть и животные засыпали, вырыв углубление для ночлега, Нур оглядывал огромную пустынную долину. Отойдя немного от палаток и стоя в одиночестве на иссохшей равнине, Нур начинал казаться самому себе огромным, как дерево. Долина словно бы не имела границ — необозримое пространство, покрытое камнями и красным песком, неизменное от начала времен. Там, где влага метила долину расплывчатыми темными пятнами, видны были маленькие, выжженные зноем деревца акации, кустарник, кактусы, карликовые пальмы. В сумерках земля приобретала какой-то неживой, тусклый цвет. Нур стоял совершенно неподвижно, ожидая, пока упадет ночной мрак и словно бы неосязаемой водой зальет долину.

Позднее еще и другие группы кочевников присоединились к отряду Ма аль-Айнина. Переговорив с вождями племен, они узнали, куда те держат путь, и двинулись той же дорогой. Теперь караван, который шел к колодцам Хосы,



эль-Фоната и Йорфа, насчитывал много тысяч человек.

Нур уже не знал, сколько дней прошло с тех пор, как началось их странствие. Быть может, то тянулся один-единственный бесконечный день, когда солнце всходило и заходило на пылающем небосклоне и клубилась, накатывая волною, туча пыли. Воины, сопровождавшие сыновей Ма аль-Айнина, ушли далеко вперед, должно быть, они уже углубились в самое сердце долины Сегиет-эль-Хамра, миновали гробницу Райема Мухаммеда Эмбарака, ушли туда, где на каменистой Хамаде открывается лунная долина Месуар. Быть может, лошади их уже взбирались по скалистым кручам, и, обернувшись, они видели простершуюся позади необъятную долину Сегиет-эль-Хамра, где клубились охристо-красные тучи — люди и стада Ма аль-Айнина.

Старики и женщины задерживали теперь движение последней колонны. Время от времени Нур останавливался и поджидал толпу, в которой шли его мать и сестры. Он садился на раскаленные камни, прикрыв голову полой бурнуса, и смотрел, как медленно движется по дороге стадо. Пешие воины шли, чуть подавшись вперед и сгибаясь под тяжестью вскинутой на спину ноши. Иные опирались на длинные ружья и копья. Лица их были черными, и сквозь скрип песка под ногами Нур слышал их натруженное дыхание.

Позади шли дети и пастухи, сопровождавшие и подгонявшие стада овец и коз. Тучи пыли окутывали их красным туманом, и Нуру казалось, что эти причудливые, растрепанные фигуры танцуют в пыли. Женщины, медленно ступая босыми ногами по раскаленной земле, держались возле вьючных верблюдов, некоторые несли детей, закутав их в свои бурнусы. Нур слышал звяканье золотых и медных монист и браслетов на их щиколотках. Они шли, напевая нескончаемую грустную песню, которая то набирала силу, то замирала, подобная шуму ветра.

А позади всех плелись те, кто уже выбился из сил: старики, дети, раненые, молодые женщины, у которых в семье все мужчины погибли и некому было помочь им раздобыть пищу и воду. Их было много, растянувшихся по всей долине Сегиет-эль-Хамра, и час за часом они всё прибывали и прибывали, следуя за ушедшими вперед воинами шейха. На них-то с особым состраданием и глядел Нур.

Стоя на обочине дороги, он смотрел, как они ковыляют, с трудом передвигая налитые усталостью ноги. Лица у них были серые, осунувшиеся, глаза лихорадочно блестели. Губы растрескались и кровоточили, а кровь, спекшаяся в ранах на руках и груди, смешалась с золотистой пылью. Лучи солнца обрушивались прямо на них, как и на красные камни у них под ногами, наносили им воистину безжалостные удары. Женщины шли босиком, ступни их были обожжены раскаленным песком, изъедены солью. Но мучительней всего действовало их молчание, оно рождало в душе смятение и жалость. Никто не говорил, не пел. Никто не стонал, не плакал. Мужчины, женщины, дети с окровавленными ногами — все шли совершенно безмолвно, как идут побежденные, не произнося ни слова. Слышен был только шорох их шагов по песку и короткое, прерывистое дыхание. Так они медленно удалялись, влача свой груз на согбенной спине, похожие на диких насекомых, над которыми пронеслась буря.

Нур стоял на обочине караванной дороги, сложив к ногам свою ношу. Изредка, когда к нему приближалась какая-нибудь старуха или раненый воин, он пытался завести с ними разговор, подходил к ним, говорил: «Привет тебе! Мне кажется, ты очень устал. Дай я помогу тебе, понесу твою ношу».

Но они по-прежнему молчали и даже не глядели в его сторону, лица их, отвердевшие, как камни в долине, посуровели от боли и солнца.

Подошла группа кочевников пустыни, воинов Шингетти. Их широкие голубые бурнусы превратились в лохмотья, икры и ступни перевязаны окровавленными тряпками. У них не было никакой ноши — даже мешка с рисом, даже бурдюка с водой. Остались только ружья и копья. Они еле-еле волочили ноги, точно старики и дети.

Один из них был слеп, он шел, держась за полу чужого бурнуса, оступаясь на камнях, спотыкаясь о корни колючих кустарников.

Поравнявшись с Нуром и услышав приветствие мальчика, он выпустил бурнус своего товарища и остановился. «Мы пришли?» — спросил он.

Другие продолжали идти вперед, даже не обернувшись. У воина пустыни лицо было совсем еще молодое, но изнуренное усталостью, выжженные глаза повязаны грязной тряпицей.

Нур напоил его водой из своего бурдюка, вновь взвалил на спину ношу и вложил в руки воину полу своего бурнуса: «Идем, теперь я стану твоим поводырем».

И они побрели дальше, навстречу громадному облаку красной пыли, туда, где кончалась долина.

Воин молчал. Пальцы его с такой силой вцепились в плечо поводыря, что Нуру было больно. К вечеру, когда они сделали привал у колодца Йорфа, мальчик совсем выбился из сил. Караван достиг теперь подножия красных скал, откуда начиналось вулканическое плато Хоа и уходящая на север долина.

Здесь соединились все три отряда: люди Лархдафа и Саадбу и Синие Воины великого шейха. В слабом свете сумерек Нур различал тысячи людей, сидящих на иссохшей земле вокруг темного пятна колодца. Красная пыль мало-помалу оседала, и к небу уже потянулся дым жаровен.

Отдохнув, Нур опять взвалил на спину свою ношу, но уже не стал завязывать концы узла на груди. Он взял за руку слепого воина и повел его к колодцу.

Все уже напилось воды: мужчины и женщины — с восточной стороны колодца, животные — с западного его края. Вода была мутной от красной земли. Но измученным людям казалось, что нет на свете вкуснее ее. Безоблачное небо сверкало на черной глади колодца, как на полированном металле.

Нур наклонился к воде и стал пить большими глотками, не переводя дыхания. Слепой воин тоже жадно пил, стоя на коленях у колодца и почти не зачерпывая воду ладонями. Утолив жажду, он сел у источника, по его смуглому лицу и бороде струилась вода.

Потом они вернулись назад — туда, где стояли стада. Так приказал шейх: никто не должен оставаться у колодца, чтобы не загрязнять воду.

Близ Хамады ночь наступает быстро. Тьма затопила всю долину, только красные каменные вершины еще пламенели в лучах солнца.

Нур поискал отца и мать, но так и не нашел их. Быть может, они уже ушли вперед с воинами Лархдафа по северной дороге. Нур выбрал место для ночлега вблизи стада. Он положил свою ношу на землю и поделился со слепым ломтем ячменного хлеба и финиками. Воин быстро съел свою долю и вытянулся на земле, подложив под голову руки. И тут Нур спросил его, кто он и откуда. И воин медленно, охрипшим от долгого молчания голосом стал рассказывать, что произошло в далеких краях, в Шингетти, возле большого соленого озера Чинган, о том, как христианские солдаты нападали на караваны, жгли деревни, уводили в свои лагеря детей. Когда эти солдаты приходили с запада, с морского побережья, или с юга, жителям пустыни, воинам в белой одежде, восседавшим на верблюдах, и чернокожим обитателям Нигера приходилось бежать на север. В одной такой битве воина ранили из ружья, и он ослеп. Вот товарищи и повели его с собой к священному городу Смара. Говорили, что великий шейх исцеляет раны, нанесенные христианами, и может вернуть ему зрение. Во время рассказа слезы текли из-под закрытых век воина: он думал обо всем, что утратил.

— Скажи, где мы теперь? — то и дело спрашивал он у Нура, словно боялся, что его бросят здесь, посреди пустыни. — Скажи, где мы? Далеко ли еще до места, где мы сможем остаться?

— Нет, — отвечал Нур, — скоро мы придем в ту землю, которую обещал нам шейх. Там у нас ни в чем не будет нужды, мы будем словно в раю.

На самом деле он ничего не знал и в глубине души думал, что, быть может, им никогда не добраться до этой земли, даже если они пройдут всю пустыню и перевалят через горы, даже если переплывут моря и окажутся там, где на горизонте рождается солнце.

А слепой воин продолжал говорить, но теперь уже не о войне. Почти шепотом рассказывал он о своем детстве в Шингетти, о дороге среди солончаков, которую прошел вместе с отцом и братьями. Рассказывал о том, как учился в мечети и потом с многолюдными караванами отправился в путь через пустыню к Адрану и еще дальше на восток, к горам Ханк и чудотворным гробницам у колодцев Абд-эль-Малик. Распростертый на земле, он говорил об этом тихим голосом, нараспев, и ночь прохладной тенью ложилась на его лицо, на выжженные глаза.

Нур вытянулся рядом с ним, завернувшись в шерстяной бурнус и подложив под голову узел со съестным, да так и заснул, устремив в небо взгляд открытых глаз, под звуки голоса слепого воина, который говорил для себя одного.

Ночи в пустыне холодные, но язык и губы Нура продолжали гореть, и ему казалось, будто на его веки кто-то положил раскаленные монеты. Ветер проносился над скалами, кружил среди песчаных холмов, и людей, одетых в лохмотья, пробирал озноб. А где-то поодаль, окруженный спящими воинами, бодрствовал, глядя в ночную тьму, старый шейх в белом бурнусе, не смыкавший глаз уже много месяцев подряд. Он устремлял взгляд к мириадам звезд, омывавших землю рассеянным светом. Иногда он прохаживался среди спящих людей. А потом возвращался, садился на свое место и медленными глотками пил чай, слушая, как потрескивают угли в жаровне.

Так проходили дни, страшные дни иссушающего зноя, а стадо людей и животных все брело по долине на север. Караван шел теперь дорогой на Тиндуф, через безводную каменистую Хамаду. Сыновья Ма аль-Айнина, отобрав самых выносливых мужчин, поскакали на разведку через тесные ущелья Варкзизских гор, но этот путь был слишком труден для женщин и детей, и шейх повел их восточной дорогой.

В хвосте каравана шел Нур, плечо его судорожно сжимала рука слепого воина. С каждым днем узел с едой становился легче. Нур понимал, что до конца их странствий еды им не хватит.

Теперь они шли по громадной каменистой равнине, протянувшейся под самым небосводом. Иногда они перебирались через расщелины, глубокие черные раны, зияющие в белой скале, по обломкам острых как кинжал камней. Тогда слепой воин крепче стискивал плечо Нура, чтобы не упасть.

Мужчины до дыр протерли свои сандалии из козьей кожи, некоторые перевязывали окровавленные ноги обрывками своей одежды. Женщины шли босиком, они привыкли так ходить с детства, но иногда, напоровшись на особенно острый камень и поранив ступню, брели дальше со стонами.

Днем слепой воин обыкновенно молчал. Его смуглое лицо было упрятано под полую синего бурнуса и повязкой, которая закрывала ему глаза, тончно колпачок у сокола. Он шел, ни на что не жалуясь. С тех пор как его поводырем стал Нур, он не боялся отстать. Но когда наступал вечер и воины Лархдафа и Саадбу, далеко опередившие их в долине, кричали нараспев, подавая сигнал к привалу, слепой воин спрашивал с неизменной тревогой:

— Это здесь? Мы пришли? Скажи, мы уже пришли туда, где останемся навсегда?

Нур оглядывался вокруг и видел все ту же бескрайнюю, покрытую камнями и пылью равнину, все ту же однообразную землю, раскинутую под небом. Он отвязывал свой узел и отвечал только:

— Нет, мы еще не пришли.

И тогда, как и каждый вечер, слепой воин отпивал несколько глотков из бурдюка, съедал несколько фиников, кусок хлеба, а потом вытягивался на земле и начинал рассказывать о своем родном крае, о великом священном городе Шингетти у озера Чинган. Он вспоминал оазисы с зеленой влагой, где высятся огромные пальмы, дающие сладкие как мед плоды, и тень их звенит щебетом птиц и смехом девушек, проходящих за водой. Голос его звучал напевно, словно он убаюкивал сам себя, чтобы облегчить свои страдания. Иногда подходили его

товарищи, они рассаживались рядом с ним, делились с Нуром хлебом и финиками или заваривали чай из травы шиба. Они слушали речи слепого воина, а потом и сами заводили разговор о родных местах — о южных оазисах Атар, Уджефт, Тамшакет и о большом городе Валата. Они говорили на странном, мягком наречии, похожем на язык молитвенных песнопений, и кожа на их изможденных лицах отливала металлом. Когда солнце опускалось к самому горизонту и пустынное плато начинало искриться светом, они становились на колени и творили молитву, касаясь лбом пыльной земли. Нур помогал слепому воину простереться ниц на камнях лицом к востоку, а потом ложился, завернувшись в бурнус, и прислушивался к разговору мужчин, пока не засыпал.

Так они перевалили Варкизские горы, пробираясь мимо обвалов и пересохших рек. Караван растянулся по всему нагорью от одного края горизонта до другого. Каждый день вздымалось к небу огромное, колеблемое ветром облако красной пыли. Стада коз и овец, выючные верблюды шли посреди толпы, ослепляя людей пылью. Далеко позади, палимые зноем, плелись старики, больные женщины, осиротевшие дети, раненые воины; головы их были опущены, ноги подгибались, и часто за ними тянулся кровавый след.

Когда Нур в первый раз увидел, как кто-то из спутников упал на обочину, даже не вскрикнув, он хотел остановиться, но Синие Воины и те, кто шел с ним рядом, подтолкнули его вперед, не говоря ни слова: помочь упавшему было уже нельзя. Теперь Нур больше не останавливался. Иногда он замечал в пыли очертания тела со сложенными руками и подогнутыми ногами, так что казалось, человек спит. То это был старик, то женщина, которых усталость и боль свалили здесь, у самой обочины, словно хватив обухом по голове, и тело их уже иссохло. Вскоре ветер забросает их пригоршнями песка, занесет так, что нет даже надобности рыть могилу.

Нур вспомнил о старухе, которая напоила его чаем в становой у Смары. Быть может, она тоже вот так упала, сраженная солнцем, и ее замело песком пустыни. Но долго думать о ней он не мог, каждый его шаг словно бы нес с собой чью-то смерть, и это стирало прежние воспоминания; словно бы это странствие через пустыню должно было все разрушить, сжечь в его памяти, сделать другим и его самого. Когда он устало замедлял шаги, рука слепого воина подталкивала его вперед, и может статься, если бы не эта рука на плече, он и сам рухнул бы, подогнув колени и сложив руки, на обочину дороги.

На горизонте выростали всё новые горы, покрытое камнями и песком плато казалось безбрежным, как море. Каждый вечер, заслышав сигнал к привалу, слепой воин спрашивал Нура:

— Это здесь? Мы уже пришли? — А потом просил: — Скажи, что ты видишь.

Но Нур отвечал только:

— Нет, это еще не здесь. Вокруг все та же пустыня, нам надо идти дальше.

Людей стало охватывать отчаяние. Устали даже воины пустыни, непобедимые Синие Воины Ма аль-Айнина, они глядели смущенно, как люди, потерявшие веру.

Они сидели маленькими группами, положив на колени ружья, и молчали. Когда Нур приходил к отцу и матери, чтобы попросить у них воды, его больше всего как раз и пугало их молчание. Казалось, страх смерти объел людей, и у них уже не было сил любить друг друга.

Большая часть тех, кто шел в караване — женщины, дети, — простершись на земле, ждали, пока зайдет солнце. Они не в силах были даже молиться, несмотря на оглашавшие равнину призывы мулл Ма аль-Айнина. Нур вытягивался на земле, подложив под голову почти пустой мешок, и смотрел в бездонное, менявшее свой цвет небо, слушая напевный голос слепого.

Иногда ему казалось, что он просто спит с открытыми глазами и видит сон, бесконечный, страшный сон, который гонит его по звездным дорогам, по гладкой и твердой как камень земле. Тогда мука пронзала его острыми копьями, и он шел вперед, не понимая, что причиняет ему такую боль. Он словно бы расстался с

собственным телом, оставил его на выжженной почве пустыни — пятно неподвижной плоти на камнях и песке походило на кучу старого тряпья, брошенного на землю среди другого такого же тряпья, — а душа его устремлялась в стылое небо, к звездам, и в мгновение ока облетала пространство, изведать которое он не успел бы за всю жизнь. И тогда перед ним возникали миражи: удивительные города с дворцами из белого камня, башни, купола, огромные сады, где журчала прозрачная вода, гнулись под тяжестью плодов фруктовые деревья, пестрели ковры цветов, плескались фонтаны, у которых звонко смеялись прекрасные девушки. Он видел все это как наяву, он погружался в прохладную воду, припадал к чистой струе, пробовал на вкус каждый плод, вдыхал аромат каждого цветка. Но самое удивительное было то, что, когда душа его покидала телесную оболочку, он слышал музыку. Никогда прежде не слышал он подобной музыки. То был голос молодой женщины, которая пела на языке шлехов тихую песню, напев переливался в воздухе, и в нем повторялись одни и те же слова: «Настанет день, о да, настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций, в этот день в жале змеи не окажется яда, и ружейные пули больше не будут сеять смерть, это будет в тот день, когда я покину тебя, моя любовь...»

Откуда взялся этот голос, такой чистый, такой нежный? Нур чувствовал, что душа его уносится все дальше и дальше, прочь от этой земли, от этого неба, в край, где плывут черные дождевые тучи и, не иссякая, катят свои воды глубокие и широкие реки.

«Настанет день, о да, настанет день, и на земле навеки утихнет ветер, и песчинки станут слаще сахара, и под каждым придорожным камнем меня будет ждать свежая вода, в этот день пчелы споют мне песенку, это будет в тот день, когда я забуду тебя, моя любовь...»

Там таинственно рокочет буря, там царят холод и смерть.

«Настанет день, о да, настанет день, когда ночью засияет солнце, и луна прольет на землю лужицы лунной воды, и небо одарит ее золотом своих звезд, в этот день я увижу, как для меня пляшет моя тень, это будет в тот день, когда я покину тебя, моя любовь...»

Это оттуда надвигается новый порядок, что гонит Синих Людей из пустыни и повсюду сеет страх.

«Настанет день, о да, настанет день, и солнце почернеет, и земля разверзнется до самых своих недр, и море затопит пески, в этот день померкнет свет в моих глазах, и уста мои не произнесут больше твоего имени, и сердце мое перестанет биться, в этот день я забуду тебя, моя любовь...»

Незнакомый голос затихал, удаляясь, а Нур снова слышал тягучую заунывную и печальную повесть слепого воина, который говорил сам с собой, обратив лицо к незримому для него небу.

Однажды вечером, перевалив через горы, караван Ма аль-Айнина вышел к берегам Дра. Повернув на запад, путники увидели дым костров, разведенных в становье воинов Лархдафа и Саадбу. Когда все три отряда соединились, люди почувствовали новый прилив надежды. Отец Нура подошел к сыну и помог ему нести его ношу.

«Где мы? Мы уже пришли?» — спрашивал слепой воин. Нур объяснил ему, что пустыня осталась позади и теперь уже недалеко до цели.

Эта ночь напоминала праздничную. В первый раз за долгое время послышались звуки гитар, барабанов и чистый голос флейты.

Здесь, в долине, ночь была не такой холодной, здесь росла трава, которую могли щипать стада, Нур поужинал ячменным хлебом и финиками, слепой воин также получил свою долю. Он рассказал отцу и сыну о пути, который прошел от Сегьет-эль-Хамры до гробницы Сиди Мухаммеда аль-Квенти. Потом они вдвоем повели слепого воина через заросли кустарника к высохшему руслу реки Дра.

Здесь оказалось множество людей и животных, ибо к каравану великого шейха пристали кочевые племена из долины Дра и оазисов Тассуфа, жители Мессейеда, Ткарта, Эль-Габы, Сиди-Брахим-эль-Атами — все, кого нищета и страх

перед приходом французов изгнали с побережья и кто прослышал, что великий шейх Ма аль-Айнин вышел в поход, чтобы начать священную войну и изгнать чужеземцев с земли правоверных.

Теперь никто больше не замечал, какие бреши пробила смерть в их рядах. Никто не замечал, что среди мужчин много раненых и больных, что младенцы умирают медленной смертью на руках у матерей, сгорают от лихорадки, иссушенные безводьем.

Все видели только, как вдоль чернеющего русла высохшей реки медленно движутся стекающиеся отовсюду путники, стада овец и коз, всадники на верблюдах и лошадях, как они идут куда-то, навстречу своей судьбе.

Много дней шли они по склону великой долины Дра, по растрескавшейся песчаной почве, затвердевшей, как обожженная в печи глина, по черному руслу реки под солнцем в зените, сжигавшим, как огонь. На противоположном склоне долины воины Лархдафа и Саадбу пустили своих лошадей вдоль узкого потока, мужчины, женщины и стада следовали за ними. Теперь шествие замыкали воины Ма аль-Айнина на верблюдах. Нур шел вместе с ними, ведя за собой слепца. Большинство солдат Ма аль-Айнина были пешими и опирались на ружья и копья, когда надо было перебираться через овраги.

В тот же вечер караван добрался до глубокого колодца Айн-Ратра, неподалеку от Торкоза, у подножия гор. Как и каждый вечер, Нур отправился за водой для слепца, и они совершили омовение и помолились. А потом Нур расположился на ночлег неподалеку от воинов шейха. Ма аль-Айнин не раскидывал палатки. Он спал под открытым небом, как кочевники пустыни, закутавшись в свой белый бурнус и сидя на ковровой попоне. Темнота сгущалась быстро — поблизости высились громады гор. Люди дрожали от холода. Устроившийся возле Нура слепец больше не пел — то ли не осмеливался в присутствии шейха, то ли просто лишился сил.

Когда Ма аль-Айнин и его воины закончили вечернюю трапезу, шейх приказал отнести немного еды и чаю Нуру с товарищем. В особенности их подкрепил чай. Нуру казалось, он никогда не пил ничего вкуснее. Пища и свежая колодезная вода словно даровали им свет, вернув былые силы. Нур ел свой хлеб и смотрел на сидящего старца, закутанного в белый бурнус.

Время от времени к шейху подходили люди, чтобы получить благословение. Он приветливо встречал их, усаживал рядом с собой, делился хлебом и беседовал с ними. Потом они удалялись, поцеловав полу его бурнуса. Это были кочевники Дра, пастухи в лохмотьях или Синие Женщины, которые несли младенцев, кутая их в бурнусы. Они хотели видеть шейха, чтобы обрести хоть немного сил, немного надежды, чтобы он утешал их телесные раны.

Ночью Нур внезапно проснулся. Над ним склонился слепой воин. В звездном свете смутно светилось его страдальческое лицо. Нур отшатнулся почти в испуге, но слепец тихо спросил:

— Как ты думаешь, он вернет мне зрение? Я буду видеть?

— Не знаю, — ответил Нур.

Слепец застонал и снова рухнул на землю, головой в пыль.

Нур огляделся вокруг: в глубине долины у подножия гор не было ни движения, ни звука. Люди спали, завернувшись в бурнусы, чтобы спастись от холода. Только один Ма аль-Айнин, словно не ведавший усталости, сидел недвижно на ковровой попоне, устремив глаза в ночь.

Тогда Нур лег на бок, подперев щеку рукой, и долго смотрел на молившегося старца; ему казалось, он вновь уносится к нескончаемым сновидениям, сновидениям, которые он не в силах объять и которые уводят его в другой мир.

Каждое утро с восходом солнца люди были уже на ногах. Молча брали они свою поклажу, женщины привязывали за спину детей. Поднимались и животные, переступали с ноги на ногу, били копытами о землю, взметая первую пыль; они чуяли волю старца, которая вливалась в них вместе с солнечным теплом и

дурманом ветра.

Люди продолжали свой путь на север через разломы гор Тайсса, по ущельям, раскаленным, точно склоны вулкана.

Иногда по вечерам, когда они подходили к какому-нибудь колодцу, Синие Люди, женщины и мужчины, пришедшие из пустыни, подбегали к ним с приношениями: финиками, кислым молоком, ячменным хлебом. Великий шейх благословлял их, они приводили к нему детей, у которых болели животы или гноились глаза. Смочив слюной горсть земли, Ма аль-Айнин помазывал их, возлагал руки на их лоб, и женщины уходили, возвращались в красную пустыню, откуда явились. Иногда оттуда приходили мужчины с ружьями и копьями и оставались в отряде. То были крестьяне с грубыми лицами, с русыми или рыжими волосами и непривычно зелеными глазами.

Перевалив через горы, караван добрался до пальмовой рощи Тайдалта, где брала свое начало река Нун и откуда дорога вела на Гулимин. Нур подумал было, что здесь они смогут передохнуть и утолить жажду, но рощица оказалась маленькой, истерзанной засухой и ветрами пустыни. Огромные серые барханы поглотили оазис, вода в колодце была грязной. В пальмовой роще почти не сыскалось жителей — всего несколько истощенных голодом стариков. И караван Ма аль-Айнина на другое же утро пустился в путь по высохшему руслу реки в сторону Гулимина.

Но еще до того, как стал виден город, вперед были высланы отряды сыновей Ма аль-Айнина. Они вернулись через два дня с плохими новостями: христианские солдаты высадились в Сиди-Ифни и тоже направляются на север. Лархдаф все же хотел идти в Гулимин, чтобы сразиться с французами и испанцами, но шейх указал ему на людей, разбивавших палатки на равнине, и спросил только: «Это и есть твои воины?»

И Лархдаф понурил голову, а старый шейх дал приказ сниматься с места и идти в сторону от Гулимина, к пальмовой роще Айт-Буха, а потом, перевалив через горы, двигаться на восток и выйти на дорогу к Бу-Изакарну.

Много недель подряд, преодолевая усталость, шли мужчины и женщины через красные горы вдоль обезвоженных рек. Синие Воины, женщины, пастухи со своими стадами, вьючные верблюды, всадники — все должны были протискиваться между каменными глыбами, искать, куда поставить ногу среди обвалов. Так пришли они к священному городу Сиди Ахмеда у-Муссы, покровителя акробатов и жонглеров. Караван разбил палатки во всю ширину иссохшей от зноя долины. Только шейх с сыновьями и его ученики из Гудфия остались в ограде усыпальницы, а знатные жители города явились присягнуть им на верность.

В этот вечер под звездным небом совершенно было еще моление, мужчины и женщины сошлись к гробнице святого. Вокруг зажженных костров царило молчание, нарушаемое лишь потрескиванием сухих веток. Нур смотрел на хрупкую фигуру коленапреклоненного шейха, тихим голосом читавшего *зикр*. Но в этот вечер молитву не сопровождали ни восклицания, ни музыка: слишком близко стояла смерть, и горло молящихся сдавила усталость. Только тихий-тихий, чуть напевный, легкий, как дымок, голос звучал в тишине. Нур огляделся: тысячи людей, кое-где освещенные пламенем костра, сидели на земле, завернувшись в шерстяные бурнусы. Они были безмолвны и неподвижны. Никто никогда еще не слышал такой жаркой, такой скорбной молитвы. Все сидели не шелохнувшись, лишь по временам одна из женщин давала грудь младенцу, чтобы успокоить его, или показывал какой-нибудь старик. В долине, огражденной крутыми скалами, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка и яркое пламя костров взмывало высоко вверх. Ночь была прекрасная, холодная и звездная. Потом на горизонте над черными кручами забрезжил лунный свет, совершенно круглый серебряный диск с каждым часом поднимался все выше к зениту.

Шейх молился всю ночь, меж тем огни костров гасли один за другим. Смороенные усталостью люди ложились на том самом месте, где сидели, и засыпали. Нур вставал раза два, чтобы помочиться за кустами в глубине долины.

Он не мог уснуть, словно горел в лихорадке. Рядом с ним, завернувшись в бурнусы, спали отец, мать и сестры, уснул и слепой воин, положив голову на холодную землю.

А Нур все смотрел на старца, который сидел возле белой гробницы и в молчании ночи тихо напевал слова молитвы, словно укачивал ребенка.

С рассветом караван снова тронулся в путь, к нему присоединились люди племени айт-у-мусса и горцы, пришедшие из Илирха, Тафермита, люди племени ида-гугмар, ифран, тирхми — все, кто хотел сопровождать Ма аль-Айнина в его священной войне.

Еще много дней шел караван через безлесные горы, вдоль оврагов и пересохших рек. Каждый день беспощадно палило солнце, мучила жажда, ослепляло слишком белое небо и слишком красные горы, люди и животные задыхались от пыли. Нур уже и не помнил, какой бывает земля, когда люди живут оседло. Он уже не помнил колодцев, куда женщины сходятся за водой с кувшинами и щебечут как птички. Он не помнил ни как поют пастухи, приглядывая за разбредшимся стадом, ни как играют дети в песчаных барханах. Казалось, он всегда только шел и шел с самого дня своего рождения и перед ним неизменно маячили всё те же однообразные холмы, овраги, красные скалы. Иногда ему так хотелось просто сесть на камень, на первый попавшийся придорожный камень, и глядеть вслед длинному каравану, на силуэты людей и верблюдов, чернеющие в знойном мареве, словно это мираж, который вот-вот рассеется. Но рука слепца не выпускала его плеча, она толкала его вперед, заставляла продолжать путь.

Завидев вдали какую-нибудь деревню, люди останавливались. Название ее передавалось из уст в уста, шелестом проходило по каравану: «Тирхми, Анези, Ассака, Ассерсиф...» Теперь они шли вдоль русла настоящей реки, по ложу которой тянулась струйка воды. Ее берега заросли белой акацией и арганским деревом. А потом они вступили на громадную, белую, как соль, песчаную равнину, где свет солнца слепил глаза.

Однажды вечером, когда караван расположился на ночлег, с севера к становой прискакал отряд воинов, сопровождавших всадника в широком белом бурнусе.

Это был великий шейх Лахуссин, который предложил помощь своих воинов и привез пищу для скитальцев. И тогда люди поняли, что странствие их близится к концу, потому что они пришли в долину великой реки Сус, где есть и вода, и пастбища для скота, и земля, которой хватит на всех.

Когда новость эта распространилась среди каравана, на Нура словно бы вновь дохнуло опустошением и смертью, как тогда, когда они покидали Смару. Люди бегали взад и вперед в пыли, кричали, окликаая друг друга: «Пришли! Мы пришли!» Слепой воин крепко сжимал плечо Нура, он тоже кричал: «Мы пришли!» Но только через день они и в самом деле пришли в долину большой реки у города Тарудант. Много часов поднимались они вверх по течению реки, ступая прямо по жиденьким струйкам, сочившимся в красной гальке. Хотя в речке была вода, берега ее были сухими и голыми, а земля — жесткой, спекшейся от солнца и ветра.

Нур ступал по речной гальке, увлекая за собой слепца. Несмотря на жаркое солнце, вода была ледяной. Местами на галечных островках посреди реки росли чахлые кустики. И еще лежали на дне большие белые стволы, принесенные с гор паводком.

Нур уже забыл то свое предчувствие смерти. Он радовался, как и все остальные, думал, что настал конец пути, что это и есть земля, обещанная им Ма аль-Айнином, когда они уходили из Смары.

Жаркий воздух был напоен ароматами, стояла ранняя весна. Нур вдыхал эти запахи впервые в жизни. Над водой кружили насекомые: осы, мошкара. Нур так давно не видел никакой живности, что был рад и этой мошкаре, и осам. И даже когда слепень ужалил его вдруг сквозь одежду, он не рассердился, а только отмахнулся от него.

На противоположном берегу реки Сус, прилепившись к красной горе, перед



ними, подобно небесному видению, возник большой город с глинобитными домами. Неправдоподобный, словно парящий в солнечных лучах город, казалось, ждал странников пустыни, чтобы дать им убежище. Никогда в своей жизни Нур не видел такого прекрасного города. Высокие стены без окон, сложенные из красного камня и глины, сверкали в закатных лучах. Ореол пыли, словно цветочная пыльца, витал над городом, окружая его волшебным облаком.

Путники остановились в долине ниже города по течению реки и долго смотрели на него с любовью и в то же время со страхом. Впервые за все время пути они почувствовали, как устали, их одежда обратилась в лохмотья, ноги обвязаны окровавленными тряпками, губы и веки обожжены солнцем пустыни. Они расположились на прибрежной гальке, некоторые разбили палатки или соорудили шалаши из веток и листьев. Словно разделяя с толпою ее страх, Ма аль-Айнин также сделал привал на берегу реки вместе с сыновьями и воинами.

Теперь путники начали ставить большие палатки вождей, разгружать вьючных верблюдов. Стены города окутала ночь, небо погасло, красная земля потемнела. Одни только высокие вершины Атласских гор — покрытые инеем Тихка и Тинергуэт — еще сверкали в закатных лучах, когда долина уже оделась мглой. Из города донесся призыв к вечерней молитве, странно и жалобно отдававшийся в долине. Простершись на прибрежной гальке, странники тоже молились тихими голосам под нежное журчанье струящейся воды.

Проснувшись утром, Нур был ослеплен. Ночь напролет он спал без просыпу, не ощущая ни острых камней, впивавшихся в его бока, ни холода и сырости, которыми тянуло от реки. Открыв глаза, он увидел, как по склонам долины медленно сползает туман, словно солнечные лучи гонят его прочь. По берегу реки среди спящих мужчин уже ходили женщины, черпая воду и собирая ветки. Дети искали креветок под плоскими камнями.

Но Нур был зачарован представшим перед ним городом. В чистом утреннем воздухе у подножия гор высилась крепость Тарудант. Очертания ее сложенных из красного камня стен, ее террас и башен были строги и четки, казалось, она высечена в самой скале. По временам белое облако тумана проплывало между рекой и городом, наполовину заволакивая его, и тогда чудилось, будто крепость плывет над долиной, словно корабль из глины и камня, медленно скользящий мимо островов заснеженных гор.

Нур глядел на город, не в силах отвести глаз. Высокие, без окон стены приковали к себе его взгляд. Было в этих стенах что-то таинственное и грозное, словно не люди жили там, а какие-то сверхъестественные существа. Медленно всходило солнце, и розовое небо сделалось янтарным, а потом по нему разлилась ослепительная синева. Свет искрился на глинобитных стенах, на террасах, в апельсиновых садах и в кронах высоких пальм. А внизу сухая красная земля, прорезанная бороздками оросительных канавок, казалась почти фиолетовой.

Неподвижно застыв на берегу реки среди пришельцев из пустыни, Нур молча смотрел на пробуждающийся от сна сказочный город. Там и сям вверх поднимался легкий дымок, слышались почти неправдоподобные звуки будничной жизни: голоса, детский смех, песня молодой женщины.

Для пришельцев из пустыни, замерших на берегу реки, этот дымок, эти звуки казались миражем, словно им пригрезился этот укрепленный город на склоне горы, эти поля, пальмы, апельсиновые деревья.

Теперь солнце стояло уже высоко в небе, накаляя речные камни. Непривычный запах доносился до становья кочевников, Нур с трудом узнал его. Это не был терпкий, ледяной запах бегства и страха, тот запах, что он вдыхал столько дней в странствии через пустыню. Это был мощный, пьянящий аромат мускуса и масла, аромат жаровни, где горят кедровые угли, аромат кориандра, перца, лука.

Нур вдыхал этот аромат, боясь пошевелиться, чтобы не упустить его, и слепой воин вкушал то же блаженство. Все странники замерли, расширив глаза, не мигая, так, что начинало резать веки, и всё глядели на высокие красные стены

города. Они глядели на этот город, такой близкий и такой далекий, на город, который, может статься, откроет им свои ворота, и сердца их бились чаще. Вокруг них берега, покрытые галькой, поплыли в знойном мареве. А они всё смотрели не шевелясь на волшебный город. И только когда солнце еще выше поднялось в синем небе, накрыли головы полами своих бурнусов.

## Среди рабов

Опершись о поручни, Лалла разглядывает узкую, похожую на островок полосу земли, возникшую на горизонте. Несмотря на усталость, она, не отрываясь, всматривается в эту землю, пытаюсь различить дома, дороги и, как знать, быть может, даже фигурки людей. Рядом с ней у поручней сгрудились пассажиры. Они кричат, размахивают руками, возбужденно переговариваются, перекликаются на разных языках от одного конца палубы до другого. Как давно ждали они этой минуты! Среди них много детей и подростков. У всех к одежде приколот одинаковый ярлычок, на нем имя и год рождения, а также имя и адрес лица, ожидающего их в Марселе. Внизу на ярлычке подпись, печать и маленький красный крест в черном кружке. Лалле не нравится маленький красный крест: ей кажется, что он прожигает насквозь ее блузку, отпечатываясь у нее на груди.

Порывистый холодный ветер обрушивается на палубу, удары тяжелых волн сотрясают корпус корабля. Лаллу мутит, ночью дети не спали и объелись сгущенным молоком из тюбиков, которые уполномоченные Красного Креста раздали им перед посадкой на судно. И вдобавок коек всем не хватило, и Лалле пришлось спать на полу в спертom и жарком воздухе трюма, где воняло мазутом и смазочным маслом и все содрогалось от грохота мотора. Теперь над кормой кружатся первые чайки, они пронзительно кричат, словно их злит появление судна. Грязновато-серые, с желтым клювом и злобно поблескивающими глазами, они совсем не походят на морских принцев.

Восход солнца Лалла пропустила. Она уснула, сраженная усталостью, на брезенте, разостланном в трюме, подложив под голову кусок картона. Когда она проснулась, все уже высыпали на палубу и впились глазами в полосу земли. В трюме осталась только бледная молодая женщина с крошечным грудным ребенком на руках. Малыш был болен, его рвало, и он тихонько хныкал. Лалла подошла спросить, чем болен малыш, но женщина не ответила и только посмотрела на нее пустым взглядом.

Теперь земля уже совсем близко, она плавает в зеленой морской воде среди нечистот. Пошел дождь, но люди не уходят с палубы. Холодная вода струится на курчавые головки детей, каплями повисает у них на кончике носа. Все они одеты так, как одеваются бедняки: в легкие рубашонки, синие холщовые брюки или серые юбки, а некоторые — в длинные грубошерстные бурнусы. Обуты в большие, не по размеру, черные кожаные ботинки на босу ногу. Взрослые мужчины — в старых потертых куртках, слишком коротких брюках и шерстяных лыжных шапочках. Лалла оглядывает стоящих вокруг детей, женщин, мужчин: вид у них печальный и испуганный, лица желтые, отекие от усталости, на руках и ногах гусиная кожа. Дыхание моря смешивается с запахом усталости и тревоги, и сама полоска земли, возникшая вдали пятном на зеленой глади моря, тоже кажется печальной и усталой. Небо нависает совсем низко, вершины холмов скрыты за облаками. Лалла тщетно вглядывается в даль, она не видит того белого города, какой описывал Наман-рыбак, нет ни дворцов, ни церковных башен. Одни лишь бесконечные набережные, цвета камня и цемента, набережные, переходящие в другие

набережные. Судно с пассажирами медленно скользит по черной воде доков. На берегу стоят какие-то люди, равнодушным взглядом провожающие корабль. И все же дети громко кричат, машут руками, но никто не отзывается на их приветствия. Дождь продолжает моросить, мелкий и холодный. Лалла смотрит на воду доков, черную, жирную воду, где плавают всякие отбросы, на которые не зарятся даже чайки.

Может, никакого города вообще нет? Лалла смотрит на мокрые набережные, на силуэты замерших в доках грузовых кораблей, на подъемные краны. А там дальше — длинные белые здания, стеной высящиеся в глубине порта. Мало-помалу радостное возбуждение детей на палубе корабля, принадлежащего Международному Красному Кресту, угасает. Время от времени еще раздаются какие-то восклицания, но тут же смолкают. А по палубе, выкрикивая приказания, которых никто не понимает, уже шествуют представители Красного Креста со своими помощниками. Им удастся собрать детей в группу и начать переключку, но голоса их заглушает грохот мотора и шум толпы.

— ...Макель...

— ...Сефар...

— ...Ко-ди-ки...

— ...Хамаль...

— ...Лагор...

Эти обрывки имен никому ничего не говорят, и на них никто не откликается. И вдруг над головой пассажиров залаял репродуктор — в толпе сразу вспыхивает паника. Одни кидаются в носовую часть корабля, другие бегут к лестницам, ведущим на верхнюю палубу, но оттуда их отесняют офицеры. Наконец все успокаиваются, потому что судно причаливает к берегу и моторы глохнут. На набережной стоит уродливый бетонный барак с освещенными окнами. Дети, женщины, мужчины, перегнувшись через поручни, высматривают знакомые лица среди тех, кто расхаживает взад и вперед за бараком, люди на берегу кажутся не больше козьяков.

Начинается высадка. Пассажиры несколько часов стоят на палубе судна Международного Красного Креста, ожидая, когда им разрешат сойти на землю. Время идет, дети, сгрудившиеся на палубе, всё больше нервничают. Самые маленькие плачут, уныло хнычут, надрывая душу, и легче от этого не становится. Женщины, а порой и мужчины, кричат. Поставив рядом чемодан, Лалла присаживается на такелаж у перегородки, отделяющей офицерскую палубу, и ждет, наблюдая, как в сером небе кружат серые чайки.

Наконец-то можно сойти на берег. Но путешественники так устали от ожидания, что не сразу потянулись к трапу. Вместе с толпой Лалла доходит до серого барака. Там их поджидают трое полицейских и переводчики, которые задают прибывшим разные вопросы. С детьми дело идет быстрее: полицейский просто читает то, что указано на ярлыке, и переписывает в регистрационный листок. Переписав ярлычок Лаллы, полицейский спрашивает ее:

— Собираешься работать во Франции?

— Да, — отвечает Лалла.

— Где?

— Не знаю.

— Прислуга, — объявляет полицейский и записывает это в регистрационном листке.

Лалла берет свой чемодан и идет вместе с остальными в зал ожидания, большую комнату с серыми стенами, где горит свет. Сидеть здесь не на чем, и,

хотя на улице холодно и дождливо, в комнате удушливая жара. Самые маленькие дети засыпают на руках у матерей или на полу, на груди одежды. Теперь уже хнычут дети постарше. Лаллу мучит жажда, в горле пересохло, глаза лихорадочно горят. Она слишком устала, чтобы о чем-нибудь думать. Она ждет, прислонившись к стене и поджимая то одну, то другую ногу. В дальней части комнаты, перед барьером, за которым сидят полицейские, стоит очень бледная молодая женщина с пустым взглядом, держа на руках младенца. С затравленным видом стоит она перед столом полицейского инспектора и молчит. Полицейский долго втолковывает ей что-то, потом показывает бумаги переводчику Красного Креста. Вышла какая-то неувязка. Полицейский задает вопросы, переводчик повторяет их женщине, но она глядит на него с непонимающим видом. Ее не хотят пропускать. Лалла смотрит на бледную молодую женщину с ребенком. Мать с такой силой прижимает к себе малыша, что тот просыпается и начинает кричать, но сразу успокаивается, когда она быстрым движением высвобождает грудь и дает ему. У полицейского растерянный вид. Он оглядывается, озирается вокруг. И встречается взглядом с Лаллой, которая подошла ближе. Полицейский манит ее к себе.

— Ты говоришь на ее языке?

— Не знаю.

Лалла произносит несколько слов на языке шлехов, молодая женщина, поглядев на нее, начинает отвечать.

— Скажи ей, что у нее бумаги не в порядке. Нет пропуска на ребенка.

Лалла пытается перевести эту фразу. Ей кажется, что женщина ее не понимает, но та вдруг рухнула на пол и заплакала. Полицейский еще что-то говорит, переводчик не без труда поднимает женщину и ведет ее в глубину зала, где стоит несколько кресел, обтянутых искусственной кожей.

Лалле становится грустно, она догадывается, что женщине придется плыть обратно с больным ребенком. Но сама Лалла так устала, что не в силах сосредоточиться на этой мысли; возвратившись на прежнее место к своему чемодану, она снова прислоняется к перегородке. В другом конце зала на стене под самым потолком висят часы, у которых цифры написаны на створках. Каждую минуту раздается хлопок, и створка переворачивается. Теперь путешественники уже не разговаривают между собой. Они ждут, сидя на полу или прислонившись к стене, с застывшим взглядом, напряженным лицом, словно надеются, что при очередном хлопке дверь в глубине зала откроется и их выпустят на улицу.

Наконец, когда прошло так много времени, что люди уже потеряли всякую надежду, появляются представители Международного Красного Креста. Они открывают дверь в глубине зала и опять начинают выкликать детей. Гул голосов возобновляется, люди теснятся у выхода. Лалла подхватывает свой картонный чемодан, вытягивает шею, стараясь хоть что-нибудь разглядеть поверх чужих голов, и с таким нетерпением ждет, чтобы ее вызвали, что у нее даже ноги дрожат. Когда представитель Красного Креста пролаял ее имя, Лалла его не узнала. Тогда он выкрикивает еще раз: «Хава! Хава бен Хава!»

Лалла устремляется вперед сквозь толпу, размахивая чемоданом. У двери она останавливается, пока проверяют ее ярлык, потом, рванувшись, выбегает на улицу, словно кто-то подтолкнул ее в спину. На улице, после долгих часов, проведенных в серой комнате, оказалось так светло, что у Лаллы закружилась голова и она пошатнулась. Она идет сквозь строй мужчин и женщин, никого не видя, всё вперед, наугад, пока не чувствует, как кто-то хватается ее за руку, обнимает, целует. Амма тащит Лаллу за собой по

набережной к выходу в город.

Амма живет одна в старой части города, возле порта, в квартирке на верхнем этаже полуразрушенного дома. Квартира состоит из одной комнаты с диваном, темной каморки с раскладушкой и кухни. Окна выходят во двор, но все же над черепичными крышами виднеется клочок неба. С восхода до полудня в два окна комнаты с диваном даже заглядывает солнце. Амма сказала Лалле, что ей, Амме, очень повезло: она нашла эту квартиру, да вдобавок подыскала работу — устроилась поварихой в столовой при больнице. Когда несколько месяцев назад она приехала в Марсель, ей пришлось сначала жить в меблированных комнатах в пригороде, там женщины ютились впятером в одной комнате, каждое утро приходила полиция и на улицах не раз случались драки. Однажды двое парней даже пустили в ход ножи, и Амма сбежала оттуда, бросив свой чемодан: испугалась, что ее потащат в полицию, а потом вышлют на родину.

После долгой разлуки Амма, похоже, очень обрадовалась Лалле. Она не расспрашивает о прошлом, о том, как Лалла убежала в пустыню с Хартани и как ее доставили в городскую больницу, умирающую от жажды и лихорадки. Хартани в одиночку продолжал свой путь на юг, в край, где кочуют караваны, он всегда стремился туда. Амма сильно постарела за последние месяцы. Ее усталое лицо осунулось и поблекло, кожа посерела, под глазами залегли темные круги. Вечером, вернувшись с работы, она пьет мятный чай с печеньем и рассказывает Лалле о том, как вместе с другими женщинами и мужчинами, искавшими работу, ехала автобусом через всю Испанию. Много дней подряд колесили они по дорогам, минуя города, перебираясь через горы и реки. Наконец однажды водитель автобуса привез их в город, где было много каменных домов с черными крышами, похожих друг на друга как две капли воды. «Ну вот и приехали», — сказал он. Амма сошла вместе со всеми. Дорогу они оплатили заранее, поэтому, подхватив свой скарб, просто пошли по улицам города. Но когда Амма показала прохожим конверт, на котором были написаны имя и адрес брата Намана, люди стали смеяться и сказали, что она не в Марселе, а в Париже. Пришлось ей сесть в поезд и ехать до Марселя еще целую ночь.

Слушая эту историю, Лалла смеется до упаду: представляет себе, как пассажиры автобуса идут по улицам Парижа, воображая, что это Марсель.

А Марсель и впрямь громадный город. Лалла и вообразить не могла, что в одном месте живет столько людей. С тех пор как она приехала, все дни бродит по городу, исходила его с севера на юг и с запада на восток. Названий улиц она не знает и идет куда глаза глядят. То бродит вдоль набережных, разглядывая грузовые пароходы, шагает по широким проспектам к центру города, то пробирается лабиринтом узких улочек старого города, поднимается по лестницам, от площади к площади, от одной церкви к другой, до широкой эспланады, откуда видна вырастающая из моря крепость. А порой она садится на скамью в каком-нибудь саду и смотрит на голубей, расхаживающих по пыльным аллеям. Сколько здесь улиц, домов, магазинов, окон, машин, прямо голова идет кругом, а от шума и запаха выхлопных газов словно угораешь и ломит виски. Лалла ни с кем не заговаривает. Иногда она присаживается на церковной паперти, плотнее закутавшись в коричневое шерстяное пальто, и смотрит на прохожих. Случается, какой-нибудь мужчина бросает на нее взгляд, потом останавливается на углу и делает вид, что курит, а сам наблюдает за ней. Но Лалла умеет мгновенно исчезать — этому она выучилась у Хартани; проскальзывает по двум-трем улицам, мимо какого-нибудь магазина,

протискивается между стоящими машинами — и поминай как звали.

Амма хотела бы, чтобы Лалла работала вместе с нею в больнице, но та слишком молода, еще не достигла совершеннолетия. К тому же получить работу совсем не легко.

Через несколько дней после приезда Лалла пошла к брату старого Намана, Асафу, здесь его называют Жозефом. Он держит бакалейную лавку на улице Шапелье неподалеку от жандармерии. Он как будто обрадовался Лалле и, расспрашивая о брате, поцеловал ее, но Лалла сразу почувствовала к нему недоверие. Он ничуть не похож на брата. Маленький, почти лысый, с противными зеленовато-серыми глазками навывкате и улыбкой, не сулящей ничего доброго. Когда он узнал, что Лалла ищет работу, глазки у него заблестели и он страшно засуетился. Объявил Лалле, что ему как раз нужна помощница в лавке — раскладывать товар, прибирать, а может, даже сидеть за кассой. Но, говоря это, он не спускал своих мерзких, сальных глазок с живота и груди Лаллы, а потому она сказала, что зайдет завтра, и тут же распрощалась с ним. Но так как она к нему больше не пришла, он сам как-то вечером явился к Амме. Однако Лалла, едва завидев его, ушла и, стараясь быть невидимой как тень, долго бродила по улицам старого города, пока не уверилась, что бакалейщик вернулся к себе.

Странный мир этот город со всеми его жителями. Они совсем не замечают тебя, если ты не стараешься привлечь к себе внимания. Лалла научилась бесшумно скользить вдоль стен, по лестницам. Она знает все закоулки, откуда можно наблюдать, оставаясь невидимкой, знает, как спрятаться за деревьями или на больших стоянках, где много автомобилей, в подворотнях и на пустырях. Даже посреди прямых как стрела проспектов, где непрерывным потоком движутся люди и машины, Лалла умеет стать невидимой. Вначале на всем ее облике еще лежал отпечаток жаркого солнца пустыни, ее длинные черные кудри так и искрились солнцем. И люди с удивлением оглядывались на нее, как на пришельца с другой планеты. Но прошли месяцы, и Лалла изменилась. Волосы она коротко остригла, они потускнели, стали какими-то серыми. В темных улицах, в холодной сырости теткиной квартирki потускнела и кожа Лаллы, сделалась бледной и серой. А тут еще коричневое пальто, которое Амма купила у еврея-старьевщика возле собора. Оно доходит Лалле почти до щиколоток, рукава у него слишком длинные, плечи висят, а главное, оно сшито из какой-то шерстяной ткани вроде обивочной, потертой и лоснящейся от времени, цвета облезлых стен и старой бумаги. Надев это пальто, Лалла и впрямь чувствует себя невидимкой.

Прислушиваясь к разговорам прохожих, она понемногу узнала названия улиц. Странные это названия, такие странные, что иногда, бродя вдоль домов, Лалла вполголоса повторяет их: «Ла-Мажор, Ла-Туретт, площадь Ланш, улица Пти-Пюи, площадь Виво, площадь Сади-Карно, Ла-Тараск, тупик Мюэт, улица Шваль, бульвар Бельсенс». Сколько здесь улиц, сколько названий! Каждое утро, еще до того как проснется тетка, Лалла, сунув в карман коричневого пальто кусок черствого хлеба, выходит из дому и бродит, бродит, сначала кружит по кварталу Панье, а потом улицей Ла-Призон направляется к морю, когда солнце уже золотит стены ратуши. Лалла присаживается здесь, чтобы поглядеть на поток машин, но ненадолго, а то полицейские, пожалуй, спросят, что она тут делает.

Потом она снова направляется в северную часть города, идет по шумным большим проспектам: Канебьер, бульвару Дюгомье, Афинскому бульвару. Тут можно встретить людей со всех концов земли, говорящих на самых разных языках. Людей с совершенно черной кожей и узкими глазами, в длинных

белых балахонах и туфлях из искусственной кожи без задников. Тут и светловолосые, светлоглазые северяне, и солдаты, и матросы, и, кроме того, дельцы — дородные люди с торопливой походкой и маленькими смешными черными чемоданчиками.

Лалла любит посидеть здесь в уголке у какой-нибудь двери и понаблюдать, как все эти люди приходят, уходят, спешат, бегут. В многолюдной толпе никто не обращает на нее внимания. Быть может, прохожие думают, что она такая же, как они все, что она кого-то или чего-то ждет, а может, принимают ее за нищенку.

В многолюдных кварталах много бедняков, за ними-то чаще всего и наблюдает Лалла. Она видит женщин в лохмотьях, очень бледных, хотя солнце тут яркое, они тащат за руку совсем еще маленьких детей. Видит стариков в длинных залатанных пальто, пьяниц с мутными глазами, бродяг, голодных чужестранцев с картонными чемоданами и пустыми хозяйственными сумками. Видит беспризорных детей, чумазных, со всклокоченными волосами, в ветхой одежонке, которая болтается на их тощем теле, они идут торопливой походкой, словно спешат по делу, а взгляд у них блуждающий и угрюмый, как у бродячих собак. Из своего укрытия позади стоящих машин или из подворотни Лалла смотрит на всех этих людей. Вид у них потерянный, и движутся они точно в полусне. Ее темные глаза горят странным блеском, когда она смотрит на них; быть может, в это мгновение на них ложится отблеск ослепительного солнца пустыни, но они вряд ли чувствуют его, да и не знают, откуда он. Быть может, их охватывает мгновенная дрожь, но они быстро исчезают в безымянной толпе.

Порой Лалла уходит так далеко и так долго бродит по улицам, что у нее начинают болеть ноги, и тогда она присаживается отдохнуть на краю тротуара. Она идет в восточную часть города широким проспектом, обсаженным деревьями, по которому катит множество легковых машин и грузовиков, потом направляется через холмы к долинам. В этих кварталах много пустырей и, точно скалы, высятся многоэтажные дома, снежно-белые, с тысячами одинаковых окон; а дальше начинаются виллы, утопающие в лавровых и апельсиновых деревьях, где за решеткой бегают злые собаки и облаивают каждого проходящего мимо. И еще здесь много бездомных кошек, тощих, взъерошенных, они живут на чердаках или прячутся под машинами на стоянках.

Лалла идет дальше наугад, куда ведет дорога. Минует отдаленные кварталы, где тянется извилистая линия каналов с тучами мошкары, и выходит на кладбище, огромное, словно город, с рядами серых камней и ржавых крестов. Она поднимается на вершины холмов так высоко, что море отсюда едва различимо — просто грязновато-синее пятно меж прямоугольников домов. Над городом плавает странная дымка, большое серо-розово-желтое облако, через которое с трудом пробиваются лучи. Солнце уже садится там, на западе. Лалла чувствует, как тело ее сковывает усталость, ее клонит в сон. Она смотрит на далекий мерцающий город, слышит, как гудят моторы, как грохочут поезда, пожираемые темными дырами туннелей. Ей не страшно, и однако ее охватывает смятение, что-то кружит ее, словно вихрь. Уж не *шерги*<sup>10</sup> ли это, ветер пустыни, явился сюда — пересек море, горы, города и дороги и явился в Марсель? Разве узнаешь? Здесь

---

<sup>10</sup> *Шерги* (шарки, от *араб.* шарк — восток) — в Марокко восточный или юго-восточный ветер, дующий из Сахары, чаще всего в июле-августе; очень сухой, несущий много пыли.

переплетается столько разных сил, здесь столько шума, движения. Может быть, ветер заблудился среди улиц, лестниц и эспланад?

Лалла смотрит на самолет, который медленно, со страшным грохотом поднимается в блеклое небо. Развернувшись над городом, он пролетает мимо солнца, на какую-то долю секунды закрывает его своей тенью и устремляется к морю, уменьшаясь на глазах. Лалла смотрит на него, не отводя глаз, пока он не превращается в малюсенькую, едва различимую точку. Быть может, он пролетит над пустыней, над песчаными и каменными просторами, где бродит Хартани?

И тогда Лалла тоже уходит. Спускается в город на чуть дрожащих от усталости ногах.

И еще Лалла любит ходить к вокзалу. Садится там на ступеньки большой лестницы и смотрит на пассажиров, снующих по ступенькам вверх и вниз. Вот приезжие — они идут, отдуваясь, глаза у них сонные, волосы растрепаны, они спускаются по лестнице, пошатываясь от ослепившего их яркого света. А вот эти уезжают — они спешат, боятся опоздать на поезд, взбегают по лестнице через две ступеньки, чемоданы и сумки бьют их по ногам, глаза устремлены на входную дверь вокзала. На верхней ступеньке они спотыкаются, окликают друг друга, боясь потеряться.

Лалла любит вокзал. Ей начинает казаться, будто большой город еще не достроен до конца, остался вот этот проем, и через него продолжают проходить люди, они прибывают и убывают. Лалла часто думает о том, что с удовольствием уехала бы отсюда, села бы в поезд, который идет на север, в ту сторону, где находятся города, чьи названия манят и пугают ее: Мрун, Бордо, Амстердам, Лион, Дижон, Париж, Кале. Когда у Лаллы заводится какая-нибудь мелочь, она входит в здание вокзала, покупает в буфете кока-колу и еще перронный билет. Она идет в большой зал ожидания, а через него — на платформы и бродит мимо поездов, которые прибывают или вот-вот отойдут. Иногда она даже проскальзывает в вагон и на несколько минут присаживается на скамейку, обтянутую зеленым молескином. Один за другим появляются пассажиры, они рассаживаются в купе, даже спрашивают у нее: «Это место свободно?», и Лалла коротко кивает в ответ. А когда репродуктор объявляет, что поезд отходит, Лалла проворно выскакивает из вагона на платформу.

На вокзале тоже можно наблюдать за людьми, оставаясь невидимкой: здесь всегда царит такая суматоха и спешка, что людям не до тебя. Кого только не встретишь на вокзале: тут и злые грубияны с багровыми лицами, и крикуны с лужеными глотками, и люди очень грустные, и еще очень бедные, какие-то растерянные старики, в тревоге ищущие платформу, от которой отходит их поезд, и женщины с целым выводком детишек, ковыляющие с багажом вдоль вагонов со слишком высокими ступеньками. Здесь много таких, кого привела сюда бедность: сошедшие с корабля негры, что направляются в холодные страны, на них пестрые рубашки, а весь багаж умещается в пляжной сумке; жители Северной Африки, смуглые, в поношенных куртках, в шапочках, какие носят горцы, или в кепках с наушниками; турки, испанцы, греки — у всех на лицах тревога и усталость, они бродят по платформе, подгоняемые ветром, наталкиваясь друг на друга, среди толпы равнодушных пассажиров и зубоскалов военных.

Лалла следит за ними из своего убежища между телефонной будкой и рекламным щитом, почти не прячась. Густая тень скрывает ее, а смуглое лицо защищено воротником пальто. Но иногда сердце ее начинает биться сильнее, а в глазах вспыхивает свет, словно отблеск солнца скользнул по камням



пустыни. Это она глядит на тех, кто уезжает в другие города, навстречу голоду, холоду, горю, на тех, кого ждут унижения и одиночество. Они идут чуть сгорбившись, с пустым взглядом, в одежде, уже обтрепанной за то время, что им пришлось ночевать на земле, похожие на побежденных солдат.

Их ждут закопченные города, низкое небо, дым, холод, болезнь, разрывающая грудь. Их ждут поселки на грязных пустырях под автострадой, землянки, похожие на могилы, обнесенные высокими заборами и решетками. Быть может, им не суждено возвратиться, этим похожим на призраков мужчинам и женщинам, которые тащат на себе свои пожитки и слишком тяжелых для них детей; быть может, им суждено умереть в незнакомых странах, вдали от родной деревни, вдали от семьи? Их ждут чужие страны, которые отнимут у них жизнь, уничтожат их, сожрут. Лалла застыла в своем темном уголке, и взгляд ее застилают слезы, она думает о судьбе всех этих людей. Ей так хотелось бы убежать отсюда и шагать, шагать по улицам города, пока не кончатся дома, сады и не будет уже ни дорог, ни берегов, а только узкая тропинка, которая, как некогда, сужаясь мало-помалу, приведет ее в пустыню.

В городе темнеет. На улицах вокруг вокзала зажигаются фонари на железных столбах, а над кинотеатрами и кафе вспыхивают большие красные, белые и зеленые трубки. Лалла бесшумно крадется по сумрачным улицам, прижимаясь к стенам домов. С наступлением темноты лица мужчин в тусклом свете фонарей становятся зловещими. В их глазах появляется жесткий блеск, шаги глухо отдаются в проходах и подворотнях. Теперь Лалла ускоряет шаг, словно хочет убежать. Иногда какой-нибудь мужчина увязывается за ней, пытается догнать ее, взять под руку; тогда Лалла прячется позади стоящей машины и исчезает. И снова она скользит как тень, кружит по улицам старого города, пока не доберется до Панье, где живет Амма. Она поднимается по лестнице, не зажигая света, чтобы никто не видел, куда она вошла. Тихонько скребется в дверь и, услышав голос тетки, с облегчением называет свое имя.

Так проводит Лалла свои дни здесь, в большом городе Марселе, на его улицах, среди мужчин и женщин, которых ей не дано узнать.

---

В городе много нищих. В первое время после приезда Лаллу это очень удивляло. Теперь она привыкла. Но не перестала замечать их, как большинство жителей города, которые обходят попрошайек, чтобы на них не наступить, а когда спешат, просто перешагивают через сидящих.

Радич тоже нищий. Лалла познакомилась с ним, когда бродила по широким улицам у вокзала. В то зимнее утро она рано вышла из дому, еще не рассвело. На улочках и лестницах старого города прохожих почти не было, безлюдна была и большая улица ниже городской больницы, катили только грузовики с зажженными фарами да изредка какие-то люди на мопедах, закутанные в пальто.

Тут она и увидела Радича. Он забился в уголок у двери, стараясь укрыться от ветра и морозящего дождя. Вид у него был совсем замерзший, и, когда Лалла поравнялась с ним, он посмотрел на нее странным взглядом, совсем не так, как мальчишки обыкновенно смотрят на девушку. Он посмотрел на нее, не опуская глаз, но взгляд его было так же трудно разгадать, как взгляд какого-нибудь зверька.

Лалла остановилась перед ним и спросила:

— Ты что здесь делаешь? Тебе не холодно?

Паренек без улыбки покачал головой. Потом протянул руку:

— Дай мне что-нибудь.

У Лаллы был с собой только кусок хлеба и апельсин, ее завтрак. Она протянула их парню. Он жадно выхватил у нее апельсин и, даже не поблагодарив, сразу стал его есть.

Так они познакомились. Потом Лалла часто видела его на улицах у вокзала, а в хорошую погоду — на большой лестнице. Он часами сидел там, никого не замечая и глядя прямо перед собой. Но к Лалле относился дружелюбно, быть может из-за апельсина. Он сказал ей, что его зовут Радич, даже написал свое имя прутиком на земле и очень удивился, когда Лалла призналась, что не умеет читать.

У него красивые, очень черные и жесткие волосы и смуглая кожа. Глаза зеленые, а верхнюю губу затемяют маленькие усики. Но особенно хороша улыбка, в которой вдруг сверкнут ослепительно белые зубы. В левом ухе Радич носит маленькое колечко — уверяет, что оно золотое. Но одет он бедно: старые, все в пятнах, рваные брюки, множество старых фуфаяк, напяленных одна поверх другой, пиджак, который ему велик. На босых ногах черные кожаные ботинки.

Лалла радуется, встречая его случайно на улице, потому что всякий раз он немного другой. В иные дни глаза у него печальные, затуманенные, словно он замечтался о чем-то и его ничем не отвлечь от мечтаний. А порой он весел, глаза его блестят, он рассказывает тьму разных небылиц, которые тут же и придумывает, и сам долго беззвучно смеется, тогда и Лалла не может удержаться от смеха.

Лалла с удовольствием зазвала бы его в гости в дом тетки, но не решается, ведь Радич — цыган, а это наверняка придется не по вкусу Амме. Радич живет не в районе Панье и даже не по соседству, а где-то далеко, на западной окраине города, у железной дороги, там, где тянутся громадные пустыри, резервуары с бензином и день и ночь дымят заводские трубы. Это он сам рассказал Лалле, но вообще он не любит распространяться о своем доме и семье. Сказал просто, что живет слишком далеко, чтобы каждый день приходиться в город, а уж если приходит, ему проще ночевать на улице, чем возвращаться домой. Говорит, ему все равно, где ночевать, он знает такие укромные места, где не пробирает ни холод, ни ветер и где никто, ни одна живая душа, его не найдет.

Вот, к примеру, в старом здании таможни под лестницей. Там есть дыра, в нее как раз может пролезть подросток — проберешься туда, а отверстие заткнешь куском картона. А еще можно спрятаться на строительной площадке в сарае, где свалены инструменты, или под брезентом на небольших грузовиках. Радичу хорошо знакомы все такие убежища.

Чаще всего его можно встретить возле вокзала. В хорошую погоду, когда припекает солнце, он сидит на ступенях большой лестницы, и Лалла подсаживается к нему. Вместе они наблюдают за проходящими мимо людьми. Иногда Радич, заметив какого-нибудь пассажира, говорит Лалле: «Гляди, что будет».

Он подходит прямо к пассажиру, только что вышедшему из здания вокзала и слегка ошалевшему от яркого солнечного света, и просит милостыню. И поскольку улыбка у него обаятельная и грустные глаза, пассажир останавливается и начинает рыться в карманах. Чаще всего Радичу подадут мужчины лет тридцати, хорошо одетые и приехавшие налегке. С женщинами труднее: они начинают задавать вопросы, а Радич не любит, когда его расспрашивают. Заметив молодую, приличного вида женщину, он

подталкивает Лаллу и говорит: «Пойди попроси у нее».

Но Лалла не решается просить подавания. Ей немного стыдно. Хотя минутами ей очень хочется иметь немного денег, чтобы купить пирожное или сходить в кино.

— Я последний год промышляю этим делом, — говорит Радич. — На будущий год уеду, буду работать в Париже.

Лалла интересуется почему.

— Потому что на будущий год я стану слишком взрослым, а люди взрослым не подают, говорят: «Иди работай».

Он смотрит на Лаллу, потом спрашивает, работает ли она. Лалла качает головой.

Радич показывает ей на парня, который проходит внизу, возле автобусов.

— Он работает вместе со мной, у нас общий хозяин.

Это молодой негр, очень худой, кожа да кости; он подходит к пассажирам, предлагая поднести багаж, но, похоже, дела у него идут плохо. Радич пожимает плечами:

— Не умеет он взяться за дело. Зовут его Баки, не знаю, что это значит, но другие негры смеются, когда он называет свое имя. Он всегда приносит хозяину одни гроши.

Заметив удивление во взгляде Лаллы, Радич поясняет:

— Ну да, ты ведь не знаешь, наш хозяин — цыган, как и я. Зовут его Лино. А то место, где мы все живем, зовется ночлежкой. Большой такой дом. Там полно детей, и все работают на Лино.

Радич знает по имени всех городских нищих. Знает, где они живут, с кем работают, знает даже простых бродяг, которые обретаются в одиночку, сами по себе. Некоторые ребяташки промышляют целой семьей, с братьями и сестрами, и еще подворовывают в больших магазинах и универсамах. Самые маленькие стоят на стреме или отвлекают продавцов, а иногда передают краденое. В особенности много нищенок-цыганок в длинных цветастых платьях, с лицами, закрытыми черным покрывалом, сквозь которое видны одни глаза, черные и блестящие, как у птиц. Есть еще старики и старухи, несчастные, голодные, которые хватают за куртки и юбки хорошо одетых людей и, бормоча заклинания, не отпускают их, пока те не подадут какую-нибудь мелочь.

У Лаллы сжимается сердце, когда она их видит или когда ей попадает на глаза молодая уродливая женщина с сосущим ее грудь младенцем, которая просит милостыню на углу широкого проспекта. Прежде Лалла не вполне понимала, что такое страх, потому что там, у Хартани, бояться можно было только змей да скорпионов, ну еще злых духов, зыбкими тенями притаившихся в ночи; но здесь царит страх перед пустотой, нуждой, голодом, безмянный страх; он словно сочится из зловещих, вонючих подвалов, из их приоткрытых форточек, поднимается из темных дворов-колодцев, проникает в холодные, как могилы, комнаты или, подобно тлетворному ветру, мчится по широким проспектам, где без остановки, без передышки, день и ночь, из месяца в месяц, из года в год идут, идут, уходят, теснятся люди под неумолкающее шарканье каучуковых подошв, наполняя тяжелый воздух гулом своих слов, своих машин, своим бормотаньем и пыхтеньем.

Иногда голова у Лаллы кружится так сильно, что она должна немедленно, сию же минуту, куда-нибудь сесть, и она ищет глазами, обо что можно опереться. Ее смуглая, отливающая металлом кожа становится серой, глаза тухнут, и она медленно оседает, словно опускаясь в глубокий колодец, без надежды выкарабкаться на поверхность.

— Что с вами, мадемуазель? Ну как, лучше? Вам лучше?

Голос кричит откуда-то издалека; прежде чем к ней возвращается зрение, Лалла чувствует, как кто-то дышит ей в лицо чесноком. Она полулежит на тротуаре, привалившись к стене. Какой-то человек держит ее за руку, склонившись над нею.

— Мне лучше, уже лучше...

Ей удается заговорить медленно-медленно, а может, она только мысленно произносит эти слова?

Человек помогает ей встать, подводит к террасе кафе. Собравшаяся вокруг толпа рассеивается, но все же Лалла слышит, как женский голос решительно объявляет:

— Да она просто-напросто беременная.

Человек усаживает ее за столик. Он все так же наклоняется к ней. Это маленький толстяк с рябым лицом, уса́тый и почти совсем лысый.

— Вам надо чего-нибудь выпить, это вас подкрепит.

— Я хочу есть, — говорит Лалла. Ей все безразлично, она думает, что, как видно, сейчас умрет. — Я хочу есть, — медленно повторяет она.

Человек испуган, он что-то лепечет. Он вскакивает, бежит к стойке и тут же возвращается с сэндвичем и корзиночкой с бриошами. Лалла не слушает, что он говорит, она жадно ест — сначала сэндвич, потом одну за другой все бриоши. Человек смотрит, как она ест, его пухлое лицо все еще выражает волнение. Он выпаливает несколько фраз, потом умолкает, боясь утомить Лаллу.

— Когда вы вдруг упали, прямо у моих ног, не знаю, что со мной стало, до того я перепугался! Бывало с вами раньше такое? Или это в первый раз? Я просто хочу сказать, это ведь ужасно, на улице столько народу, те, что шли за вами, чуть на вас не наступили и даже не остановились, это ведь... Меня зовут Поль, Поль Эстев. А вас? Вы говорите по-французски? Вы ведь приезжая, правда? Вы сыты? Хотите, я принесу еще сэндвич?

От него сильно пахнет чесноком, табаком и вином, но Лалла рада, что он рядом, он кажется ей славным, и в глазах ее появляется слабый блеск. Он замечает это и снова начинает говорить взхлеб, сразу за двоих, одновременно и спрашивая и отвечая:

— Ну как, вы наелись? Хотите чего-нибудь выпить? Немножко коньяку? Нет, пожалуй, чего-нибудь сладкого, это лучше при слабости, скажем кока? А не то фруктового соку? Я вас не очень утомил? Понимаете, я в первый раз вижу, как человек падает в обморок, вот так, прямо на землю, и я, понимаете, я просто потрясен... Я служащий... Работаю в Почтовом ведомстве, ну вот, и, понимаете, я не привык... словом, я хочу сказать, может, вам надо показаться врачу, хотите, я позвоню?

Он уже вскакивает с места, но Лалла качает головой, и он снова садится. Немного погодя она выпивает горячего чаю, и силы возвращаются к ней. Смуглая кожа снова приобрела медный оттенок, глаза сияют. Она встает, толстяк выводит ее на улицу.

— Вы... вы уверены, что теперь уже все в порядке... Вы дойдете одна?

— Да-да, спасибо, — отвечает Лалла.

На прощанье Поль Эстев пишет на клочке бумаги свое имя и адрес.

— Если вам что-нибудь понадобится...

Он пожимает Лалле руку. Ростом он не намного выше ее. Его голубые глаза все еще затуманены волнением.

— До свидания, — говорит Лалла. И, не оборачиваясь, идет прочь так быстро, как только может.

---

Город кишит собаками. В отличие от нищих, они предпочитают жить в Панье, между площадью Ланш и улицей Рефюж. Лалла смотрит, когда они пробегают мимо, собаки всегда приковывают ее внимание. Тощие, со взъерошенной шерстью, они совсем не похожи, однако, на тех диких собак, что воровали в Городке кур и овец; здешние гораздо больше и сильнее, и во всем облике их есть что-то опасное, какая-то отчаянность. В поисках пищи они роются во всех помойках, гложут старые кости, рыбы головы, пожирают ошметки, которые им бросают мясники. Одного пса Лалла особенно отличает. Он всегда сидит в одном и том же месте, у подножия лестницы на улицу, которая ведет к большой полосатой церкви. Пес весь черный, только на шее белая полоска, спускающаяся на грудь.

Зовут его не то Диб, не то Хиб, Лалла в точности не знает, но это не имеет никакого значения, ведь пес бездомный. Лалла слышала, что так его окликал на улице какой-то мальчонка. При виде Лаллы пес как будто радуется, он виляет хвостом, но не подходит к ней близко, да и к себе никого не подпускает. Лалла просто говорит ему несколько слов, спрашивает, как он поживает, но на ходу, не останавливаясь, а если у нее с собой какая-нибудь еда, бросает ему кусочек.

Здесь, в Панье, все более или менее знают друг друга. Не то что в остальных кварталах города, где по широким проспектам стремятся людские потоки под грохот моторов и башмаков. Здесь, в Панье, улочки короткие, извилистые, они переходят в другие улочки, переулки, проходы, лестницы, этот квартал напоминает большую квартиру с коридорами и проходными комнатами. И все же, если не считать большого черного пса по имени Диб или Хиб да нескольких ребятишек, имен которых Лалла не знает, большинство жителей, кажется, ее даже не замечают. Лалла бесшумно скользит от одной улицы к другой, следуя за движением солнца по небосклону, за его лучами.

Быть может, здешние люди чего-то боятся? Но чего? Трудно сказать, они словно бы под надзором и должны следить за каждым своим движением, за каждым словом. Но на самом деле никакого надзора за ними нет. Так, может, это оттого, что все они говорят на разных языках? Тут есть уроженцы Северной Африки, Магриба, марокканцы, алжирцы, тунисцы, мавританцы; есть и другие африканцы: сенегальцы, малийцы, дагомейцы; есть и евреи из разных стран, которые всегда говорят на языке, немного отличном от языка той страны, откуда они приехали; есть тут португальцы, испанцы, итальянцы и странненькие, не похожие на остальных, югославы, турки, армяне, литовцы. Лалла не знает, что это за народы, но так их называют в Панье, и Амма все эти названия знает. Но особенно много здесь цыган, вроде тех, что живут в соседнем доме, их так много, что невозможно упомнить, встречал ли ты их раньше, или это приехали новые; они не любят ни арабов, ни испанцев, ни югославов; они никого не любят, потому что не привыкли жить в таком месте, как Панье, вот и готовы в любую минуту затеять драку, даже дети, даже женщины; по словам Аммы, они держат во рту лезвие бритвы. Иногда ночью обитателей Панье будит шум уличной драки. Лалла сбегает по лестнице вниз и видит: на улице в бледном свете фонаря по земле ползет человек, придерживая рукой нож, всаженный ему в грудь. Наутро по улице тянется длинный липкий след, а над ним вьются мухи.

Иногда в квартал наведываются полицейские, они оставляют свою большую черную машину у подножия лестницы и заходят в дома, в

особенности в те, где живут арабы и цыгане. Есть полицейские в мундирах и фуражках, они не самые опасные; опаснее другие — те, что ходят в штатской одежде, в сером пиджаке и водолазке. Они стучат в дверь, громко стучат — им надо отворять немедленно — и входят в дом, не говоря ни слова, посмотреть, кто здесь живет. У Аммы полицейский усаживается на обитый искусственной кожей диван, на котором спит Лалла; сейчас он его продавит, думает девушка, и вечером, когда она будет стелить постель, в том месте, где сидел полицейский, окажется дыра.

— Фамилия? Имя? Какого племени? Разрешение на жительство? Разрешение на работу? Имя нанимателя? Номер полиса социального страхования? Договор с домохозяином, квитанция об оплате квартиры?

Он даже не глядит на бумаги, которые, одну за другой, ему подает Амма. Он сидит на диване и со скучающим видом покуривает сигарету. Но все же бросает взгляд на Лаллу, которая настороженно стоит у двери в комнату Аммы.

— Это твоя дочь? — спрашивает он у Аммы.

— Племянница, — отвечает та.

Полицейский берет бумаги и начинает их изучать.

— Где ее родители?

— Умерли.

— А-а! — говорит полицейский. Он продолжает изучать бумаги, словно о чем-то раздумывая. — Она работает?

— Пока еще нет, мсье, — говорит Амма. Она говорит «мсье», когда чего-нибудь боится.

— Но она собирается работать?

— Да, мсье, если найдет работу. Девушке нелегко найти работу.

— Ей семнадцать?

— Да, мсье.

— Ты смотри, приглядывай за ней, семнадцатилетней девушке тут опасно.

Амма ничего не отвечает. Полицейский, полагая, что она ничего не поняла, продолжает твердить свое. Он говорит медленно, с расстановкой, и глаза его блещут, словно теперь наконец ему стало интересно.

— Гляди, чтоб твоя дочь не кончила на панели, на улице Пуа де ла Фарин. Там полно таких девчонок, как она, поняла?

— Да, мсье, — говорит Амма. Она не решается повторить, что Лалла не ее дочь.

Но полицейский чувствует устремленный на него тяжелый взгляд Лаллы, и ему не по себе. На несколько секунд он умолкает, молчание становится нестерпимым. И вдруг толстяка прорвало, он говорит в бешенстве, сузив от злости глаза:

— «Да, мсье, понимаю, мсье» — все так твердят, а потом в один прекрасный день твоя дочка окажется на панели, станет десятифранковой шлюхой, тогда не хнычь, не говори, что ты, мол, не знала — я тебя предупредил.

Он почти кричит, вены на его висках вздулись. Амма замирает, не двигаясь, словно оцепенев, но Лалла не испугалась толстяка. Она жестко смотрит на него, подходит к нему и говорит только:

— Уходите.

Полицейский глядит на нее, опешив, словно она обругала его. Вот он открыл рот, сейчас он встанет и, чего доброго, отхлещет Лаллу по щекам. Но взгляд девушки тверд как клинок, выдержать его трудно. Полицейский рывком вскакивает, в мгновение ока исчезает за дверь и скатывается вниз по

лестнице. Лалла слышит, как хлопает входная дверь. Он ушел.

Амма плачет теперь, сидя на диване и закрыв руками лицо. Лалла подходит к ней, обнимает за плечи, целует в щеку, чтобы утешить.

— Наверное, мне надо уехать отсюда, — говорит она ласково, как ребенку.  
— Правда, мне, может, лучше уехать.

— Нет-нет, — возражает Амма и плачет еще пуще.

Ночью, когда все вокруг погружается в сон и слышно только, как ветер рвет жестяные листы на крыше да где-то капает вода, Лалла лежит на своем диване с открытыми глазами, глядя в темноту. Она вспоминает об их доме там, в Городке, далеко-далеко, и о том, как, бывало, налетал холодный ночной ветер. Ей так хотелось бы распахнуть дверь и, как когда-то, сразу очутиться под открытым небом, среди глубокой ночи, озаренной мириадами звезд. Ощутить босыми ногами твердую, стылую землю. Услышать, как потрескивает морозец, как кричат козодои, ухает сова и воют дикие собаки. Так бы и шла она одна во мраке ночи, под пение цикад, до самых каменных холмов или по тропинке в дюнах, прислушиваясь к дыханию моря.

Во все глаза всматривается она в ночной мрак, словно под взглядом ее вновь может распахнуться небо, словно он способен вызвать к жизни исчезнувшие лица, очертания железных крыш, стен из досок и картона и всех их: старого Намана, девушек у колонки, Сусси, сыновей Аммы и, главное, его, Хартани, каким он был, когда неподвижно стоял на одной ноге под знойным солнцем пустыни, закутавшись с головой в свой бурнус, безмолвный, без единого знака гнева или усталости, когда он стоял возле нее, словно в ожидании смерти, а люди из Красного Креста явились за ней, чтобы увезти с собой. Хотелось бы ей увидеть и того, кого она звала Ас-Сир, Тайна, того, чей далекий взгляд обволакивал ее, пронизывал до самых глубин, словно луч солнца.

Но разве могут они очутиться здесь, по ту сторону моря, по ту сторону всего?

Разве могут они найти дорогу среди всех этих дорог, найти нужную дверь среди всех этих дверей?

Темнота в комнате по-прежнему непроницаема, и в ней пусто, так пусто, что образуется какой-то водоворот, он кружит, втягивая Лаллу в свою воронку. Лалла противится изо всех сил, вцепившись в диван, ее напрягшееся тело вот-вот переломится. Ей хочется кричать, выть, чтобы прорвать безмолвие, сбросить с себя груз ночи. Но судорожно сжатое горло не может издать ни звука, даже дышит Лалла мучительно, с трудом, со свистом, точно выпуская пар. Несколько минут, а может, несколько часов борется она с судорогой, скрутившей ее тело. Наконец внезапно, с первым лучом зари, проникающим во двор, вихрь вдруг утихает, рассеивается. Обессиленное, расслабленное тело Лаллы обмякло на диване. Она думает о ребенке в своем чреве, и в первый раз ей становится горько при мысли о том, что она причинила зло существу, которое от нее зависит. Она кладет ладони на живот и держит их, пока тепло ее рук не поникает до самых недр ее тела. И долго беззвучно плачет, всхлипывая совсем неслышно, плачет, как дышит.

---

Обитатели Панье — его пленники. Быть может, они сами этого по-настоящему не сознают. Быть может, им кажется, что когда-нибудь они вырвутся отсюда, возвратятся в свои горные деревушки и топкие долины,

вновь увидят тех, кого покинули, родителей, детей, друзей. Но это невозможно. Узкие улочки, стиснутые старыми, обветшалыми стенами; сырые, холодные комнаты, где серый воздух камнем наваливается на грудь; душны мастерские, где девушки сидят у машинок и шьют брюки и платья; больничные палаты; строительные площадки; дороги, где грохочут пневматические молотки, — все держит их в плену, в оковах, в цепях, им никогда не освободиться.

Лалла наконец нашла работу. Она нанялась уборщицей в гостиницу «Сент-Бланш» на северной окраине старого города, неподалеку от широкого проспекта, где она как-то познакомилась с Радичем. Каждый день она выходит из дому ранним утром, еще до открытия магазинов. Плотнo закутавшись от холода в коричневое пальто, идет она через весь город по темным улочкам, взбирается по лестницам, где со ступеньки на ступеньку стекает грязная вода. На улицах почти не видно людей — одни только взъерошенные собаки, которые роятся в помойках среди отбросов. В кармане у Лаллы кусок черствого хлеба: в гостинице ее не кормят; иногда она делится им со старым черным псом по кличке не то Диб, не то Хиб. Едва она приходит, хозяин гостиницы вручает ей ведро и половую щетку, чтобы она вымыла лестницы, хотя, по мнению Лаллы, от этого мытья никакого проку — такие они грязные. Хозяин еще не старый человек, но лицо у него желтое, глаза отеки, словно он никогда не высыпается. Гостиница «Сент-Бланш» — трехэтажный полуразрушенный дом, на первом этаже помещается похоронное бюро. В первый раз, когда Лалла переступила порог гостиницы, она порядком струхнула — еле удержалась, чтобы сразу не сбежать, ее ужаснули грязь, холод и вонь. Но теперь она привыкла. Так же как к квартире Аммы или кварталу Панье — все дело в привычке. Надо только поплотнее сжать губы и втягивать воздух медленно и понемногу, чтобы в тебя не проник запах нищеты, болезни и смерти, который царит на этих лестницах, в этих коридорах и углах, населенных пауками и тараканами.

Хозяин гостиницы не то турок, не то грек. Лалла в точности не знает. Дав ей ведро и щетку, он возвращается к себе на второй этаж и снова ложится в постель. Дверь в его комнату застеклена, чтобы он с постели мог наблюдать за всеми, кто приходит и уходит. Живут в гостинице только бедняки из бедняков, и одни мужчины. Североафриканцы, работающие на стройках, негры с Антильских островов, а также испанцы, у которых нет ни семьи, ни дома, и они поселяются здесь в надежде со временем подыскать что-нибудь получше. Но потом привыкают и остаются, а частенько и вовсе возвращаются на родину, так и не найдя ничего подходящего, потому что квартиру снять дорого, да к тому же обитатели города не желают сдавать жилье таким съемщикам. Вот они и живут в гостинице «Сент-Бланш», по двое — по трое в комнате, не зная друг друга. Каждое утро перед уходом на работу они стучат в застекленную дверь к хозяину и платят ему за ночь вперед.

Протерев грязные ступени лестницы и липкий линолеум в коридорах, Лалла скребет щеткой уборные и единственную душевую, хотя и там грязь лежит таким плотным слоем, что даже жесткие волосы щетки не могут ее соскоблить. Потом она прибирает в комнатах: вытряхивает окурки, выметает крошки и пыль. Хозяин дает ей свои ключи, и она ходит из комнаты в комнату. Гостиница в это время пуста. В комнатах убрать недолго: обитатели их почти нищие, весь их скарб — картонный чемодан, полиэтиленовый мешок с грязным бельем да кусок мыла в газетной бумаге. Иногда на столе лежит конверт с фотографиями. Лалла вглядывается в полустертые лица на глянцевой бумаге, в нежные личики детей и женщин, видные смутно, как



сквозь туман. Иногда здесь валяются и письма в грубых конвертах, порой ключи, пустые кошельки, сувениры, купленные на толкучке у старого порта, пластмассовые игрушки для детей, изображенных на расплывчатых снимках. Лалла долго разглядывает все эти предметы, перебирает их мокрыми руками, смотрит на хрупкие сокровища, и кажется, что, замечтавшись, она вот-вот проникнет в мир тусклых фотографий, услышит голоса и смех изображенных на них людей, увидит свет их улыбок. Но очарование быстро рассеивается, Лалла продолжает подметать комнату, убирает крошки наспех проглоченной еды, восстанавливая унылую, серую безликость, на мгновение нарушенную игрушками и фотографиями. Иногда на неубранной постели Лалла находит журнал с непристойными снимками: голые женщины с раздвинутыми ляжками, с тяжелыми, набухшими, точно огромные апельсины, грудями; женщины с ярко накрашенными губами, с пристальным взглядом подведенных синевой или зеленью глаз, с белокуроыми или рыжими волосами. Страницы измятые, слипшиеся, снимки стертые, грязные, словно их подобрали на улице, из-под ног у прохожих.

Лалла рассматривает журналы, и сердце у нее начинает биться чаще от горестной тоски; тщательно расправив страницы и водворив на место обложку, словно это еще одно драгоценное воспоминание, она оставляет журнал на прибранной постели.

Когда Лалла делает уборку на лестницах и в комнатах, она не встречает ни души. Она не знает в лицо постояльцев, да и они, торопясь по утрам на работу, проходят мимо, не глядя на нее. К тому же Лалла одевается так, чтобы ее не замечали. Под коричневым пальто на ней серое платье Аммы, доходящее почти до щиколоток. Голову она подвязывает большим платком, а на ногах у нее черные босоножки на резине. В темных гостиничных коридорах, устланных грязновато-бордовым линолеумом среди заляпанных дверей ее черно-серый, едва различимый силуэт похож на ворох тряпья. Знают ее только хозяин гостиницы да дежурящий до утра ночной сторож, высокий и очень худой алжирец с суровым лицом и прекрасными, как у Намана-рыбака, зелеными глазами. Он всегда здоровается с Лаллой по-французски и говорит ей несколько ласковых слов, и, поскольку его глубокий голос звучит с такой церемонной вежливостью, Лалла улыбается ему в ответ. Быть может, только он один здесь замечает, что Лалла — молодая девушка, единственный, кто, несмотря на унылую, темную одежду, рассмотрел прекрасное смуглое лицо и лучистые глаза. Для других она словно бы и не существует.

Лалла заканчивает уборку в гостинице, когда солнце стоит еще высоко в небе. И она идет по широкому проспекту к морю. В это мгновение она забывает обо всем, словно все стирается у нее в памяти. По тротуарам проспекта так же стремительно течет толпа, все так же спешит к чему-то неведомому. Вот мужчины в очках с зеркальными стеклами, они шагают торопливыми широкими шагами, а им навстречу идут бедняки в поношенной одежде, с настороженным, как у лисиц, взглядом. Вот стайки девушек в облегающих нарядах, они постукивают каблучками — цок-цок. Машины, мотоциклы, велосипеды, грузовики, автобусы мчатся на бешеной скорости к морю или к центру города, в них сидят мужчины и женщины, как две капли воды похожие друг на друга. Лалла идет по тротуару, она видит все это: суету, очертания предметов, игру света, и все это проникает в нее, вихрем кружит в ней. Она голодна, она устала от работы в гостинице, и все же ей хочется шагать и шагать, чтобы вобрать побольше света, чтобы изгнать сумрак, угнездившийся где-то внутри. По проспекту гуляет порывистый и холодный зимний ветер, вздымает пыль, гонит обрывки старых газет. Лалла прикрывает

глаза и идет, слегка нагнувшись вперед, как когда-то в пустыне, к источнику света в конце проспекта.

Когда она доходит до порта, она совсем как пьяная, пошатывается на краю тротуара. Здесь ветер кружит на свободе, гонит перед собой воду, хлопает снастями. Свет струится не отсюда, а откуда-то издалека, из-за горизонта, с юга, и Лалла идет вдоль набережных к морю. Вокруг нее гудят голоса и моторы, но она их не замечает. То бегом, то шагом спешит она к высокой полосатой церкви, потом еще дальше и наконец добирается до заброшенной части набережной, туда, где ветер взметает цементную пыль.

Тут вдруг сразу наступает тишина, словно она и впрямь оказалась в пустыне. Перед ней тянется белая полоса набережных, освещенных ярким солнцем. Лалла медленно бредет мимо огромных грузовых судов под стрелами подъемных кранов, между рядами красных контейнеров. Здесь нет ни людей, ни моторов — только белый камень и цемент да темная вода доков. Выбрав защищенный от ветра уголок между двумя рядами контейнеров, покрытых синим брезентом, она садится здесь, спрятавшись от ветра, чтобы, глядя на воду, съесть кусок хлеба с сыром. Иногда мимо нее с криком пролетают большие морские птицы, и Лалла вспоминает о своей любимой ложбине в дюнах и о белой птице, заколдованном морском принце. Она угощает хлебом чаек, а иногда к ней слетаются также и голуби. Здесь всегда тихо, никто ни разу не потревожил ее. Только изредка пройдет с удочкой рыбак в поисках места, где хорошо клюет, но он разве что мимоходом покосится на Лаллу и идет себе дальше. Или какой-нибудь мальчонка, заложив руки в карманы, пробежит мимо, подкидывая ногой ржавую консервную банку.

Лалла чувствует, как солнечные лучи мало-помалу проникают в нее, заполняют ее душу, изгоняют все, что там было темного и печального. Она забывает о доме Аммы, об угрюмых дворах, где течет мыльная вода, в которой стирали белье. Забывает гостиницу «Сент-Бланш» и даже все эти улицы, проспекты и бульвары, по которым неустанно и шумно снуют люди. Она становится словно бы частицей поросшего лишайником и мхом утеса, такая же неподвижная, бездумная, как бы расширившаяся от солнечного тепла. Иногда она даже засыпает, привалившись к синему брезенту и уткнув подбородок в колени, и ей снится, будто она плывет на корабле по глади моря на другой конец света.

Грузовые суда медленно скользят по черной воде порта. Они выходят из доков в открытое море. Лалла любит бежать по набережным, провожая их как можно дальше. Прочитать название на борту судна она не может, но разглядывает флаги, пятна ржавчины на обшивке, изогнутые грузовые стрелы, похожие на антенны, трубы, на которых нарисованы звезды, кресты, квадраты и солнце. Впереди грузовых судов, переваливаясь с боку на бок, словно какое-то насекомое, идет лоцманское судно; выйдя в открытое море, пароход дает один или два гудка, чтобы попрощаться.

Хороша и вода в порту. Лалла часто садится у причальной тумбы, свесив над водой ноги. И смотрит на радужные пятна, нефтяные облака, то и дело меняющие форму, и на всякую всячину, всплывающую на поверхность: бутылки из-под пива, апельсиновую кожуру, полиэтиленовые мешочки, куски дерева и обрывки веревки — и странную коричневатую пену, неизвестно откуда взявшуюся, которая кромкой слизи оседает вдоль набережных. За кормой каждого проходящего судна плещется струя воды, волны разбегаются в стороны, бьются о стены набережной. Временами налетает вдруг резкий ветер, он морщит воду в доках, вызывает рябь на поверхности, мутит отражения кораблей.

Иногда зимой, в солнечные дни, к Лалле приходит Радич-побирушка. Он медленно идет вдоль набережных, но Лалла еще издали узнаёт его, выбирается из своего убежища за брезентом и свистит, заложив пальцы в рот, как пастухи в краю Хартани. Паренек бежит к ней, они садятся рядом у причала и молча смотрят на воду.

Потом Радич показывает Лалле то, чего она никогда не замечала: на поверхности черной воды от маленьких бесшумных взрывов расходятся волны. Сначала Лалла подняла голову кверху, решив, что это дождевые капли. Но нет, небо чистое. Тогда она поняла: это пузырьки, поднимающиеся со дна, они лопаются на поверхности. И вот приятели уже вместе любуются извержениями пузырьков.

— Гляди-гляди, вон там!

— А вот еще, гляди!

— А теперь здесь!..

Откуда берутся эти пузырьки? Радич уверяет, будто их выдыхают рыбы, но Лалла думает, что скорее уж растения, и вспоминает таинственные водоросли, которые медленно колышутся на дне порта.

Потом Радич вынимает спичечный коробок. Он говорит, что ему охота покурить, но на самом деле ему нравится не курить, а зажигать спички. Когда у него заводится немного собственных денег, он покупает в табачном киоске большой коробок спичек, на котором нарисована танцующая цыганка. Потом садится в каком-нибудь укромном уголке и одну за другой зажигает спички. Он чиркает ими быстро-быстро — просто ради удовольствия видеть, как, шипя, точно ракета, вспыхивает маленькая красная головка, а потом на конце деревянной палочки под защитой его ладоней пляшет красивое оранжевое пламя.

В порту очень ветрено, Лалле приходится распахнуть полы своего пальто, образовав что-то вроде палатки, едкий запах фосфора щекочет ей ноздри. Каждый раз, когда Радич чиркает спичкой, оба хохочут во все горло и по очереди пытаются удержать в руке маленькую деревянную палочку. Радич учит Лаллу, как сделать так, чтобы спичка сгорела дотла: надо облизать пальцы и взять ими обугленный кончик. Когда Лалла берет спичку за еще краснеющий кончик, раздается тихое шипенье, уголек обжигает большой и указательный пальцы, но жжение это приятное. Лалла смотрит, как пламя пожирает спичку, а уголек извивается словно живой.

Потом они выкуривают вдвоем одну сигарету, прислонившись к синему брезенту и глядя вдаль, туда, где в порту темнеет вода, а небо цвета цементной пыли.

— Сколько тебе лет? — спрашивает Радич.

— Семнадцать, но скоро будет восемнадцать, — отвечает Лалла.

— А мне в будущем месяце четырнадцать, — говорит Радич.

Он задумывается, сдвинув брови.

— А ты... ты уже спала с мужчиной?..

Лалла удивилась его вопросу.

— Нет, то есть да, а почему ты спрашиваешь?

Радич так глубоко задумался, что забыл передать сигарету Лалле, он выпускает одну струйку дыма за другой, но не затягивается.

— А я еще нет, — говорит он.

— Ты про что?

— Я еще не спал с женщиной.

— Тебе еще рано.

— Ничего подобного! — возражает Радич. Волнуясь, он слегка заикается.

— Ерунда! Все мои приятели уже спали с женщинами, а некоторые даже завели себе подружек, и они надо мной смеются: говорят, будто я педик, потому что у меня нет женщины.

Он снова задумался, попыхивая сигаретой.

— А мне наплевать на то, что они болтают. По-моему, нехорошо спать с женщиной просто так, ну для форсу, для потехи. Все равно как с сигаретами. Знаешь, я никогда не курю при других, там, в ночлежке. Вот они и думают, что я вообще не курю, и смеются надо мной. Они просто не знают, но мне наплевать, я и не хочу, чтобы они знали.

Теперь он снова передает сигарету Лалле. От окурка почти ничего не осталось. Лалле хватает разок затянуться, и она давит окурки о землю.

— Знаешь, а у меня будет ребенок.

Она сама не знает, зачем сказала это Радичу. Он долго глядит на нее, ничего не отвечая. Глаза его потемнели, потом вдруг опять засияли.

— Вот и хорошо, — серьезно говорит он. — Очень хорошо, я очень рад.

Он так обрадовался, что не может усидеть на месте. Встает, прохаживается у воды, а потом возвращается к Лалле.

— Придешь ко мне в гости, туда, где я живу?

— Если хочешь, приду, — отвечает Лалла.

— Только это далеко, надо ехать на автобусе, а потом долго идти до резервуаров. Когда захочешь, мы поедем вместе, а то ты заблудишься.

И он убегает. Солнце садится, оно почти касается крыш больших домов за набережными. Грузовые суда, похожие на большие ржавые скалы, стоят все так же неподвижно, а мимо них, описывая круги над мачтами, медленно пролетают чайки.



Бывают дни, когда Лалле слышится голос страха. Трудно объяснить, что это такое. словно бьют чем-то тяжелым по железу, и еще какой-то глухой гул, который слышишь не ухом, а ступнями ног, но отдается он во всем теле. Быть может, это говорит одиночество, и еще голод, всеобъемлющий голод — по ласке, по свету, по песням.

Когда, окончив работу в гостинице «Сент-Бланш», Лалла выходит за порог, на нее обрушивается с неба слишком яркий солнечный свет, и ее шатает. Она как можно глубже втягивает шею в воротник своего коричневого пальто, а голову до самых бровей обматывает серым платком тетки, но все-таки не может укрыться от слепящей белизны неба, от пустоты улиц. Дурнота поднимается откуда-то из живота, подступает к горлу, наполняет рот горечью. Лалла быстро присаживается где попало, не пытаясь понять, что с ней, ни о чем не думая, не обращая внимания на прохожих, — она боится снова упасть в обморок. Из всех сил борется она с дурнотой, пытаясь утишить сердцебиение, смирить буйство в своем чреве. Она кладет обе руки на живот, чтобы ласковое тепло ее ладоней через платье проникло внутрь и младенец почувствовал его. Так она помогала себе раньше, когда ее одолевали мучительные боли в низу живота, словно какой-то зверь терзал ее внутренности. А потом она начинает раскачиваться взад и вперед, сидя на краю тротуара, рядом со стоящими вдоль него машинами.

Люди идут мимо, не останавливаясь. Они немного замедляют шаг, точно хотят подойти, но, когда Лалла поднимает голову, в ее глазах такая мука, что они в страхе спешат прочь.

Через некоторое время боль под ее ладонями утихает. Грудь начинает

дышать свободнее. Несмотря на холод, Лаллу бросает в пот, влажное платье прилипает к спине. Наверное, это и есть голос страха, тот, что слышишь не ухом, а чувствуешь ступнями ног и всем телом, тот, что опустошает улицы города.

Лалла идет в старый город, медленно поднимается по щербатым ступеням лестницы, по которой стекает вонючая вода. На верху лестницы она сворачивает налево, потом шагает по улице Бон-Жезю. Старые, облупившиеся стены исписаны мелом — непонятными, полустершимися буквами, рисунками. Тротуар весь в красных пятнах, похожих на пятна крови, там копошатся мухи. Красный цвет отдается в голове Лаллы гудением паровой сирены, он свистит, он просверливает черепную коробку, опустошает мозг. Медленно, с усилием, перешагивает Лалла через первое красное пятно, через второе, через третье. Среди красных пятен белеют какие-то странные предметы: хрящи, сломанные кости, кожа; в голове у Лаллы гудит все сильнее. Она пытается бежать бегом по склону уходящей вниз улицы, но по мокрым камням бежать скользко, особенно когда обувь на резине. На улице Тимон старые стены тоже исчерканы мелом — какие-то слова, а может, имена. Дальше изображена голая женщина, с грудями, похожими на глаза, и Лалле вспоминаются порнографические журналы на неубранной кровати в номере гостиницы. А еще дальше, на старой двери, нарисован мелом огромный фаллос, похожий на гротескную маску.

Лалла продолжает свой путь едва дыша. Холодный пот струится у нее по лбу, по спине, стекает на поясницу, щиплет под мышками. В этот час улицы безлюдны, только взъерошенные собаки, ворча, гложут кости. Окна, почти вровень с землей, забраны решетками, металлическими сетками. А те, что повыше, наглухо закрыты ставнями, дома кажутся необитаемыми. Из отдушин подвалов, темных окон тянет холодом смерти. Смерть словно обдаёт улицу своим тлетворным дыханием, оно заполняет каждую зловонную выбоину у подножия стен. Куда идти? Лалла снова медленно бредет вперед, еще раз сворачивает направо, где высится старый дом. Лалле всегда немного страшно, когда она глядит на его большие окна, забраные решетками: ей кажется, что это тюрьма, где некогда умирали люди, говорят даже, будто ночью из-за решеток порой слышатся стоны узников. Лалла медленно спускается вниз по всегда безлюдной улице Пистоль, потом проходит мимо старой богадельни, пытаясь разглядеть над серым каменным порталом полюбившийся ей странный розовый купол. Иногда она присаживается здесь у порога какого-нибудь дома и, забыв обо всем, долго любуется куполом, похожим на облако, пока какая-нибудь женщина не подойдет к ней, не спросит, что она тут делает, и не прогонит ее прочь.

Но сегодня даже розовый купол внушает ей страх, словно за узкими окнами притаилась угроза или словно это гробница. Не оглядываясь, она торопливо идет прочь и тихими улочками вновь спускается вниз, к морю. Под порывами ветра хлопает белье: большие белые простыни с обтрепанными краями, детская и мужская одежда, голубое и розовое женское исподнее. Лалле неприятно на него смотреть, оно словно обрисовывает невидимые тела, ноги, груди, какие-то обезглавленные останки. Она бредет по улице Родийа, здесь опять тянутся низкие окна, забраные сетками и решетками, за ними томятся в плену взрослые и дети. По временам до Лаллы доносятся обрывки разговоров, звон посуды или стук кастрюль, а иногда гнусавая музыка, и она думает обо всех тех, кто заточен в холоде и мраке этих комнат с тараканами и крысами, обо всех тех, кто больше не увидит солнечного света, не вдохнет свежего ветра.

Вот здесь, в комнате за почерневшими и треснувшими стеклами, живет толстая женщина-калека, она живет одна с двумя тощими кошками и вечно рассказывает о своем саде, о своих розах и деревьях, о высоком лимонном дереве, приносящем вкуснейшие в мире лимоны, а у самой нет ничего, кроме холодного темного угла да двух слепых кошек. А здесь ютится Ибрагим, старый солдат из Орана, который сражался с немцами, с турками и сербами и в ответ на расспросы Лаллы не устает повторять названия мест, где происходили бои: Салоники, Варна, Бяла. Но разве и ему не суждено умереть в капкане облупившегося дома, где лестница такая темная и скользкая, что он спотыкается на каждой ступеньке, а стены стискивают его худую грудь, словно насквозь промокшее пальто? А тут живет испанка с шестью ребятишками, все они спят вповалку в одной комнате с узким оконцем и вечно рыщут по Панье, оборванные, бледные, голодные. А в этом доме, по которому проходит огромная трещина и на стенах словно выступает болезненный пот, живут больные муж с женой, они так громко кашляют, что Лалла иногда вздрагивает по ночам, словно и впрямь может через все стены услышать их кашель. И еще чета иностранцев: муж — итальянец, жена — гречанка, он каждый вечер напивается и жестоко избивает жену, молотит кулаками по голове, бьет ни с того ни с сего, даже не со зла, а просто потому, что она рядом и смотрит на него заплаканными глазами и лицо ее отекло от усталости. Лалла ненавидит итальянца; вспоминая о нем, она стискивает зубы, и в то же время ей внушает страх молчаливое, безнадежное отчаяние этого запоя и эта покорность жены, потому что ими пропитан каждый камень, каждое пятно на проклятых улицах этого города, каждый рисунок на стенах Панье.

Повсюду здесь царят голод, страх, зябкая бедность, повсюду здесь — старые, отсыревшие лохмотья, старые, увядшие лица.

Улица Панье, улица Було, переулок Буссену — везде те же облупленные стены, дома, верхние этажи которых уходят в холодное небо, а внизу застаивается зеленая вода и гниют кучи отходов. Здесь нет ни ос, ни мушек, которые свободно пляшут в воздухе среди золотых пылинок. Одни только люди, крысы и тараканы — все те, кто ютится в дырах, лишенных света, воздуха, неба. Лалла кружит по улицам, как старый лохматый черный пес, не находя покоя. Потом присаживается ненадолго на ступеньках лестницы у стены, за которой растет единственное в этой части города старое дерево, благоухающее фиговое дерево. И она вдруг вспоминает о дереве, которое любила у себя на родине, о дереве, у которого старый Наман чинил свои сети и рассказывал истории. Но она, как старый, усталый пес, не может долго оставаться на одном месте. Она вновь бредет по темному лабиринту улочек, а тем временем солнце опускается все ниже. Потом она присаживается на скамье в маленьком сквере, где обычно играют дети. Бывают дни, когда Лалла с удовольствием смотрит, как малыши топают перевалочку, растопырив руки, на нетвердых ногах. Но сейчас здесь совсем уж темно, и только старая темнокожая женщина в широком пестром платье сидит на одной из скамеек. Лалла садится рядом с ней и пытается вызвать ее на разговор: «Вы живете здесь? А откуда вы приехали? Из какой страны?» Старуха смотрит на нее непонимающим взглядом, потом, испугавшись, прикрывает лицо подолом пестрого платья.

За сквериком, в глубине площади, стена дома, хорошо знакомая Лалле. Лалла знает каждое пятно на ее штукатурке, каждую трещину, каждый ржавый подтек. На самом верху торчат черные раструбы дымоходов и водостоков. Под крышей — маленькие окошки без ставен, с грязными стеклами. Ниже комнатки старухи Иды на веревке висит белье, заскорузлое от дождя и пыли.

Еще ниже — окна цыган. Большая часть стекол выбита, кое-где не осталось даже рам — просто зияют черные дыры, похожие на пустые глазницы.

Лалла пристально глядит на эти темные провалы и вновь ощущает холодное и жуткое присутствие смерти. Она дрожит. Зловещая пустота царит на этой площади, вихрь пустоты и смерти вырывается из этих окон, кружит вокруг домов. На скамье рядом с ней, не шевелясь и не дыша, замерла старая мулатка. Лалле видны только ее исхудалые руки со вздутыми, похожими на веревки венами и длинными, испачканными хной пальцами, которые придерживают подол платья у щеки, обращенной к Лалле.

Быть может, здесь тоже таится западня? Лалле хочется вскочить и убежать, но ее словно пригвоздило к скамье, как бывает в кошмарном сне. Мало-помалу город обволакивается сумраком, тень заполняет площадь, затопляет все ее уголки, все трещины, вливается в окна с выбитыми стеклами. Становится холодно, Лалла плотнее закутывается в коричневое пальто, подняв воротник до самых глаз. Но холод проникает сквозь резиновые подошвы ее босоножек, поднимается по ногам к бедрам, к пояснице. Лалла закрывает глаза, чтобы собраться с силами и выстоять, чтобы не видеть больше этого смерча пустоты в скверике, где под слепыми глазницами окон брошены детские игрушки.

Когда она открывает глаза, рядом с ней никого нет. Лалла и не заметила, как ушла старуха мулатка в пестром платье. Как ни странно, небо и земля стали светлее, словно ночь отступила.

И снова Лалла кружит по безмолвным улочкам. Спускается по лестницам, изувеченным отбойными молотками. Холод метет мостовую, гремит железными крышами сараев, где свалены инструменты.

Выйдя к морю, Лалла обнаруживает, что день еще длится. Большое светлое пятно сияет над собором, между его башнями. Лалла бегом перебегает проспект, не обращая внимания на мчащиеся машины, которые сигналият гудками, мигают фарами. Она медленно подходит к высокой паперти, поднимается по ступеням и идет между колоннами. Она вспоминает, как в первый раз пришла в собор. Тогда ей стало страшно: он был большой и одинокий, как утес. Но потом Радич-побирушка показал ей, где ночует летом, когда с моря долетает ласковое дыхание ветерка. Он показал ей, откуда можно увидеть, как ночью в порт входят грузовые суда с красными и зелеными огнями. И еще показал, откуда между колоннами на паперти видны луна и звезды.

Но в этот вечер на паперти пусто. Бело-зеленый камень холоден как лед, под сводами собора царит давящее безмолвие, нарушаемое лишь отдаленным шуршаньем автомобильных шин да шорохом летучих мышей под сводами. Голуби, почти сплошь усеявшие карнизы, уже спят, тесно прижавшись друг к другу.

Лалла присаживается на ступени в тени каменной балюстрады. Она смотрит на плиты в пятнах птичьего помета, на пыльную землю перед папертью. Резкий ветер со свистом прорывается сквозь прутья решетки. Здесь так же одиноко, как на корабле в открытом море. От этого одиночества болит сердце, сжимает горло и виски, все звуки обретают какое-то странное эхо и вдали на улицах вздрагивают огоньки.

Позже, когда становится совсем темно, Лалла возвращается в центр города. Она минует площадь Ланш, где у дверей баров толпятся мужчины, и, держась за двойные железные перила, которые ей так нравятся, поднимается по улице Аккуль. Но даже здесь не рассеивается тоска, преследует ее, словно огромная ошестинившаяся собака с голодными глазами, которая бродит вдоль

сточных канав в поисках кости. Конечно, в этом виноват голод, голод, от которого сводит живот и звенит в голове, но это всеобъемлющий голод, когда ты изголодался по всему, по всему, в чем тебе отказано, что для тебя недоступно. Уже давно-давно люди не могут утолить этот голод, давно не знают они ни отдыха, ни счастья, ни любви; только и есть у них что холодные подвальные комнатухи, где туманом сгустилась злая тоска; только и есть что эти мрачные улочки, по которым бегают крысы, стекает гнилая вода и громоздятся горы нечистот. Только и есть у них что горькое горе.

Идя по узким желобкам улочек Рефюж, Мулен, Бель-Экюэль, Монбрион, Лалла смотрит на груды отбросов, словно вынесенных на берег морем: ржавые консервные банки, старые бумаги, обломки костей, гнилые апельсины, овощи, тряпки, разбитые бутылки, куски резины, крышки от бутылок, мертвые птицы с вырванными крыльями, раздавленные тараканы, пыль, мусор, гниль. Это всё приметы одиночества, запустения, словно люди уже покинули этот город, этот мир, отдав их на растерзание болезням, смерти, забвению. Словно в мире осталось всего несколько несчастных, которые всё еще живут в готовых рухнуть домах, в квартирах, уже сейчас похожих на могильные склепы, где в зияющие провалы окон вливается пустота и ночной холод, от которого сжимает грудь и мутнеют глаза стариков и детей.

Лалла идет все дальше среди развалин, перешагивая через кучи обвалившейся штукатурки. Она сама не знает, куда идет. По несколько раз проходит она одной и той же улицей, кружит у высоких стен городской больницы. Быть может, Амма сейчас там, в большой подвальной кухне с грязными окнами, протирает намотанной на палку тряпкой черные плиты, которые никогда ничем не отмыть. Лалла ни за что больше не вернется к Амме, никогда. Она кружит по темным улочкам, а тем временем ветер стих, накрапывает мелкий дождь. Мелькают прохожие — черные силуэты без лиц, тоже словно заблудившиеся. Лалла прячется, пропуская их, хоронится в дверных проемах, скрывается позади машин на стоянке. А когда улица снова пустеет, продолжает бесшумно идти, усталая, одурманенная, сонливая.

Но спать она не решается. Где может она забыться сном, расслабиться? Ночной город полон опасностей, тревога не дает уснуть бедным девушкам так безмятежно, как спят дети богачей.

Слишком много звуков в ночной темноте, это подают голос страх, голод, одиночество. Разносятся пьяные крики бродяг в ночлежках, шумят арабские кафе, где не умолкает заунывная музыка и тягучий смех любителей гашиша. Ужасный звук — это сумасшедший муж молотит кулаками жену, а она сначала пронзительно кричит, а потом только всхлипывает и стонет. Теперь Лалла отчетливо слышит все эти звуки, словно они никогда не умолкали. Особенно один звук преследует ее, куда бы она ни шла, от него раскалывается голова и все нутро переворачивается, он не устает напоминать о несчастье — это по ночам кашляет ребенок в соседнем доме, быть может сын туниски, бледной толстухи с зелеными, немного безумными глазами? А может, это кашляет другой ребенок в дальнем доме через несколько улочек, и еще один откликается ему в другом доме, на мансарде с обвалившимся потолком, и еще один, которому не спится в его ледяной постели, и еще один — словно десятки, сотни больных детей кашляют по ночам одинаковым хриплым кашлем, разрывающим горло и бронхи. Лалла останавливается, прислонившись спиной к какой-то двери, и закрывает уши ладонями, прижимая их изо всех сил, чтобы не слышать лающего кашля детей в холодной ночи, кашля, идущего от дома к дому.

Чуть дальше, на повороте улицы, виден внизу, словно с балкона,



разветвленный, как дельта реки, перекресток, куда сходится много улиц, где мигают и слепят огни. Лалла спускается по лестнице с холма и через проход Лоретт выходит в громадный двор, окруженный почерневшими от дыма и нищеты стенами, где гремит радио и гудят людские голоса. На мгновение она останавливается, повернув лицо к окнам, словно кто-то должен там появиться. Но слышен лишь бездушный голос радио, оно что-то орет, а потом медленно повторяет одну и ту же фразу: «Под эту музыку на сцену выходят боги!»

Лалла не понимает, что это значит. Бездушный голос перекрывает детский кашель, крики пьяниц и всхлипывание женщины. Вот еще один проход, темный, словно коридор, — и ты на бульваре.

Здесь на мгновение страх и печаль оставляют Лаллу. По тротуару, блестя глазами, размахивая руками, постукивая каблуками по бетонным плитам, покачивая бедрами, шурша прилипающей к телу одеждой, спешат толпы людей. По мостовой катят легковые машины, грузовики, мотоциклы с зажженными фарами, вспыхивают и гаснут огни витрин. Толпа увлекает Лаллу за собой, и та уже не думает о себе, чувствует себя такой опустошенной, словно ее вообще больше нет на свете. Вот поэтому-то ее так тянет на широкие проспекты, ей хочется затеряться в людских волнах, плыть по течению.

Сколько тут света! Шагая все вперед, Лалла любуется яркими огнями. Синие, красные, оранжевые, фиолетовые огни, огни неподвижные, и бегущие, и пляшущие, как пламя спички. Лалле вспоминается звездное небо в необозримой ночной пустыне, когда она лежала на песке рядом с Хартани и они так тихо дышали, словно их тела слились в одно. Но вспоминать тяжело. Надо идти по этим улицам, идти вместе с другими, словно ты знаешь, куда идешь, хотя нет конца пути и нет убежища в ложбине у дюн. И однако надо идти, чтобы не упасть, чтобы тебя не затоптали другие.

Лалла доходит до конца проспекта, потом идет вверх по другому проспекту, а после по третьему. И всюду горят огни, не умолкает людской гомон и рев моторов. И вдруг ее снова охватывает страх и тоска, словно шорох шин и шуршание шагов описывают огромные концентрические круги вокруг какой-то гигантской воронки.

И вновь Лалла видит их: они повсюду, они сидят, привалившись к старым, почерневшим стенам, скорчившись на земле среди экскрементов и нечистот, нищие, слепые старики с протянутой рукой, молодые женщины с потрескавшимися губами, прижимающие к дряблой груди ребенка, девочки в лохмотьях со струпьями на лице, цепляющиеся за одежду прохожих, старухи с темными как сажа лицами, с торчащими космами волос — все те, кого голод и холод выгнал из их трущоб, кого, как отбросы, вынесло волной на поверхность. Вот они здесь, в самом центре равнодушного города, среди опьяняющего гула моторов и голосов, мокнущие под дождем, продуваемые ветром; они кажутся еще более уродливыми и обездоленными в зловещем электрическом свете. Потерянным взглядом провожают они прохожих, отводят свои влажные и печальные глаза, а потом вновь неотступно следят за тобой каким-то собачьим взглядом. Лалла медленно проходит мимо нищих, она смотрит на них, и сердце ее сжимается: при виде этих отверженных ее вновь затягивает в воронку чудовищной пустоты. Лалла идет так медленно, что какая-то нищенка успевает схватить ее за полу пальто и пытается притянуть к себе. Лалла отбивается, силой отрывает пальцы, вцепившиеся в пальто; с жалостью и ужасом глядит она в опухшее от пьянства, покрасневшее от холода лицо молодой еще женщины, в голубые, почти прозрачные, незрячие глаза, со зрачком не больше булавочной головки.

«Иди сюда! Иди!» — твердит нищенка, а Лалла пытается оторвать от себя пальцы с обломанными ногтями. Наконец страх берет верх, Лалла вырывает полу своего пальто из рук бродяжки и спасается бегством, другие нищие гогочут, а слепая, приподнявшись в ворохе своего тряпья, осыпает Лаллу бранью.

С бьющимся сердцем бежит Лалла по проспекту, наталкиваясь на прохожих, на тех, кто гуляет, входит в кафе или кино или выходит оттуда; тут и мужчины в вечерних костюмах, которые возвращаются после банкета — лица их лоснятся оттого, что они переусердствовали, налегая на еду и питье, — и надушенные юнцы, и парочки, и отпускники-военные, и чернокожие курчавые иностранцы, которые лопочут что-то непонятное и, хохоча, пытаются на ходу схватить ее за руку.

В кафе не умолкая гремит музыка, навязчивая, дикая музыка, от которой глухо гудит земля и содрогается тело, которая отдается в животе, давит на барабанные перепонки. Из кафе и баров неизменно вырывается одна и та же музыка, которая вместе с мерцанием неоновых трубок, с красными, зелеными, оранжевыми огнями бьется о стены, о столики, о накрашенные лица женщин.

Как долго бредет Лалла среди этих вихрей, среди этой музыки? Она не знает. Много часов, а быть может, много ночей — ночей, не прерываемых светом дня. Она вспоминает о широких каменных плато, одетых ночью тьмой, о нагромождениях острых как нож камней, о заячьих и змеиных тропах, залитых лунным светом, и озирается вокруг, словно надеясь увидеть все это. Увидеть Хартани в его грубошерстном бурнусе, со сверкающими на черном лице глазами, с медленными, плавными, как у антилоп, движениями. Но вокруг только этот проспект, и еще тот, и эти перекрестки, и всюду лица, глаза, губы, крикливые голоса, слова, гул. Рычание моторов и вой клаксонов, резкие вспышки фар. Неба не видно, словно землю затянуло бельмом. Разве они могут прийти сюда, Хартани и тот Синий Воин пустыни, Ас-Сир, Тайна, как она звала его когда-то? Им не разглядеть ее сквозь это бельмо, отделяющее город от неба. Не узнать среди всех этих лиц, тел, легковых машин, грузовиков, мотоциклов. Даже голос ее они не услышат в гомоне других разноязыких голосов, в грохоте музыки, от которой дрожит и гудит земля. Вот почему Лалла больше не ищет их, не говорит с ними, словно они исчезли навсегда, словно они умерли для нее.

Ночью нищие проникли и сюда, в самое сердце города. Дождь перестал, ночь такая белая, далекая; уже пробил полночь. Прохожие попадают редко. Они входят к кафе и бары, а выйдя оттуда, вихрем уносятся на своих машинах. Лалла сворачивает направо, в узкую улочку, идущую чуть в гору, и бредет по ней, прячась за машинами у обочины. На противоположном тротуаре она замечает каких-то мужчин. Они стоят неподвижно, не разговаривая друг с другом. Они смотрят в ту сторону, где вход в гнусный на вид дом, приоткрытая маленькая зеленая дверь, а за ней освещенный коридор.

Лалла тоже остановилась и, спрятавшись за машиной, смотрит. Сердце ее учащенно бьется, на улице повеяло тоскливой пустотой. Словно грязная крепость, высится дом с окнами без ставен, завешенными газетной бумагой. Некоторые из окон освещены зловещим резким светом или странным мерцающим огоньком цвета крови. Дом кажется неподвижным многоглазым великаном — одни глаза открыты, другие спят, — великаном, исполненным злой силы, который вот-вот сожрет ожидающих на улице человечков. Лаллу охватывает такая слабость, что она опирается о кузов машины, дрожа всем телом.

По улице рыщет ветер зла; это он опустошает город, порождает в нем страх, бедность и голод; это он завивается вихрем на площадях, наваливается тяжелым безмолвием на одинокие каморки, где задыхаются дети и старики. Лалла ненавидит этот ветер, ненавидит великанов с открытыми глазами, утвердивших свою власть над городом для того лишь, чтобы пожирать всех этих мужчин и женщин и перемалывать их в своем чреве.

И вдруг маленькая зеленая дверь распахивается настезь, и на тротуаре появляется женщина. Мужчины, не двигаясь с места и продолжая курить, впиваются в нее глазами. Женщина совсем крошечная, почти карлица, с раздавшимся вширь телом и большой головой без шеи. Но личико у нее детское, с маленьким вишневым ротиком и очень черными, подведенными зеленым глазами. Кроме маленького роста, в ней больше всего поражают волосы — короткие кудряшки медно-рыжего цвета, которые искрятся в падающем сзади, из коридора, свете и огненным нимбом окружают головку жирной куколки, придавая ей что-то сверхъестественное.

Лалла как замороженная глядит на волосы маленькой женщины, не шевелясь, почти не дыша. Дует холодный яростный ветер, но карлица с пылающими волосами замирает в дверях дома. На ней черная, очень короткая юбка, открывающая белые жирные ляжки, и нечто вроде фиолетового пуловера с глубоким вырезом. На ногах лакированные лодочки на очень высоких шпильках. Ей холодно, она переступает с ноги на ногу, и каблучки ее цокают в гулкой пустоте улочки.

Теперь мужчины с сигаретами приближаются к ней. Почти все они арабы с очень черными волосами и с какой-то серой кожей, удивившей Лаллу: можно подумать, что эти люди живут под землей и выходят на поверхность только по ночам. Они молчат. Вид у них свирепый: лица упрямые, губы сжаты, взгляд жесткий. Карлица с огненными волосами даже не глядит на них. Она тоже закуривает сигарету, быстро затягивается и кружит на одном месте. Когда она поворачивается спиной, то кажется горбатой.

И вот в верхней части улицы показывается другая женщина. Эта, наоборот, огромного роста, могучая, но уже постаревшая, на ее лице оставили свой след усталость и недосыпание. На ней широкий голубой клеенчатый плащ, черные волосы спутал ветер.

Она медленно спускается по улице, постукивая высокими каблуками, подходит к карлице и становится рядом у двери. Арабы приближаются к ней, заговаривают. Но Лалла не слышит их слов. Потом один за другим они отходят и останавливаются на расстоянии, всё так же не спуская глаз с женщин, которые курят, застыв на одном месте. Под порывами продувающего улицу ветра одежда прилипает к телу женщин, волосы растрепались. Столько ненависти и отчаяния скопилось на этой улочке, словно она все ниже и ниже спускается по ступеням ада, но так и не может достигнуть дна, не может остановиться. Здесь сосредоточился такой исступленный голод, столько неутоленных желаний, насилия. Молча, застыв, точно оловянные солдатики, на краю тротуара, мужчины пожирают глазами живот и грудь женщин, изгиб их бедер, бледную плоть открытых плеч, их голые ноги. Быть может, и правда нигде на свете нет любви, нет жалости, нет доброты? Быть может, бельмо, отделяющее землю от неба, уже задушило людей, заглушило биение их сердец, убило все их воспоминания, все былые надежды, всю красоту?

Лалла чувствует, как в нее проникает водоворот пустоты, словно продувающий улицу ветер все затягивает в свою бездонную вихревую воронку. Быть может, ветер сорвет в конце концов крыши со всех этих гнусных домов, выломает их двери и окна, снесет прогнившие стены, обратит

в груди железного лома стоящие вдоль тротуаров машины? Этого не миновать: чаша ненависти переполнилась, переполнилась чаша страданий... Но громадный грозный дом по-прежнему стоит на месте, давит людей своей массой. Все эти дома — неподвижные великаны с кровавыми, жестокими глазами, пожиратели мужчин и женщин. В их утробе мужчины, снедаемые похотью, швыряют молодых женщин на старые, грязные матрацы и несколько секунд молча насилуют их. Потом одеваются и уходят еще прежде, чем догорит брошенная на край стола сигарета. В брюхе этих огромных людоедов на кроватях лежат распятые старухи, и мужчины, навалившись на них всей своей тяжестью, оскверняют их пожелтевшую плоть. И вот во чреве всех этих женщин рождается пустота, безысходная, леденящая пустота, которая, вырвавшись наружу, ветром носится по улицам и переулкам, клубится бесконечным вихрем.

Внезапно Лалла не выдерживает. Ей хочется кричать, плакать, но она не может. Пустота и страх наглухо заткнули ей горло, она едва способна вздохнуть. И тогда она спасается бегством. Она бежит что есть мочи, мчится по улице, и топот ее ног громко отдается в тишине. Мужчины оглядываются и смотрят ей вслед. Карлица что-то кричит, но один из мужчин обхватывает ее за шею и подталкивает в коридор. Пустота, на мгновение потревоженная, смыкается за ними, поглощает их. Несколько мужчин, швырнув сигареты в канаву и крадучись, как тени, уходят в сторону проспекта. На их место являются другие и, стоя на краю тротуара, разглядывают рослую черноволосую женщину, застывшую у входа в дом.

Поблизости от вокзала устроилось на ночлег множество нищих, они спят у дверей, закутавшись в свои лохмотья или обложившись картонками. Вдали сверкает здание вокзала, освещенное белыми, как звезды, фонарями.

В уголке у какой-то двери, притаясь за каменной тумбой, погрузившись в большое озеро влажной тени, прикорнула на земле Лалла. Она, словно черепаха, втянула голову, руки и ноги в панцирь своего просторного коричневого пальто. Лежать на камнях холодно и жестко, от влажного шороха шин пробирает дрожь. И все же, как в былые дни на каменном плато, над ней распахнулось небо, а если хорошенько зажмуриться, то в трещину, образовавшуюся в белье, можно увидеть окутанную ночью пустыню.

---

Лалла поселилась в гостинице «Сент-Бланш». В крохотной комнатке, темной конуре под крышей. Она делит ее со щетками, метелками, ведрами и разным старым хламом, сваленным здесь с незапамятных времен. В конуре есть электрическая лампочка, стол и старая брезентовая раскладушка. Когда Лалла спросила у хозяина, можно ли ей здесь поселиться, он ответил «да», ни о чем не спрашивая, в объяснения не стал вдаваться, а просто сказал, что ночевать здесь она может, что кроватью никто не пользуется. И еще добавил, что плату за свет и воду будет удерживать из ее жалованья, вот и всё. И, не вставая с кровати, снова углубился в свою газету. Хозяин, хоть он грязный и небритый, тем Лалле и нравится, что не задает вопросов. Ему все равно.

С Аммой дело обстояло иначе. Когда Лалла объявила ей, что больше не будет у нее жить, лицо тетки посуровело и она наговорила Лалле всяких обидных слов — решила, что Лалла бросает ее потому, что сошлась с мужчиной. И все же она согласилась, в общем-то ей и самой так было удобнее: она ждала приезда сыновей. В ее квартирке всем им было бы трудно

разместиться.

Теперь Лалла поближе узнала тех, кто живет в гостинице «Сент-Бланш». Всё это бедняки, приехавшие из стран, где нечего есть, где живут впроголодь. Даже у самых молодых лица суровые, попусту болтать им некогда. На этаже, где ютится Лалла, жильцов нет, это чердак, там обитают только мыши. Но в комнатухе как раз под ней живут три негра, братья. Они никогда не злятся и не печалются. Им всегда весело, и Лалле доставляет удовольствие слушать, как они смеются и поют в субботу после полудня и в воскресенье. Она не знает, как их зовут, не знает, где они работают. Иногда она встречает их в коридоре по дороге в уборную или рано утром, спускаясь вниз, чтобы скрести ступеньки лестницы. Но когда она приходит прибраться в их комнате, она их уже не застаёт. У братьев почти нет вещей, только картонные чемоданы с одеждой и гитара.

В двух комнатах по соседству с неграми живут североафриканцы, работающие на стройках, но обычно надолго они тут не задерживаются. Люди они все славные, но молчаливые, и Лалла тоже редко заговаривает с ними. Комнаты их почти пусты, всю свою одежду они складывают в чемоданы, а чемоданы убирают под кровать. Боятся, что их обокрадут.

Но больше всего Лалле нравится молодой африканец, негр, который вместе с братом занимает комнатуху на третьем этаже, в конце коридора. Это самая красивая комната, из ее окон виден кусочек двора, где растет дерево. Имени старшего из братьев Лалла не знает, а младшего зовут Даниэль. Кожа у него черная-черная, а волосы такие курчавые, что в них вечно что-нибудь застрекает — солома, перья, травинки. Голова у него круглая как шар, а шея очень длинная. Он вообще весь вытянут в длину: длинные руки, длинные ноги, и у него забавная танцующая походка. Он всегда весел и все время смеется, когда разговаривает с Лаллой. Она плохо понимает, что он говорит, у него такой странный певучий акцент. Но это не имеет значения, потому что в разговоре он забавно размахивает длинными руками и растягивает так и этак свой большой рот, сверкая белоснежными зубами. Лалле он нравится больше всех, потому что гладким лицом и смехом напоминает ребенка. Работает он в больнице вместе с братом, а по субботам и воскресеньям играет в футбол. Это его страсть. Вся его комната увешана афишами и фотографиями, приклепанными к стенам и к створке шкафа с внутренней стороны. Каждый раз, завидя Лаллу, он спрашивает ее, когда она придет на стадион поглядеть, как он играет.

Однажды в воскресенье во второй половине дня она побывала на стадионе. Села на самую верхнюю скамью и стала смотреть на Даниэля. Он казался маленьким черным пятнышком на зеленом фоне футбольного поля, потому она и узнала его. Он играл правого полусреднего и был среди тех, кто вел атаку. Но Лалла так и не призналась ему, что ходила на него смотреть, — может быть, ради того, чтобы он приглашал ее на стадион, смеясь своим звонким смехом, разносящимся по коридорам гостиницы.

На другом конце коридора в крохотной камерке живет старик. Он никогда ни с кем не разговаривает, и никто не знает, откуда он родом. Лицо старика обезображено страшной болезнью: у него нет ни носа, ни рта; вместо ноздрей две дырки, а на месте губ — рубец. Но у него прекрасные глаза, глубокие и печальные, и он всегда вежлив и кроток и поэтому нравится Лалле. Он живет в страшной бедности, почти ничего не ест и выходит только ранним утром, чтобы подобрать оброненные на рынке фрукты и прогуляться по солнышку. Лалла не знает, как его зовут, но он ей очень нравится. Он немного напоминает старика Намана, у него такие же руки, сильные и ловкие, сожженные солнцем,

мудрые руки. Когда Лалла смотрит на его руки, она словно бы видит перед собой знойный простор, песок и камни, выжженный кустарник и пересохшие реки. Но старик никогда не рассказывает ни о своей родине, ни о себе самом; это он бережет в своем сердце. Возвращаясь с прогулки и встречая Лаллу в коридоре, он говорит ей всего несколько слов о погоде, о новостях, которые услышал по радио. Быть может, он один из всех обитателей гостиницы догадывается о тайне Лаллы, потому что два раза спросил, глядя на нее своим глубоким взглядом, не тяжело ли ей работать в гостинице. Больше он ничего не спросил, но Лалла подумала: наверное, он знает о том, что она носит ребенка, и даже немного испугалась. Вдруг старик скажет об этом хозяину и тот не захочет ее держать? Но старик никому ничего не сказал. Каждый понедельник он платит за комнату за неделю вперед; откуда у него деньги, никто не знает. Одной Лалле известно, что он страшно беден, потому что в комнате у него никогда нет другой еды, кроме растоптанных и подобранных на рынке фруктов. Если у Лаллы оказывается немного денег, она иногда покупает одно-два красивых яблока или апельсины и, делая уборку, оставляет их на единственном стуле в его камере. Старик никогда не благодарит ее, но, встречаясь с ним, Лалла по его глазам видит, что он доволен.

Других постояльцев Лалла знает, не зная их. Эти арабы, португальцы, итальянцы почти не бывают дома, они приходят только ночевать. Есть и такие, которые сидят в своих номерах, но этих Лалла не любит. Например, двое арабов со второго этажа — лица у них грубые, они напиваются, глушат денатурат. Есть жилец, который читает порнографические журналы и оставляет на своей неубранной постели фотографии голых женщин, чтобы Лалла, убирая у него, их увидела. Это югослав по имени Грегорий. Однажды, когда Лалла вошла в его комнату, он был дома. Он сгрел ее в охапку и хотел затащить в постель, но она подняла крик, и он испугался. Он выпустил ее, осыпая бранью. С того дня, когда он дома, Лалла близко не подходит к его двери.

Но, вообще говоря, про всех этих людей, не считая старика с изъеденным болезнью лицом, даже нельзя сказать, что они существуют. Они не существуют, они не оставляют никаких следов своего пребывания под этой крышей, словно тени, словно призраки. В один прекрасный день они исчезают так, словно никогда здесь и не появлялись. Все та же брезентовая раскладушка в комнате, все тот же расшатанный стул, линолеум в пятнах, засаленные стены с облупившейся краской, на шнуре загаженная мухами лампочка без абажура. Все как было до них.

А главное, все такой же тусклый свет, проникающий с улицы через грязные стекла, серый свет внутреннего дворика, бледные отблески солнца и всё те же звуки: звуки радио, шум машин на большом проспекте, голоса ссорящихся людей, урчанье водопроводных кранов, грохот спускаемой воды, скрип ступенек, шум ветра, сотрясающего листы кровельного железа и сточные трубы.

Ночью, лежа на своей кровати и глядя на желтое пятно зажженной лампочки, Лалла слушает все эти звуки. Не могут здесь существовать ни люди, ни дети, вообще ни одно живое существо. Лалла слушает ночные звуки, словно долетающие в глубину пещеры, и ей кажется, что и сама она тоже не существует больше. Только в животе у нее что-то бьется, пульсирует, точно нарождается новый, неведомый орган.

Лалла съеживается в кровати, подтянув колени к подбородку, и вслушивается в то, что шевелится в ней, начинает жить. Ей страшно, этот страх гонит ее по улицам, заставляет мчаться стрелой от одного угла к

другому. Но в то же время ее захлестывает волна какого-то странного счастья, тепла, света; она накатывает откуда-то издалека, из-за морей и городов, она возвращает Лалле красоту пустыни. И тогда, как каждую ночь, Лалла закрывает глаза и дышит глубоко-глубоко. И вот медленно гаснет тусклый свет тесной комнатухи, и спускается прекрасная ночь. Холодная, безмолвная и одинокая, она вся усыпана звездами. Она нисходит на бескрайнюю землю, на просторы недвижных барханов. Рядом с Лаллой — Хартани в своем грубошерстном бурнусе, его темно-бронзовое лицо блестит при свете звезд. Это его взгляд долетает до нее, находит ее здесь, в этой узкой камерке, в нездоровом свете электрической лампочки; это его взгляд шевелится в ней, в ее чреве, пробуждает жизнь. Так давно исчез Хартани, так давно уехала она за море, словно в изгнание, но взгляд юного пастуха обладает удивительной силой, он и в самом деле шевелится в ней, в тиши ее лона. И тогда исчезают все они, жители этого города: полицейские, прохожие, обитатели гостиницы; все они пропадают куда-то вместе со своим городом, домами, легковыми машинами, грузовиками, и в мире остаются лишь великие просторы пустыни, где лежат рядом Лалла и Хартани. Они лежат под одним грубошерстным бурнусом, а вокруг непроглядная ночь с мириадами звезд, и они прижимаются друг к другу как можно теснее, чтобы не чувствовать сковавшего землю холода.

Когда кто-нибудь в Панье умирает, все хлопоты берет на себя похоронная контора, расположенная на первом этаже гостиницы. Вначале Лалла думала, что владелец конторы — родственник хозяина гостиницы, но нет, он просто обычный коммерсант. И еще Лалла воображала вначале, что люди приходят умирать в гостиницу, а потом их отправляют в похоронную контору. Служащих в конторе мало: хозяин, мсье Шерез, два его помощника и водитель катафалка.

Когда кто-нибудь в Панье умирает, служащие мсье Шереза выезжают на катафалке и вывешивают на двери дома умершего длинные траурные ленты, окропленные серебряными слезами. Перед дверью на тротуаре водружают небольшой столик, покрытый черной скатертью, тоже с серебряными слезами. А на столик ставят блюдечко, чтобы те, кто приходит отдать последний долг умершему, могли положить туда картонную карточку со своим именем.

Когда умер мсье Черезола, Лалла сразу узнала об этом — увидела в похоронной конторе на первом этаже гостиницы его сына. Сын мсье Черезолы, маленький толстый человечек с жидкими волосами и щеточкой усов, всегда смотрит не на Лаллу, а сквозь нее. Сам мсье Черезола был совсем другой. Лалла его очень любила. Итальянец, невысокого роста, худой и старый, он передвигался с трудом из-за своего ревматизма. Одет был всегда в черный костюм, тоже, наверное, очень старый, потому что на локтях и коленях материя протерлась почти до дыр. Мсье Черезола ходил в старых, но всегда начищенных до блеска кожаных черных ботинках, а в холодную погоду надевал еще шерстяной шейный платок и каскетку. Лицо у него было высохшее, морщинистое, но загорелое от работы на свежем воздухе, седые волосы коротко подстрижены, а очки такие нелепые, в черепаховой оправе, обмотаны пластырем и подвязаны веревочкой.

Обитатели Панье любили мсье Черезолу: он был вежлив и приветлив со всеми и в своем неизменном черном старомодном костюме и черных начищенных ботинках держался с достоинством. К тому же все знали, что когда-то он был плотником, и не простым плотником, а мастером, и приехал сюда перед войной из Италии, потому что не любил Муссолини. Он иногда

рассказывал об этом Лалле, встречая ее на улице, когда ходил за покупками. Он рассказывал, что приехал в Париж без гроша, ему едва хватило денег заплатить за две-три ночи в гостинице, к тому же он ни слова не знал по-французски; когда он попросил мыла, чтобы умыться, ему указали на кружку с горячей водой.

Когда Лалла встречала его, она помогала ему нести его свертки; передвигался он с трудом, в особенности если приходилось подниматься по лестнице к улице Панье. И вот по пути он рассказывал Лалле об Италии, о своей деревне, о том, как работал в Тунисе, как строил дома в Париже, в Лионе и на Корсике. Голос у него был странный, говорил он слишком громко, из-за акцента Лалла плохо понимала мсье Черезолу, но очень любила слушать его рассказы.

А теперь он умер. Когда Лалла узнала об этом, она так огорчилась, что сын мсье Черезолы удивленно посмотрел на нее; казалось, он не мог понять, кому какое дело до его отца. Лалла тут же ушла из похоронной конторы: ей не нравится, как там пахнет, не нравятся все эти пластмассовые венки, гробы и, прежде всего, служащие мсье Шереза с их недобрыми глазами.

Медленно, с опущенной головой бредет Лалла по улицам и так приходит к дому мсье Черезолы. Дверь увита черным крепом, рядом стоит столик с черной скатертью и блюдечком. Над дверью висит также большой щит с двумя буквами в форме полумесяца — вроде этого:

Лалла входит в дом, поднимается по узким ступенькам лестницы, как бывало, когда она несла свертки мсье Черезолы, неторопливо, останавливаясь на каждой площадке, чтобы перевести дух. Она так устала нынче, чувствует себя такой вялой, словно вот-вот заснет или просто испустит дух, добравшись до верхнего этажа.

У двери мсье Черезолы она медлит. Потом толкает дверь и входит в маленькую квартиру. Сначала она ее не узнаёт: из-за закрытых ставен тут совсем темно. В квартире никого нет, и Лалла проходит в большую комнату, где стоит накрытый клеенкой стол, а на нем корзина с фруктами. В глубине комнаты альков с кроватью. Приблизившись к нему, Лалла видит мсье Черезолу: он лежит на постели на спине, словно спит. В сумраке алькова он лежит так спокойно, с закрытыми глазами и вытянутыми вдоль тела руками, что Лалле на мгновение чудится, будто он просто задремал и сейчас проснется. Она окликает его шепотом, чтобы не испугать: «Мсье Черезола! Мсье Черезола!»

Но мсье Черезола не спит. Это видно по его одежде, на нем все тот же черный костюм, те же начищенные черные ботинки, но пиджак чуть съехал набок, а воротник подпирает шею, и Лалла даже подумала, что так он сомнется. На щеках и подбородке старика залегли серые тени, а под глазами синие круги, точно следы побоев. Лалла снова вспоминает старого Намана, как он лежал на полу в своей лачуге и уже не дышал. Он так живо припомнился ей, что на несколько мгновений ей показалось, будто это он лежит перед ней на постели с отрешенным лицом спящего и руками, вытянутыми вдоль тела. Жизнь еще трепещет в полумраке комнаты, тихо, едва слышно нашептывает что-то. Лалла подходит ближе к кровати, пристальней разглядывает угасшее восковое лицо, седые волосы, жесткими прядями падающие на виски, полуоткрытый рот, щеки, провалившиеся под тяжестью отвисшей челюсти. Лицо кажется странным, потому что на нем нет старых черепаховых очков, оно кажется голым и беззащитным из-за бесполезных теперь следов от оправы на



носу, вокруг глаз и на висках. Мсье Черезола стал вдруг слишком маленьким и худым для своего черного костюма, он словно бы исчез, и осталась только эта восковая маска; восковые руки и слишком просторная, словно с чужого плеча, одежда. И вдруг на Лаллу снова накатывает страх, страх, который жжет кожу, застилает глаза. Сумрак душит ее, он вливает в жилы парализующий яд. Сумрак сочится из недр дворов, течет по узким улочкам, через весь старый город, затопляя всех, кто встречается ему на пути, этих узников тесных каморок — детей, женщин, стариков. Он проникает в дома, под сырые крыши, в подвалы, заползает в самые маленькие щелки.

Лалла неподвижно застыла у тела мсье Черезолы. Она чувствует, как цепенеет от холода; и лицо и руки ее приобретают странный восковой оттенок. Она снова вспоминает о ветре злосчастья, который дул над Городком в ту ночь, когда умирал старый Наман, и о холоде, который, казалось, выползал из каждой трещины в земле, чтобы истребить людей.

Медленно, не отрывая взгляда от покойника, Лалла пятится к двери. Смерть притаилась в сером сумраке, повисшем меж стен, на лестнице, в облупившейся краске коридоров. С бьющимся сердцем, с глазами полными слез, Лалла сбегает вниз по ступенькам так быстро, как только может. Вырвавшись на улицу, она устремляется в нижнюю часть города, к морю, где веет ветер и светит солнце. Но скорчившись от внезапной боли в животе, оседает на землю. Она стонет, а прохожие, торопливо оглядываясь на нее, проходят мимо. Им страшно, им тоже страшно, это видно по тому, как они жмутся к стенам, чуть выгибая спину, точно взьерошенные собаки.

Смерть повсюду, она гонится за ними по пятам, думает Лалла, им не уйти от нее. Она обосновалась в черной конторе на первом этаже гостиницы «Сент-Бланш», среди букетов гипсовых фиалок и надгробий из прессованного мрамора. Она живет там, в старом, прогнившем доме, в номерах, в коридорах. Обитатели дома этого не знают, они даже не подозревают об этом. Ночью смерть выходит из похоронной конторы, она принимает обличье тараканов, крыс и клопов, расплзается по сырым комнатушкам, пробирается под матрацы, ползет по полу, кишит в щелях, застилая все ядовитым мраком.

Лалла встает и идет, шатаясь и прижимая руки к низу живота, где нарастает боль. Она не смотрит на прохожих. Куда ей деться? Эти люди живут, едят, пьют, разговаривают, а в это время капкан захлопывается. Все они погибшие, отверженные, обездоленные, униженные; они работают на дорогах под ледяным ветром, под дождем, роют ямы в каменистой земле, калеча свои руки и головы, лишаясь рассудка от грохота отбойных молотков. Их терзают голод и страх, души леденит одиночество и пустота. А стоит им остановиться, смерть тут как тут, она окружает их со всех сторон, она у них под ногами, на первом этаже гостиницы «Сент-Бланш». Служащие похоронной конторы с недобрыми глазами гасят в них жизнь, сметают ее, лишают их тела, лицо заменяют восковой маской, а руки — перчатками, торчащими из пустой одежды.

Куда идти, где скрыться? Лалле хотелось бы найти укромное место, вроде пещеры Хартани на самом верху скалы, найти место, откуда можно было бы видеть лишь море да небо.

Она доходит до маленькой площади и садится на скамью перед стеной разрушенного дома с пустыми окнами, зияющими, словно глазницы мертвого великана.

---

А потом город охватила какая-то лихорадка. Быть может, виной тому был ветер, задувший в конце зимы, не тот ветер, что нес несчастья и болезни, который дул, когда умирал старый Наман, а ветер свирепый и холодный. Он налетал на большие городские проспекты, взметая пыль и обрывки старых газет; он дурманил, он сбивал с ног. Никогда еще не видела Лалла такого ветра. Он проникал в черепную коробку и кружил в мозгу, пронизывал холодом тело, вызывая приступы дрожи. Вот почему, выйдя в этот день после полудня из гостиницы, Лалла побежала вперед, даже не оглянувшись на похоронную контору, где томился в безделье человек в черном.

Большие проспекты залиты солнечным светом, ветер принес его с собой. Свет играет, вспыхивает на лакированных корпусах машин, в витринах магазинов. Свет тоже проникает в черепную коробку Лаллы, трепещет на коже, искрится в волосах. Сегодня, впервые за долгое время, она вдруг видит вокруг вековечную белизну камней и песка, острые, точно кремни, вспышки света, звезды. Вдали, в самом конце проспекта, в дымке света перед ней возникают миражи: купола, башни, минареты и караваны; они сливаются с кишасим муравейником людей и машин.

Это светоносный ветер, западный ветер, улетающий в мир тьмы. Как прежде, слышит Лалла потрескивание асфальта под солнечными лучами, долгий шорох световых бликов по стеклу, все знакомые звуки палящего зноя. Где она? Свет затопляет все, он словно бы отделил ее от остального мира иглами расходящихся во все стороны лучей. Быть может, она идет теперь по бескрайним просторам песка и камня, где в самом сердце пустыни ее ждет Хартани? Быть может, она грезит на ходу, опьяненная всем этим светом и ветром, и большой город вот-вот растает, испарится под лучами восходящего после зловещей ночи солнца?

На углу улицы, у лестницы, ведущей к вокзалу, стоит побирушка Радич. Лицо у него усталое и тоскливое, Лалла даже не сразу узнаёт его: парень стал похож на взрослого мужчину. Одет он необычно, в коричневый костюм, который болтается на костлявом теле, а черные кожаные ботинки ему велики и, наверное, натирают босые ноги.

Лалле хотелось бы поговорить с ним, рассказать, что мсье Черезола умер и что она никогда больше не вернется в гостиницу «Сент-Бланш», ни в одну из этих комнат, куда в любую минуту может явиться смерть и превратить тебя в восковую маску; но у вокзала слишком ветрено и шумно, чтобы разговаривать, и потому она показывает Радичу пригоршню смятых банковских билетов: «Гляди!»

Радич вытаращил на нее глаза, но ни о чем не спрашивает. Быть может, он думает, что Лалла украла эти деньги, а может, кое-что и похуже.

Лалла сует деньги обратно в карман пальто. Это все, что у нее осталось после долгих дней, которые она провела в грязной и темной гостинице, отскребая жесткой щеткой линолеум и подметая мрачные серые комнаты, провонявшие потом и табаком. Когда она объявила хозяину, что уходит от него, он опять ничего не сказал. Встал со своей старой кровати, которая никогда не застилалась, подошел к сейфу в глубине комнаты. Достал оттуда деньги, пересчитал, добавил плату за неделю вперед и отдал их Лалле, а потом снова улегся, не сказав ни слова. Он проделал все это не спеша — был он, как всегда, в пижаме, плохо выбритый, с грязными волосами — и снова уткнулся в свою газету, словно до остального ему совершенно не было дела.

Лалла опьянена свободой. Она оглядывается вокруг, на стены домов, окна, машины, на людей, словно это бесплотные формы, призраки, картинки, которые ветер и солнце вот-вот развеют.

У Радича такой несчастный вид, что Лалле становится его жалко.

«Идем!» Она тащит парня за руку сквозь толпу.

Они вдвоем входят в огромный магазин, залитый светом, но не прекрасным солнечным светом, а резким, беспощадным электрическим светом, отраженным множеством зеркал. Но этот свет тоже одурманивает и ослепляет.

Вместе с Радичем, который спотыкаясь бредет за ней, Лалла проходит через секции, где продают духи, косметику, парики и туалетное мыло. Она останавливается почти у каждой прилавка, покупает себе мыла разных цветов, давая Радичу понюхать каждое. Потом покупает духов в маленьких флакончиках и нюхает их все по очереди, идя по магазину; от аромата духов голова у нее кружится до дурноты. Лалла требует, чтобы ей показывали всё: помаду, тени для век (зеленые, черные, охристые), тон для лица, бриллиантин, кремы, накладные ресницы, шиньоны, и сама показывает всё Радичу, который точно язык проглотил; потом она долго выбирает маленький квадратный флакончик лака для ногтей кирпичного цвета и ярко-красную губную помаду. Взгромоздившись на высокий табурет перед зеркалом, она пробует помаду на тыльной стороне ладони, а продавщица с соломенными волосами тарашит на нее ошалелые глаза.

Второй этаж Лалла обходит, пробираясь среди развешанной одежды и все так же не выпуская руки Радича. Она покупает себе майку, синий рабочий комбинезон, теннисные туфли и красные носки. В примерочной оставляет свое старое серое платье-халат и босоножки на резине, но с коричневым пальто не расстается: она его любит. Теперь она идет легкой походкой, сунув руку в карман своего комбинезона и пружиня на эластичных подошвах. Черные волосы крупными локонами падают на воротник ее пальто, сверкая в ярком электрическом свете.

Радич смотрит на Лаллу, она кажется ему красавицей, но он не решается ей это сказать. Глаза ее блестят от радости. В черных кудрях Лаллы, на ее смуглом лице словно сверкает отблеск какого-то пламени. Словно электрический свет оживил все краски, рожденные солнцем пустыни, словно Лалла явилась сюда, в магазин стандартных цен, прямо с каменных нагорий.

Может, и впрямь все вокруг исчезло и большой универмаг остался один посреди бескрайней пустыни, похожий на крепость из камня и глины? Да нет, это весь город окружен песками, сжат ими, и уже слышно, как трещат бетонные каркасы зданий, как по стенам разбегаются трещины и вылетают из рам зеркальные стекла небоскребов.

Это взгляд Лаллы излучает жгучую силу пустыни. Пламенеют ее черные волосы, густая коса, которую она заплетает на ходу, перекинув через плечо. Пламенеют ее янтарные глаза, ее кожа, выступающие скулы, губы. В шумном, залитом электрическим светом магазине люди расступаются, останавливаются там, где проходят Лалла и Радич-побирушка. Мужчины, женщины замирают, пораженные: никогда в жизни не видели они таких, как эти двое. По проходу в темном комбинезоне и расстегнутом у ворота коричневом пальто идет смуглолицая Лалла. Она невысокого роста, но кажется великаншей, когда шествует по проходу, а потом на эскалаторе спускается на первый этаж.

Причиной всему свет, почти сверхъестественный свет, излучаемый ее глазами, ее кожей, ее волосами. За ней плетется странный худой паренек в костюме не по росту, в черных кожаных ботинках на босу ногу. Черные длинные волосы обрамляют его треугольное лицо со впалыми щеками и ввалившимися глазами. Он шагает сзади, прижав руки к телу, молча и немного

боком, как испуганный пес. И на него тоже с изумлением смотрят люди, словно это тень, отделившаяся от тела. На его лице написан страх, но он старается скрыть его странной жесткой улыбкой, скорее похожей на гримасу.

Иногда Лалла оборачивается, делает ему знак или берет за руку: «Идем!»

Но скоро парнишка опять отстает. Когда они наконец выходят на улицу, где солнце и ветер, Лалла спрашивает: «Есть хочешь?»

Глаза Радича лихорадочно блестят. Он молча смотрит на нее.

«Сейчас пообедаем», — объявляет Лалла, вынимая из кармана новенького комбинезона то, что осталось от скомканной пачки денег.

По широким прямым проспектам идут люди, одни торопливо, другие не спеша, волоча ноги. Вдоль тротуаров всё так же катят машины, словно высматривая кого-то или что-то, может быть место для стоянки. В безоблачном небе проносятся стрижи, они ныряют в ущелья улиц, испуская громкие крики. Лалле нравится идти вот так, держа за руку Радича, ни о чем не разговаривая, словно они направляются на другой конец света, чтобы никогда не возвращаться. Она вспоминает край, лежащий за морем, красную и желтую землю, черные скалы, торчащие, словно зубы, из песка. Вспоминает нежный вкус воды смотрящихся в небо колодцев, вспоминает запах *шерги*, вздымающего тучи пыли и перемещающего пески. А еще пещеру Хартани на самой вершине скалы, откуда она увидела бездонное небо, ничего, кроме неба. И теперь она словно бы идет по широким проспектам в тот край, словно бы возвращается. Прохожие расступаются перед ними, щурясь от яркого света, ничего не понимая. А она идет мимо, не замечая их, словно через сонмище призраков. Лалла не произносит ни слова. Она крепко сжимает руку Радича и движется все вперед, навстречу солнцу.

Они выходят к морю, ветер тут дует сильнее, сбивает с ног. Машины, попавшие в пробку у порта, громко сигналият. На лице Радича вновь появляется страх, и Лалла крепче сжимает его руку, чтобы успокоить парня. Ей нельзя быть нерешительной, иначе хмель ветра и солнца развеется и у них, предоставленных самим себе, не станет смелости быть свободными.

Они идут по набережным, не глядя на корабли с гудящими мачтами. Отблески воды играют на щеке Лаллы, вспыхивают на ее смуглой коже и в волосах. Солнечный свет, озаряющий ее, кажется красным, красным, как пламя. Парнишка смотрит на нее, согреваясь, хмелея от тепла, которое она излучает. Сердце его громко колотится, жилки пульсируют на висках и на шее.

И вот перед ними высокие белые стены и широкие окна большого ресторана. Сюда Лалла и ведет Радича. Над дверью флаштоки с разноцветными, трепещущими на ветру флажками. Лалле хорошо знакомо это здание, она давно еще издали заметила его, белое, с огромными стеклами, в которых отражаются лучи заката.

Она без колебаний толкает застекленную дверь и входит. Большой зал погружен в полумрак, только на круглых столиках ослепительными пятнами сверкают скатерти. Лалла разом увидела все: букеты роз в хрустальных вазах, серебряные приборы, граненые бокалы, белоснежные салфетки, стулья, обитые темно-голубым бархатом, и навощенный паркет, по которому скользят официанты в белых костюмах. Все сказочное и далекое, и однако Лалла входит и медленно, бесшумно ступает по паркету, крепко держа за руку Радича-побирушку.

«Идем, — говорит Лалла. — Мы сядем вот здесь».

Она указывает на столик у большого окна. Они проходят через зал ресторана. Мужчины и женщины, сидящие за белоснежными столиками, поднимают головы от тарелок, перестают жевать и разговаривать. Официанты

застыли, кто с ложкой, погруженной в блюдо с рисом, кто с чуть наклоненной бутылкой, откуда вытекает тоненькая струйка белого вина, которая дробится, словно угасающее пламя. Лалла и Радич садятся друг против друга за круглый столик, покрытый белой скатертью; их разделяет букет роз. Посетители вновь начинают жевать и беседовать, только тише, чем прежде; вино вновь льется в бокалы, ложка накладывает рис, голоса тихонько гудят, заглушаемые шумом машин, что проплывают за стеклами, словно гигантские рыбы в аквариуме.

Радич не смеет оглянуться. Он не отрываясь смотрит на одну только Лаллу. Никогда он не видел такого прекрасного, такого лучезарного лица. Свет, льющийся из окна, озаряет ее густые черные волосы, пламенеющим ореолом окружает ее лицо, шею, плечи и даже руки, лежащие на белой скатерти. Глаза ее словно кремни, они отливают металлическим блеском, а лицо точно гладкая медная маска.

У их стола вырастает статный мужчина. Одет он в черный костюм и в белоснежную, как скатерть, рубашку. Лицо у него пухлое, дряблое и скучающее, рот безгубый. Он уже собрался открыть рот и приказать этим двум детям немедленно убираться отсюда и не устраивать скандала, но его унылый взгляд вдруг встречается со взглядом Лаллы, и он забывает все, что хотел сказать. Взгляд Лаллы тверд как камень, в нем такая сила, что человек в черном отводит глаза. Он отступает на шаг, словно спешит ретироваться, но потом выдавливает из себя странным голосом:

— Вы... Что вы будете пить?

Лалла смотрит на него все так же в упор, не мигая.

— Мы голодны, — просто говорит она. — Принесите нам поесть.

Человек в черном удаляется и вновь приходит с карточкой, которую кладет на стол. Но Лалла возвращает ему карту, все так же не отрывая от него взгляда. Быть может, вскоре в нем снова всколыхнется ненависть и он устыдится своего страха.

— Подайте нам то же, что им, — приказывает Лалла. Она кивает на посетителей, сидящих за соседним столиком, которые, полуобернувшись, поглядывают на Лаллу и Радича поверх очков.

Человек в черном костюме что-то говорит одному из официантов, и тот подкатывает к ним маленькую тележку, уставленную разноцветными блюдами. Официант выкладывает на тарелки помидоры, листья салата латука, филе анчоусов, оливки и каперсы, холодный картофель, фаршированные яйца и еще много всякой снеди. Лалла смотрит на Радича, который ест быстро, склонившись над тарелкой, как собака, гложущая кость, и ей хочется смеяться.

Свет и ветер все так же пляшут перед ней, даже здесь, над рюмками и тарелками, на зеркалах, на букетах цветов. Одно за другим появляются на столе всё новые огромные пылающие блюда, полные яств, незнакомых Лалле: рыба, плавающая в оранжевом соусе, горки овощей, тарелки с чем-то красным, зеленым, коричневым, накрытые серебряным куполом, который Радич приподнимает, чтобы втянуть в себя удивительные ароматы. Метрдотель церемонно наливает им в бокалы вино янтарного цвета, а в другие бокалы, широкие и тонкие, — вино рубиновое, почти черное. Лалла смачивает в вине губы, но главное, она упивается его цветом, любясь им на просвет. Больше, чем вино, их опьяняет солнце, яркие краски и запахи яств. Радич ест быстро, пробует все блюда разом, выпивает один за другим оба бокала вина. Но Лалла почти не ест, она смотрит на парня, поглощающего еду, и на посетителей в зале, которые оцепенели перед своими тарелками. То ли время замедлило ход, то ли все замерло под взглядом Лаллы, под лучами

света. За окнами по-прежнему катят машины, между силуэтами кораблей виднеется серое море.

Радич наконец насытился, он утирает губы салфеткой и откидывается на спинку стула.

Он покраснелся, глаза его ярко блестят.

— Понравилось? — спрашивает Лалла.

— Да, — просто отвечает он.

Он съел так много, что его даже разобрала икота. Лалла заставляет парня выпить воды и велит смотреть ей прямо в глаза, пока икота не пройдет.

Толстяк в черном костюме подходит к их столику:

— Желаете кофе?

Лалла мотает головой. Когда метрдотель подает ей на подносе счет, Лалла протягивает ему бумажку обратно:

— Прочтите сами.

Она извлекает из пальто пачку смятых купюр и одну за другой разглаживает их на скатерти. Метрдотель берет деньги. Он уже собирается уйти, но вдруг что-то вспоминает:

— Господин, который сидит за столиком у двери, хочет с вами поговорить.

Радич хватает Лаллу за руку и решительно тянет за собой:

— Пошли, уйдем отсюда!

Оказавшись у двери, Лалла замечает за соседним столиком мужчину лет тридцати, с печальным лицом. Он встает и подходит к ней. Он мнетя, запинается:

— Я, извините, что я так прямо, но я...

Лалла с улыбкой смотрит ему в глаза.

— Словом, я фотограф, мне бы очень хотелось сфотографировать вас, когда вам будет угодно.

И так как Лалла не отвечает, продолжая улыбаться, он еще больше смущается:

— Понимаете, я сейчас видел, как вы вошли в ресторан, это было чудо, вы... Да-да, настоящее чудо.

Он вынимает из кармана пиджака шариковую ручку и быстро пишет на клочке бумаги свое имя и адрес. Но Лалла качает головой и не берет протянутой записки.

— Я не умею читать, — говорит она.

— Тогда скажите мне, где вы живете, — просит фотограф. У него серо-голубые, очень печальные и влажные, как у собаки, глаза.

Лалла смотрит на него своими лучистыми глазами, он пытается еще что-то сказать.

— Я живу в гостинице «Сент-Бланш», — говорит Лалла и быстро уходит.

Радич-побирушка ждет ее на улице. Ветер треплет его длинные чёрные волосы, облепляет ими его худое лицо. Вид у Радича недовольный. Когда Лалла обращается к нему, он передергивает плечами.

Они бредут вдвоем куда глаза глядят и выходят к морю. Здесь оно совсем другое, не такое, как в краю Намана-рыбака. Вдоль берега, прижимаясь к серым скалам, тянется высокая бетонная стена. Короткие волны, вскипая, бьются между скалами, пена вздымается вверх, как туман. Но Лалле все это нравится, ей приятно, облизывая губы, чувствовать на них вкус соли. Вместе с Радичем она спускается вниз, туда, где скалы защищают от ветра. Здесь жарко палит солнце, лучи его сверкают и искрятся вдали на поверхности моря

и на покрытых солью скалах. После городского шума и прихотливых запахов ресторана хорошо очутиться здесь, где перед тобой только море и небо. На западе виднеются маленькие островки и выступающие из воды черные скалы. Они похожи на китов, говорит Радич. А лодочки с большим белым парусом совсем как игрушечные кораблики.

Когда солнце начинает клониться к горизонту, когда лучи на волнах и скалах умеряют свой блеск и ветер тоже утихает, хочется болтать и грезить. Лалла глядит на маленькие сочные растения, пахнувшие медом и перцем, в расселинах серых скал у моря; они дрожат от каждого порыва ветра. Хорошо бы стать совсем маленькой, думает она, и укрыться в зарослях этих растений, жила бы она тогда под навесом скалы, и ей хватало бы капли воды в день и крошки хлеба на целых два дня.

Радич вынимает из кармана старого коричневого пиджака пачку сигарет и угощает Лаллу. Он говорит ей, что никогда не курит при других, а только когда забьется куда-нибудь, где ему нравится. Лалла — первый человек, при ком он курит. Это американские сигареты, с одного конца у них картонный мундштук, набитый ватой, и они тошнотворно отдают медом. Лалла и Радич медленно курят, глядя на море. Ветер рассеивает голубой дымок.

«Рассказать тебе про нашу жизнь в ночлежке, возле резервуаров? — Голос Радича вдруг изменился, немного охрип, словно волнение сдавило ему горло. Он говорит, не глядя на Лаллу, и все затягивается сигаретой, пока окурок не обжигает ему пальцы. — Понимаешь, раньше я жил не у хозяина. Я жил с отцом и матерью в фургоне, мы переезжали с ярмарки на ярмарку, у нас был тир, ну, само собой, карабинов у нас не водилось — только шары и консервные банки. А потом отец умер, а нас было много, и денег не хватало, вот мать и продала меня хозяину, и я переехал сюда, в Марсель. Поначалу-то я не знал, что мать меня продала, но как-то раз вздумал уйти, а хозяин поймал меня, избил и сказал, что к матери мне теперь путь заказан, потому что она, мол, меня продала, и теперь он мне вместо отца, ну вот, больше я от него не бегал, не хотел видеть мать. Вначале я сильно тосковал, я ведь тут никого не знал и был совсем один. А потом привык, потому что хозяин добрый: ешь сколько хочешь, и лучше мне у него оставаться, чем воротиться к матери, раз она сама от меня отказалась. Нас у хозяина было шестеро парней, вернее, вначале семеро, но потом один умер — заболел воспалением легких и сразу умер. Ну вот, мы сиделись в тех местах, за которые хозяин заплатил, просили милостыню, а вечером приносили деньги, немножко себе оставляли, а остальное — хозяину, он за то нас кормил. Хозяин всегда предупреждал нас, чтобы мы держали ухо востро и не попадались полиции, а не то угоним в приют, и ему нас оттуда не выручить. Потому-то мы на одном месте никогда долго не оставались — хозяин отводил нас на другое. Сначала жили мы в сарае в северной части города, а потом завели фургон вроде отцовского и устроились на пустыре, на окраине, вместе с цыганами. Теперь мы все живем в одном большом доме, недалеко от резервуаров, есть там и другие парни, они работают на хозяина, которого Марселем зовут, а еще есть Анита, на нее тоже дети вкалывают, двое мальчишек и три девчонки, старшая вроде и в самом деле ей родная дочь. Мы работаем у вокзала, только не каждый день, чтобы нас не засекли, а еще у порта и на бульваре Бельсенс или на Каннебьер. Но теперь хозяин сказал, что я слишком взрослый, чтобы просить милостыню, это, говорит, хорошо для малолеток или еще для девчонок, а я должен работать по-настоящему: он учит меня обчищать карманы и таскать с прилавков магазинов и на рынках. Да вот хотя бы костюм, что на мне, рубашка, ботинки, все это он спер для меня в магазине, а я на стреме стоял.

Вот когда мы сейчас с тобой в универсам заходили, если бы ты захотела, все бы это барахло задарма получила, это проще простого, тебе только выбрать, а уж я бы все вынес, мне это раз плюнуть. Вот, к примеру, бумажник — тут надо работать вдвоем: один крадет и сразу передает другому, чтобы не застучали. Хозяин говорит, я к этому делу способный, руки у меня длинные и пальцы ловкие. Говорит, с такими руками надо или музыкантом быть, или воровать. Теперь мы втроем работаем вместе с дочкой Аниты, ходим в универсамы и еще кое-куда. Иной раз хозяин скажет Аните: пойдём, мол, наведёмся в универсам — и берет с собой двух парней, а иной раз дочку Аниты и одного парня, ну, парень — это, понятное дело, я. Универсам, сама знаешь, магазин громадный, там одних рядов столько, что заблудиться можно, тут тебе и жратва, и одежда, и обувь, и мыло, и диски — ну все что душе угодно. Вдвоем дело идет быстро. У нас сумка с двойным дном, для мелочей, для всякой жратвы, а остальное Анита прячет на животе, под платье она подкладывает круглую такую штуковину, вроде она беременная, а у хозяина внутри плаща уйма карманов, ну, мы набираем чего хотим, и привет! Поначалу я, знаешь, боялся, что меня сцапают, но тут важно минуту подходящую выбрать и не теряться: как забоишься, тут тебя легавые и заметут. Я теперь их враз узнаю, даже издали: у них у всех походочка особая, и все косятся краешком глаза, я их за километр чую. Но мне больше нравится работать на улице, машины обчищать. Хозяин обещал научить меня этому делу, он по тачкам большой спец, иногда пригоняет машину из города, чтобы я мог потренироваться. Он научил меня открывать замки куском проволоки или отмычкой. Почти всякую машину можно отмычкой открыть, а еще он показывает, как подсунуть проволоку под щиток и отключить противоугонное устройство. Но он говорит, водить машину я еще не могу, молод. Поэтому я просто беру все, что там найдется, а в ящике для перчаток куча всякого добра бывает, тут и чековые книжки, и документы, даже деньги, а под сиденьями — фотоаппараты, радиоприемники. Я люблю работать на зорьке, и совсем один, когда на улицах ни души, разве что кошка пробежит, люблю смотреть, как солнышко встает, а небо по утрам чистое — точно вымытое. Хозяин хочет, чтобы я еще научился дверные замки взламывать в богатых виллах, здесь, на берегу, он говорит, мы на пару можем здорово поработать, потому что мы легкие и по стенам ловко лазаем. Вот он и обучает нас разным штукам: как замки открывать и окна. Сам он уже не хочет этим больше заниматься — говорит, слишком стар стал и не сумеет удрать, когда надо, но дело не в том, просто его один раз сцапали, и он теперь боится. Я разок уже был в деле с одним парнем, его Рито зовут, он постарше меня и раньше работал у хозяина, вот он и взял меня с собой. Мы пошли на улицу недалеко от Прадо, он там засек один дом, узнал, что в доме никого нет. Я в дом не входил, ждал в саду, Рито взял, что смог, а потом мы вещи в машину перенесли, в ней хозяин дождался. Ну и натерпелся я страху, но это, я думаю, потому, что на стреме стоял в саду, наверняка я бы меньше боялся, если бы сам в доме работал. Но сперва надо много чему научиться, не то сразу загребут. К примеру, надо выбрать подходящее окно, а потом взобраться на дерево или по водосточной трубе. Главное, чтобы голова не кружилась. И потом, нельзя в панику ударяться, если вдруг заявится полиция, надо замереть на месте или на крыше спрятаться, а если побежишь, в два счета схватят. Вот хозяин и учит нас всему этому в ночлежке, заставляет карабкаться по стенке в дом или ночью ходить по крыше и прыгать вроде как с парашютом, скоч — и всё. Но он говорит, что надолго мы тут не задержимся, купим автофургон и поедем в Испанию. По мне бы, лучше в Ниццу, но хозяин обязательно хочет в Испанию. Поедешь с нами? Давай я хозяину скажу, что ты



моя подружка, он тебя расспрашивать не станет, просто скажу, что подружка и что будешь жить с нами в автофургоне, вот и всё. Может, ты тоже научишься в магазинах промышлять, а не то будем вместе обчищать машины: один раз — я, другой раз — ты, так нас никто не засечет. Анита добрая, она тебе понравится, я знаю, у нее волосы светлые, а глаза голубые, никто не верит, что она цыганка. Если ты с нами поедешь, мне тогда все равно, куда ехать, пусть не в Ниццу, пусть в Испанию, вообще куда угодно...»

Радич замолкает. Ему хотелось бы расспросить Лаллу о ребенке, которого она ждет, но он не решается. Он чиркает спичкой, закуривает новую сигарету и время от времени протягивает Лалле, давая затянуться. Оба глядят на море, такое прекрасное, на черные, похожие на китов острова, на игрушечные кораблики, медленно плывущие по искрящейся воде. Порой ветер налетает с такой силой, что кажется, еще немного — и он опрокинет и небо, и море.

---

Лалла рассматривает свои фотографии на страницах иллюстрированных изданий, на обложках журналов. Разглядывает пачки снимков, пробные оттиски, цветные макеты, с которых смотрит ее лицо, почти в натуральную величину. Она листает журналы от конца к началу, держа их чуть наискосок и склонив голову к плечу.

«Нравится тебе?» — спрашивает фотограф не без тревоги, словно это может иметь значение.

А она в ответ смеется своим беззвучным смехом, сверкая белоснежными зубами. Все эти фотографии, журналы вызывают у нее смех, словно это забавная шутка, словно не она изображена на этих листках бумаги. Да это и в самом деле не она. Это Хава, имя, которым она назвалась, которое назвала фотографу; так он и стал ее звать; так он обратился к ней в первый раз, когда встретил на лестнице квартала Панье и привел к себе, в свою большую пустую квартиру на первом этаже нового жилого дома.

Теперь Хава вездесуща: она на страницах журналов, на пробных оттисках, на стенах квартиры. Хава в белом платье с черным поясом; на фоне скал, лишенных тени; Хава в черном шелку, лоб обвязан платком до самых бровей; Хава среди лабиринтов улочек старого города, в охряной, красной и золотистой гамме; Хава во весь рост над Средиземным морем; Хава среди толпы на бульваре Бельсенс или на ступенях вокзальной лестницы; Хава в одежде цвета индиго, босиком на асфальте бескрайней, как пустынный простор, эспланады; вдали силуэты резервуаров с нефтью и дымящиеся трубы; Хава шагает, Хава танцует, Хава спит; смуглолицая красавица Хава со стройным и гладким телом, облитым солнцем; Хава с орлиным взором и густыми черными кудрями, ниспадающими на плечи, или после купания в море, с волосами, гладко облегающими голову, словно шлем из пластика.

Но кто же она такая, эта Хава? Каждое утро, просыпаясь в большой серовато-белой гостиной, где она спит на полу на надувном матрасе, она бесшумно умывается в ванной комнате, потом вылезает через окно и бредет по улицам куда глаза глядят, до самого моря. Фотограф просыпается, открывает глаза, но не шевелится, словно ничего не слышит, чтобы не мешать Хава. Он знает: она такая, ее нельзя удерживать. Он просто оставляет окно раскрытым настежь, чтобы она могла вернуться домой, как кошка.

Иногда она возвращается только к ночи. Проскальзывает в квартиру через окно. Фотограф слышит, что она вернулась; он выходит из лаборатории

и садится рядом с ней в гостиной, чтобы немного поболтать. Глядя на нее, он всегда ощущает волнение, в лице ее столько света и жизни, что глаза его начинают мигать, после темноты лаборатории он совсем ослеплен. Ему всякий раз кажется, что надо о многом рассказать ей, но едва он ее увидит, как сразу забывает, что хотел сказать. Зато она говорит, рассказывает, что видела и слышала на улицах, и, рассказывая, что-нибудь жует — купленный ею хлеб, апельсин, финики, которые она целыми килограммами носит к фотографу.

Самое необычное во всем этом — письма. Они приходят отовсюду, адресованы они просто Хава. Их пересылают модные и иллюстрированные журналы, которые надписывают на конверте имя фотографа и его адрес. Он и счастлив, и обеспокоен этим потоком писем. Хава просит, чтобы он читал ей их вслух, и слушает, склонив голову набок и попивая мятный чай (кухонька фотографа теперь заставлена банками с зеленым и жасминным чаем и пакетиками мяты). Письма бывают поразительные, очень глупые, от девушек, которые где-то увидели фотографию Хавы и обращаются к ней так, будто знакомы всю жизнь. Или же от юношей, которые влюбились в нее и пишут ей, что она прекрасна, как Нефертити или как принцесса-инка, и они мечтают познакомиться с ней.

«Вот обманщики!» — смеется Хава.

Когда фотограф показывает ей свежие отпечатки — Хава с ее миндалевидными, сверкающими, как драгоценные камни, глазами, с ее янтарной кожей, искрящейся на солнце, с ее чуть иронической улыбкой и заостренным профилем, — Лалла Хава снова смеется и твердит: «Ох, обманщик! Вот обманщик!»

Она уверена, что фотографии совершенно на нее не похожи.

Приходят также и деловые письма, в них говорится о контрактах, о деньгах, о деловых встречах, о демонстрациях мод. Все решения, все заботы берет на себя фотограф. Он обзванивает портных, отмечает в записной книжке, когда назначена встреча, подписывает контракты. Он выбирает модели одежды, цвета, определяет место, где будет фотографировать. Потом сажает Лаллу в свою машину, красный «фольксваген»-пикап, и они уезжают далеко-далеко, туда, где уже нет домов, а только серые, поросшие серым же кустарником холмы, или едут к дельте большой реки с топкими берегами, где небо и вода одного цвета.

Лалла Хава любит развезжать в машине фотографа. Она смотрит, как за стеклом меняется пейзаж, как навстречу вьется черная дорога, а по сторонам разбегаются, исчезают дома, сады, нераспаханные земли. По обочинам дороги стоят люди, они смотрят отсутствующим взглядом, как во сне. А может, Лалла Хава и впрямь грезит? Это сон, где нет больше четкой границы между днем и ночью, нет ни голода, ни жажды и только скользят мимо меловые горы, колючие заросли, перекрестки дорог и мелькают города с их улицами, памятниками, отелями.

Фотограф без устали снимает Хаву. Меняет аппаратуру, по-разному ставит свет, увеличивает выдержку. Лицо Хавы всюду, везде. Оно в ярком солнечном свете, как в нимбе, на фоне зимнего неба, оно трепещет в ночной тьме среди радиоволн и телефонных переключек. Фотограф уединяется в своей лаборатории и там при свете оранжевой лампочки неотрывно вглядывается в лицо, возникающее на фотобумаге в ванночке с проявителем. Сначала появляются глаза, громадные глаза, два пятна, они становятся всё глубже, потом — черные волосы, изгиб рта, линия носа, тень под подбородком. Взгляд устремлен куда-то вдаль — Лалла всегда так смотрит, куда-то вдаль, на другой конец света, — и сердце фотографа начинает биться чаще, как тогда, когда он

в первый раз случайно поймал ее лучистый взгляд в ресторане «Галер», или позднее, когда он вновь случайно встретил ее на лестнице старого города.

Она отдает в его распоряжение лишь оболочку, свой образ — ничего более. Иногда он ощущает тепло ее ладони или электрический разряд, пробегающий по телу от мимолетного прикосновения ее волос, и еще ее запах, чуть терпкий, острый, как аромат лимона, и еще звук ее голоса, ее звонкий смех. Но кто же она такая? Быть может, для него она только толчок, зацепка, позволяющая отдаться своей мечте, и он устремляется в погоню за ней в своей затемненной лаборатории со всей этой аппаратурой и линзами, где еще гуще сумрак глаз Лаллы, а улыбка еще ярче. Отдаться мечте, которую он, как и другие, творит на страницах журналов, на глянцевитых фотографиях иллюстрированных изданий.

Он увозит Хава на самолете в Париж, под его серым небом они ездят на деловые встречи в такси, вдоль берегов Сены. Он снимает ее на набережных мутной реки, на больших площадях, на бесконечных проспектах. Он неумоимо фотографирует прекрасное смуглое лицо, которое лучи солнца обтекают, точно вода. Хава в черном атласном комбинезоне, Хава в темно-синем плаще, волосы заплетены в одну толстую косу. Каждый раз, когда он встречается взглядом с Хавой, у него екает сердце, вот почему он торопится снимать ее снова и снова. Он подходит ближе, отступает дальше, меняет аппаратуру, опускается на одно колено.

«Ты словно танцуешь», — смеется над ним Хава.

Ему хотелось бы рассердиться, но он не может. Он стирает пот со лба, с надбровной дуги, прильнувшей к видеоискателю. Но Лалла внезапно покидает освещенное место: ей надоело сниматься. Она уходит. А он, чтобы заполнить пустоту, часами глядит на ее изображение во мраке лаборатории, оборудованной в ванной комнате отеля, прислушиваясь к ударам собственного сердца и ожидая, когда в ванночке с проявителем появится прекрасное лицо, и прежде всего глаза — лучистый взгляд из глубины миндалевидных глаз, свет, вобравший в себя сумрак. Взгляд из дальней дали, словно кто-то другой, таинственный, глядит из этих зрачков и безмолвно вершит свой суд... А потом медленно, как сгущается облако, проступет лоб, высокие скулы, смуглая кожа, омытая солнцем и ветром. Есть в ней какая-то тайна, иногда приоткрывающаяся на фотографии, нечто такое, что можно увидеть, но чем нельзя завладеть, даже если запечатлеешь на снимке каждую секунду ее существования, до самой смерти. И еще эта ее улыбка, нежная, чуть ироничная, от которой в уголках губ появляются ямочки, а миндалевидные глаза сужаются. Вот все это фотографу хочется уловить своим аппаратом, чтобы потом оно вновь родилось во мраке его лаборатории. Иногда ему чудится, что он в самом деле вот-вот увидит ее улыбку, свет ее глаз, прелесть черт. Но это длится лишь короткое мгновение. На листке бумаги, погруженной в проявитель, отпечаток меняется, мутнеет, темнеет, и, кажется, изображение вытесняет живое существо.

А может, тайна ее не во внешности? Может, она в походке, в ее движениях? Фотограф следит за жестами Лаллы Хавы, за тем, как она садится, протягивает руки с открытыми ладонями и они образуют безукоризненную линию от изгиба локтя до кончиков пальцев. Он любит линию ее шеи, гибкой спиной, широкими кистями и ступнями, плечами, тяжелой копной черных с пепельными отсветами волос, спадающих тяжелыми кольцами на ее плечи. Он глядит на Лаллу Хаву и минутами словно бы видит другой лик, проступающий сквозь лицо молодой женщины, другое тело, проступающее за ее телом, — едва различимое, легкое, мимолетное, другое существо

появляется где-то в глубине, потом исчезает, оставив трепетное воспоминание. Кто это? А та, которую она зовет Хава, кто она, каково ее истинное имя?

Иногда Хава смотрит на него или на людей в ресторанах, в холлах аэропорта, в конторах, смотрит так, словно взгляд ее просто стирает их всех с лица земли, возвращает в небытие, которому они и должны принадлежать. Когда у нее появляется этот странный взгляд, фотографа пронизывает дрожь, точно мертвящий холод вливается в его жилы. Он не понимает, что происходит. Быть может, то, другое существо, живущее в Лалле Хаве, смотрит на мир и выносит ему приговор ее глазами, и в такие мгновения начинает казаться, что весь этот огромный город, эта река, площади, проспекты — все куда-то исчезает, открывая бескрайний простор пустыни, песка, неба и ветра.

И фотограф увозит Лаллу Хаву в те места, которые напоминают пустыню: на огромные каменистые равнины, на болота, на эспланады, на пустыри. И Лалла шагает в солнечных лучах, взгляд ее обшаривает горизонт, как взор хищной птицы, выскивающей чью-то тень, чей-то силуэт. Она долго вглядывается в даль, словно и впрямь кого-то ищет, потом замирает над собственной тенью, а он начинает снимать.

Что она ищет? Чего хочет от жизни? Фотограф всматривается в ее глаза, в ее лицо и за потоком излучаемого ею света угадывает всю глубину ее тревоги. И еще есть тут недоверие, инстинктивное желание убежать, странный блеск, вспыхивающий порой в глазах диких животных. Однажды, как он и ожидал, она заговорила с ним об этом, мягко сказала ему о ребенке, которого носит, от которого округлился ее живот и набухают ее груди. «Знаешь, — сказала она, — однажды я уйду, не пытайся меня удерживать, я уйду навсегда...»

Брать деньги она не желает, они ее не интересуют. Каждый раз, когда фотограф дает ей деньги, плату за долгие часы позирования, она выбирает из пачки банкнот одну или две бумажки, а остальные возвращает ему. Иногда даже она сама дает ему бумажные деньги и монеты, извлекая их из кармана своего комбинезона, словно не хочет ничего себе оставлять.

А иногда она бежит по всему городу, разыскивая нищих, забившихся в угол у стены, и высыпает им целые пригоршни монет, крепко сжимая пальцами их ладони, чтобы они ничего не выронили. Она дает деньги босоногим цыганкам с покрывалами на лицах, которые бродят по большим улицам, старухам в черной одежде, примостившимся у дверей почты, бездомным бродягам на скамейках в скверах, старикам, роющимся на помойках возле богатых домов в вечерних сумерках. Все они уже хорошо ее знают и, завидев, следят за ней блестящими глазами. Бродяги принимают ее за проститутку — одни проститутки дают им столько денег — и подшучивают над ней, громко смеются. Но всегда радуются ее приходу.

Теперь о ней говорят повсюду. В Париже ее осаждают журналисты, как-то вечером в холле гостиницы какая-то женщина стала брать у нее интервью:

— Все говорят о вас, говорят о тайне Хавы. Кто же такая эта Хава?

— Хава — это не мое имя. Когда я родилась, мне не дали имени, поэтому меня прозвали Бла Эсм — Безымянная.

— Тогда почему же вы Хава?

— Так звали мою мать, вот потому я и зовусь Хава, дочь Хавы, вот и всё.

— Из какой страны вы приехали?

— Моя родина безымянна, как и я сама.

— Где же она?

— Там, где больше нет ничего, никого.

— Зачем вы приехали сюда?

- Я люблю путешествовать.
- Что вы любите в жизни?
- Жизнь.
- Ваша любимая еда?
- Фрукты.
- Любимый цвет?
- Синий.
- Любимый камень?
- Придорожная галька.
- А музыка?
- Колыбельные песни.
- Говорят, вы пишете стихи?
- Я не умею писать.
- Собираетесь ли вы сниматься в кино?
- Нет.
- Что вы думаете о любви?

Но Лалле Хаве вдруг надоел этот разговор, и она быстро уходит, — не оглядываясь, толкает дверь отеля и исчезает на улице.

Теперь на улице многие ее узнают, девушки протягивают ее фотографии и просят дать автограф. Но поскольку Лалла Хава неграмотна, она рисует знак своего племени, тот, которым клеймили верблюдов и коз, формой он немного напоминает сердце:

На улицах, в магазинах, на дорогах — повсюду так много людей! Они толкаются, оглядывают друг друга. Но когда на них падает взгляд Лаллы Хавы, их как будто сметает с лица земли, все вокруг умолкает, пустеет.

Лалле хочется поскорее миновать эти слишком людные улицы, чтобы увидеть, что же скрывается за ними. Однажды ночью фотограф повез ее в дансинг «Палас». «Пари-Палас» — так он называется. Для танцев Лалла надела черное платье с глубоким вырезом на спине, фотограф собирается ее снимать.

Это место тоже напоминает большие пустынные площади, где видны лишь очертания домов да кузова освещенных солнцем автомобилей на обочине. Страшное, пустынное место, где мужчины и женщины, гримасничая, теснятся в душной темноте, пронзаемой вспышками света, среди облаков сигаретного дыма, под дробный грохот, от которого содрогаются пол и стены.

Лалла Хава садится в уголке на ступеньку и смотрит на танцующих, на их блестящие от пота лица, на переливающуюся одежду. В глубине зала, точно в пещере, расположились музыканты, они перебирают струны своих гитар, бьют в барабаны, но кажется, что музыка, похожая на вопли великанов, доносится откуда-то издалека.

А потом и Лалла тоже танцует на подмостках, среди толпы. Танцует так, как научилась когда-то, одна среди толпы, чтобы скрыть свой страх, потому что здесь слишком много шума и света. Фотограф сидит на ступеньках не двигаясь, забыв о том, что хотел ее снимать. Вначале танцующие не обращают внимания на Хаву, свет слепит им глаза. Но потом они словно почувствовали, что незаметно для них происходит что-то необыкновенное, они расступились, один за другим перестали танцевать и смотрят на Лаллу Хаву. Она оказалась одна в круге света, она никого не видит. Она танцует, следуя медленному ритму электронной музыки, словно эта музыка звучит внутри нее самой. Свет играет на черной ткани ее платья, на ее смуглой коже, на ее волосах. В тени

ресниц почти не видно ее глаз, но взгляд ее пронизывает людей, его мощь, его красота заполняют весь зал. Хава танцует босиком на гладком полу, ее длинные, плоские ступни бьют по нему в такт барабанному ритму, или, вернее, кажется, что именно дробь, которую выбивают ее ступни, и диктует музыке ритм. Ее гибкое тело, бедра колышутся, плечи и руки чуть разведены в стороны, словно крылья. Свет прожекторов пробегает по ней, обволакивая ее, взметая вихри вокруг ее ног. Она совершенно одна в большом зале, как была бы одна посреди эспланады или каменного плато, и электронная музыка, с ее медленным, тягучим ритмом, звучит для нее одной. Может, они наконец исчезли, все те, кто был вокруг нее, эти мужчины и женщины, мимолетные отблески зеркальных отражений, ослепленные, поглощенные вихрем? Теперь она больше не видит и не слышит их. Исчез даже фотограф, сидевший на ступеньке. Они стали подобны скалам, известняковым глыбам. Но зато она сама, она обрела наконец способность двигаться, она свободна, она кружится, чуть разведя в стороны руки, а ноги ее отбивают ритм, то кончиком большого пальца, то пяткой ударяя об пол, словно по спицам гигантского колеса, ось которого уходит в ночную тьму.

Она танцует для того, чтобы бежать отсюда, стать невидимой, чтобы птицей взмыть в облака. Под ее босыми ступнями пол, покрытый пластиком, становится жгучим, легким, напоминая цветом песок, и воздух обвеивает ее тело, как ветер. В водовороте танца меняется свет: это уже не жесткий, холодный свет прожектора, а прекрасный солнечный свет, под лучами которого земля, скалы и само небо становятся белыми. В нее вливается музыка, медленная, тягучая электронная музыка, музыка гитар, органа и барабанов, но, быть может, она вовсе уже и не слышит ее. Эта музыка такая медленная, такая глубокая, что она обволакивает ее загорелую кожу, ее волосы, ее глаза. От Лаллы волнами расходится хмель танца, и мужчины и женщины, на мгновение замершие, теперь вновь вступают в танец, но уже подчиняясь ритму тела Хавы и постукивая по полу то кончиками пальцев, то пяткой. Не слышно ни слова, ни вздоха. Люди в опьянении ждут, чтобы дух танца вселился в них и увлек их за собой, подобно смерчу, проносающемуся над морем. Волосы Хавы ритмично взлетают и падают ей на плечи, кисти с раздвинутыми пальцами вздрагивают. Босые ноги танцующих всё чаще, всё громче стучат по блестящему, как стекло, полу, ритм электронной музыки ускоряется, нарастает. В большом зале не стало стен, зеркал, электрического света. Они исчезли, сметенные, опрокинутые вихрем танца. Исчезли города, лишённые надежды, города-пропасти, города нищих и проституток, где каждая улица — западня, каждый дом — могила. Все они исчезли, хмельной взгляд танцующих стер все препятствия, всю вековую ложь. Вокруг Лаллы Хавы тянется теперь лишь безбрежный простор белого камня и пыли, живой простор песка и солончаков, волны барханов. Все стало таким, как было прежде там, где обрывалась козья тропа и где, казалось, кончилось все, словно ты был на краю земли, у подножия неба, у порога ветра. Это было как тогда, когда впервые она почувствовала на себе взгляд Ас-Сира, того, кого называла Тайной. И вот, в водовороте танца, когда ноги кружат ее всё быстрее и быстрее, она вновь чувствует, впервые за долгое время, как в нее вперяется, изучая ее, тот самый взгляд среди беспредельного голого пространства, вдали от танцующих людей, вдали от туманных городов, в нее проник взгляд Ас-Сира, Тайны, коснулся самого ее сердца. И сразу свет стал нестерпимо жгучим, похожим на белый опаляющий взрыв, лучи которого протянулись по всему залу, на молнию, которая разбила все электрические лампочки и неоновые трубки, испепелила музыкантов, перебирающих струны

гитары, и разнесла на куски все микрофоны.

Медленно, не переставая кружиться, Лалла, точно сломанный манекен, опускается на блестящий пол. Проходит долгая минута, а она все еще лежит на полу, с лицом, скрытым разметавшимися волосами, прежде чем фотограф решается приблизиться к ней, а танцоры расступаются, всё еще не понимая, что с ними произошло.

---

И вот пришла смерть. Она начала косить овец и коз, и лошадей тоже; околевшие животные оставались лежать на дне реки со вздутым животом и раскинутыми ногами. Потом настал черед детей и стариков, они металась в бреду и уже не могли подняться. Умерших стало так много, что пришлось устроить для них кладбище на красном песчаном холме, ниже по течению реки. Их выносили на рассвете, не совершая никакого похоронного обряда, просто завернув в старую холстину, и хоронили в наспех вырытой яме, а сверху клали несколько камней, чтобы дикие собаки не добрались до покойника. Вместе со смертью налетел ветер *шерги*. Он дул порывами, окутывая людей складками жгучего покрывала, иссушая землю. Каждое утро Нур вместе с другими детьми бродил вдоль реки в поисках креветок. Он также ставил силки, сплетенные из травы и прутьев, надеясь поймать зайца или тушканчика, но часто лисицы, опережая его, опустошали ловушки.

Голод терзал людей, это от него умирали дети. Много дней прошло с тех пор, как путники прибыли к стенам красного города, но никто не предлагал им еды, а их собственные запасы подходили к концу. Каждый день великий шейх посылал к стенам города воинов, чтобы просить помощи и земли для своего народа. Но знатные горожане всё только обещали и ничего не делали. Мы сами бедствуем, уверяли они. Дождей давно не было, земля спеклась от засухи, а прежний урожай весь съеден. Иногда сам шейх с сыновьями подходил к воротам города и просил уделить пришельцам пастбища, пашни, часть пальмовых рощ. Нам самим не хватает земли, говорили знатные люди, от истоков реки до моря все плодородные земли захвачены христианами, и часто их солдаты навещают в город Агадир и отбирают большую часть урожая.

Каждый раз Ма аль-Айнин молча выслушивал ответ знатных горожан и возвращался в свою палатку на берегу реки. Но уже не гнев и нетерпение обуревали его сердце. С тех пор как смерть каждый день уносила людей и задул раскаленный ветер пустыни, он, как и весь его народ, был охвачен отчаянием. Казалось, люди, бродившие вдоль пустынных берегов реки или сидевшие в тени своих палаток, поняли: они осуждены на гибель. Эти красные земли, иссохшие поля, скудные террасы, засаженные оливковыми и апельсиновыми деревьями, темные пальмовые рощи не имели к ним отношения, были далекими, подобно миражу.

Несмотря на все свое отчаяние, Лархдаф и Саадбу предлагали напасть на город, но шейх был против насилия. Синие Люди пустыни слишком измучены, они слишком долго были в пути, и притом голодали. Большинство воинов страдали от лихорадки и цинги, ноги их были в гнойных язвах. Даже оружие и то пришло в негодность.

Жители города опасались пришельцев из пустыни и весь день держали на запоре крепостные ворота. Тех, кто попытался пробраться через крепостные стены, встретили ружейной пальбой — это было предупреждение.

И тогда, поняв, что надеяться не на что, что все они, каждый в свой черед, погибнут здесь, на раскаленном ложе реки, у стен безжалостного города, Ма аль-Айнин подал знак уходить на север. На сей раз перед дальней дорогой не было ни молитвы, ни песен, ни танцев. Один за другим, медленно, как больные животные, которые, пошатываясь, встают и распрямляют ноги, покидали берега реки Синие Люди, вновь пустившись в путь навстречу неизвестности.

Теперь отряд, сопровождавший шейха, утратил свой прежний вид. Воины

шли рядом с остальными путниками и их стадами, такие же изнуренные, в лохмотьях, с пустым взглядом лихорадочно горящих глаз. Быть может, они потеряли веру в то, что долгий путь приведет их к цели, и продолжали идти вперед лишь по привычке, на пределе сил, и, казалось, они вот-вот рухнут на землю. Женщины шли, подавшись вперед, закрыв лицо синими покрывалами, многие уже лишились детей, которые остались лежать в красной земле долины Сус. В самом конце каравана, растянувшегося по всей долине, брели дети, старики, раненые воины, те, кто шел медленнее других. Среди них был и Нур, поводырь слепца. Он даже не знал, где его семья, затерявшаяся в облаке пыли. Лишь у немногих воинов еще уцелели лошади. Среди них на белом верблюде, в белом бурнусе ехал великий шейх.

Они двигались в полном молчании. Каждый шел погруженный в себя, с почерневшим лицом, неотрывно глядя воспаленными глазами на красные склоны холмов на западе, выискивая там дорогу, ведущую через горы к священному городу Марракеш. Шли под палящим солнцем, которое безжалостно жгло голову, шею, разливалось мучительной болью по всем членам, проникая до самых внутренностей. Никто не слышал уже ни шума ветра, ни шороха шагов по песку. Не слышал ничего, кроме стука собственного сердца, трепетания своих натянутых нервов, боли, свистящей и скрежещущей в барабанных перепонках.

Нур не ощущал больше у себя на плече тяжести руки слепого воина. Он шел вперед, сам не зная зачем, без надежды когда-нибудь остановиться. Быть может, в тот день, когда его мать и отец решили покинуть становья на юге, они осудили себя на вечные скитания, на этот бесконечный переход от колодца к колодцу по иссохшим долинам? Но были ли вообще на свете другие края, кроме этой земли, этого беспредельного пространства, которое пыль перемешала с небом, этих гор, не дающих тени, острых камней, безводных рек, колючих кустарников, способных, слегка оцарапав тебя, принести смерть? Каждый день вдали, на склонах холмов, перед странниками представляли всё новые дома, красные глинобитные крепости, окруженные полями и пальмами. Но путники смотрели на них, как смотрят на миражи, плывущие в перегретом воздухе, далекие, недоступные. Обитатели селений не показывались. Они убежали в горы, а может быть, попрятались за крепостными стенами, готовые сразиться с Синими Пришельцами из пустыни.

Сыновья Ма аль-Айнина, ехавшие верхом во главе каравана, показали на узкую щель долины среди хаоса гор: «Вот она, дорога! Дорога на север!»

И они пустились в многодневный путь через горы. В ущельях свирепствовал раскаленный ветер. Бескрайнее синее небо простиралось над красными утесами. Здесь не было ни души — ни людей, ни животных, только изредка мелькнет на песке змеиный след или высоко в поднебесье — тень грифа. Странники шли, не ища признаков жизни, не видя проблеска надежды. Как слепые брели друг за другом мужчины и женщины, ступая по следам тех, кто прошел впереди, по следам, перепутанным со следами животных. Кто указывал им путь? Дорога петляла по ущельям, преодолевала каменные осыпи, сливалась с высохшими руслами рек.

Наконец путники добрались до реки Исен, набухшей от талой воды. Прекрасная чистая влага струилась между бесплодными берегами. Но люди равнодушно взирали на эту воду: она была не для них, они не могли назвать ее своей. Много дней провели они на берегу реки, пока воины великого шейха во главе с Лархдафом и Саадбу поднимались по дороге к Шишава.

«Мы пришли? Это наша земля?» — как и прежде, спрашивал слепец.

Ледяная вода сбегала вниз с уступа на уступ, спуск становился все круче, все труднее. Наконец караван добрался до шлехской деревушки в самой низине. Там его дожидались воины шейха. Они разбили свою большую палатку, и горские шейхи заклали несколько барашков, чтобы оказать достойный прием Ма аль-Айнину. Деревушка у подножия высокой горы называлась Аглала. Пришельцы из пустыни расположились у ее стен, ничего не требуя. Но вечером деревенские ребятишки принесли им мясо на вертеле и кислое молоко, и каждый поел так сытно, как не ел уже давным-давно. Потом странники развели костры из кедровых



веток, потому что ночь была холодной.

Нур долго смотрел, как танцуют в густой ночной тьме языки пламени. До него доносилось пение, странная музыка, какой Нур никогда не слышал, медленная и тягучая мелодия, пение под аккомпанемент флейты. Деревенские жители просили Ма аль-Айнина благословить их, исцелить от болезней.

Теперь странники направлялись к противоположному склону горы, туда, где лежал священный город. Быть может, там пришельцы из пустыни увидят конец своих мук — так уверяли воины Ма аль-Айнина, ведь именно в Марракеше четырнадцать лет тому назад Мауля Хафид, Повелитель Правоверных, принял от Ма аль-Айнина присягу на верность. Там султан подарил шейху землю, чтобы он построил на ней школу Гудфия. И к тому же в священном городе Марракеш ждал своего отца, чтобы присоединиться к священной войне, старший сын Ма аль-Айнина. Маулю Хибу, которого звали также Дехиба — Золотая Капля, а еще Мауля Себа, то есть Лев, почитали все, ибо избрали его властителем южных земель.

Вечером, когда путники делали привал и разжигали костры, Нур отводил слепого туда, где отдыхали воины Ма аль-Айнина, и они слушали рассказы о былом, о том, как великий шейх и его сыновья явились в Марракеш в сопровождении воителей пустыни, все на быстроногих верблюдах, как они вошли в священный город и как султан принял шейха вместе с двумя его сыновьями — Маулей Себой, Львом, и Мухаммедом аш-Шамсом, прозванным Солнцем; рассказывали воины и о том, как султан одарил шейха, чтобы тот мог возвести укрепления города Смары, и какой путь проделали мужчины со стадами верблюдов, такими многочисленными, что они заполнили всю равнину, из края в край, а женщины и дети, с поклажей и продовольствием, тем временем погрузились на большой пароход под названием «Башир» и много дней и ночей плыли от Могадора до Марса-Тарфая.

Певучими голосами рассказывали они и историю самого Ма аль-Айнина, и казалось, они рассказывают сон, который приснился им когда-то. Голосам воинов вторило потрескивание пламени, временами сквозь клубы дыма Нур различал хрупкую фигуру старца, которая сама была подобна язычку пламени посреди становья.

«Великий шейх родился далеко отсюда, на юге, в земле Ход. Отец его был сыном Маули Идриса, а мать из рода самого Пророка. При рождении отец дал великому шейху имя Ахмед, но мать нарекла его Ма аль-Айнин, Влага Очей, потому что, когда он появился на свет, она плакала от радости...»

В ночной тьме рядом со слепым воином, прикинув головой к большому камню, слушал Нур их рассказ.

«Ему едва исполнилось семь лет, а он уже мог прочесть наизусть весь Коран без единой ошибки, и тогда отец его, Мухаммед аль-Фадаль, послал сына в священный город Мекку, и ребенок по пути творил чудеса. Он исцелял больных, а тем, кто просил у него воды, отвечал: «Небо ниспошлет тебе воду», и тотчас на землю проливался дождь...»

Слепец покачивал головой в такт повествованию, а Нура постепенно начинало клонить в сон.

«И тогда со всех концов пустыни стали стекаться люди, чтобы увидеть ребенка, который творит чудеса, а ребенку, сыну великого Мухаммеда Фадаль бен Мамина, стоило смочить своей слюной глаза больного и подуть на его губы, как больной тотчас поднимался и целовал ему руку, потому что был исцелен...»

Нур чувствовал, как рядом с ним всем телом дрожит слепой воин, мерно покачивающий головой. Голова его двигалась в такт монотонному голосу рассказчика, и так же в такт колебались пламя и дым костра; казалось, сама земля покачивается, следуя ритму этого голоса.

«И тогда великий шейх обосновался в священном городе Шингетти у оазиса Назаран, вблизи ад-Дакла, чтобы проповедовать свое учение, ибо ему была ведома наука звезд и чисел и слово Аллаха. И жители пустыни стали его учениками, их называли *берик Аллах* — те, кто получил благословение Аллаха...»

Голос Синего Воина все так же монотонно звучал в темноте у костра; пламя поднималось вверх, плясало; людей окутывало дымом, и они кашляли. Нур слушал рассказы о чудесах, об источниках, забивших в пустыне, о дождях, напоивших иссохшую землю, и о том, что говорил великий шейх на площади в Шингетти или перед своим жилищем у Назарана. Мальчик слушал о том, как начался долгий путь Ма аль-Айнина через пустыню до *сары* — земли, заросшей кустарником, где великий шейх основал свой город. Он слушал рассказы о его легендарных сражениях против испанцев в Эль-Аюне, Ифни и Тизните, где с ним рядом бились его сыновья Реббо, Таалерб Лархдаф, аш-Шамс и тот, кого звали Мауля Себа, то есть Лев.

Каждый вечер все так же нараспев рассказывал один и тот же голос эту повесть, и Нур забывал, где находится, словно Синий Человек вел рассказ о нем самом.

По ту сторону гор путники вступили на громадную красную равнину и шли от деревни к деревне, направляясь к северу. И в каждой деревне, занимая место умерших, к каравану присоединялись мужчины с лихорадочно горящими глазами, женщины и дети. Впереди на белом верблюде, окруженный сыновьями и воинами, ехал великий шейх. Нур видел издали облако пыли, которое словно бы указывало им дорогу.

Когда показался великий город Марракеш, странники не осмелились приблизиться к нему и разбили свой стан к югу от него на берегу пересохшей реки. Два дня ждали Синие Люди, не смея шевельнуться, в тени своих палаток и шалашей. Горячий летний ветер осыпал их пылью, но они ждали, все силы их были сосредоточены на одном — ожидании.

Наконец на третий день вернулись сыновья Ма аль-Айнина. Рядом с ними верхом на коне ехал рослый человек, одетый как северные воины. Имя его тотчас облетело весь стан. «Это Мауля Хиба, — переходило из уст в уста. — Тот, кого прозвали Мауля Дехиба, Золотая Капля, и еще Мауля Себа, Лев».

Услышав это имя, слепой воин задрожал, слезы заструились из его выжженных глаз. Он бросился бежать вперед, расставив руки, с протяжным, надрывающим слух криком, похожим на стон.

Нур пытался его удержать, но слепец бежал что есть силы, спотыкаясь о камни, увязая в пыли. Пришельцы из пустыни расступались перед ним, некоторые в страхе отводили глаза: они решили, что в слепца вселились демоны. Казалось, слепой воин охвачен мучительным восторгом, который превышает меру человеческих сил. Много раз падал он, споткнувшись о корень или о камень, но каждый раз поднимался и бежал дальше, туда, где находились Ма аль-Айнин и Мауля Хиба, хотя не мог их видеть. Наконец Нур догнал его, схватил за руку, но слепец с криком рванулся дальше, увлекая за собой Нура. Он бежал все вперед, словно видел Ма аль-Айнина и сына его, уверенно стремился прямо к ним. Воины шейха испугались, схватились за ружья, чтобы остановить слепца. Но шейх повелел:

— Пропустите их! — Потом слез с верблюда и подошел к слепцу: — Чего ты хочешь, скажи?

Слепой воин простерся на земле, выбросив вперед руки, рыдания сотрясали его тело, душили его. Только пронзительный стон, теперь уже слабый, прерывистый, как жалоба, вырывался из его груди. Тогда заговорил Нур:

— Верни ему зрение, великий повелитель.

Ма аль-Айнин долго смотрел на простертого на земле человека, на его сотрясавшееся от рыданий тело, на лохмотья, на окровавленные, истерзанные за время долгого пути руки и ноги. Не говоря ни слова, он опустился на колени рядом со слепцом и возложил руки ему на затылок. Вокруг теснились Синие Люди и сыновья шейха. Установилась такая тишина, что у Нура голова пошла кругом. Странная, неведомая сила исходила от пыльной земли, вовлекала людей в свой водоворот. Быть может, то была игра закатных лучей, а может быть, власть взгляда, устремленного на землю и рвавшегося за ее пределы, точно плененная плотина вода. Медленно приподнялся слепой воин, свет упал на его лицо, по

которому были размазаны песок и слезы. Краем своего светло-голубого покрывала Ма аль-Айнин обтер лицо воина. Потом провел рукой по его лбу, по обожженным векам, точно стирая с них что-то. Кончиками смоченных слюной пальцев он протер веки слепца и тихонько подул ему в лицо, не произнося ни слова. Молчание длилось очень долго, и Нур уже не помнил, что было до этого и что говорил он сам. Стоя в песке на коленях рядом с шейхом, он неотрывно смотрел в лицо слепого, которое словно бы озарялось каким-то новым светом. Воин больше не стонал. Он замер перед Ма Аль-Айнином, чуть разведя руки, широко раскрыв невидящие глаза, словно медленно упиваясь взглядом шейха.

Подошли сыновья Ма аль-Айнина, среди них — и Мауля Хиба. Они помогли старцу подняться. Слепому помог встать на ноги Нур, бережно взявший воина за руку. Тот зашагал, опираясь на плечо мальчика, закатные лучи золотой пылью сверкали на его лице. Он молчал. Он шел очень медленно, как человек, перенесший тяжелую болезнь, всей ступней упираясь в каменистую землю. Он шел слегка пошатываясь, но уже не выбрасывая руки в стороны, и видно было, что он больше не страдает. Неподвижные и молчаливые, следили пришельцы из пустыни, как он бредет на другой конец становья. Он уже не страдал, лицо его было спокойным и кротким, во взгляде сиял золотой отсвет солнца, скатившегося к горизонту. А рука его на плече Нура стала легкой, как у человека, который знает, куда идет.

---

*Уэд Тадла, 18 июня 1910 года*

Солдаты вышли из Зеггата и Бен-Ахмеда еще до зари.

Командовал колонной в две тысячи пехотинцев, вооруженных винтовками Лебеля, которая выступила из Бен-Ахмеда, генерал Муанье. Отряд медленно продвигался по выжженной равнине к долине реки Тадла. Во главе колонны ехал генерал Муанье вместе с двумя французскими офицерами и штатским наблюдателем. Их сопровождал верхом проводник-мавр, в одежде воина юга.

В тот же день другая колонна, насчитывавшая всего пятьсот человек, выступила из Зеггата, чтобы взять в клещи Ма аль-Айнина с его бунтовщиками, двигавшимися на север.

Вдали, сколько хватал глаз, перед солдатами простиралась голая земля, охряная, красная, серая, сверкавшая под лазурью неба. Над землей, вздымая пыль и заволакивая пеленой солнце, гулял знойный летний ветер.

Все молчали. Офицеры, ехавшие впереди, прищипорили коней, чтобы оторваться от колонны; они надеялись таким образом уйти от душного облака пыли. Глазами они обшаривали горизонт, пытаясь разглядеть, что их ждет впереди: вода, глинобитные стены селения или враг.

Генерал Муанье уже давно готовился к этой минуте. Каждый раз, когда речь заходила о юге, о пустыне, он думал о Ма аль-Айнине, непреклонном фанатике, который дал клятву очистить земли пустыни от христиан, о вожаке бунтовщиков, убийце генерала Копполани.

«Ничего серьезного, — говорили штабные в Касабланке, в Фор-Тренке, в Фор-Гуро. — Фанатик. Этаким колдун-чудотворец, который увлек за собой всех оборванцев Дра, Тиндуфа и чернокожих обитателей Мавритании».

Но старый колдун из пустыни был неуловим. Доносили, что он на севере, неподалеку от первых сторожевых постов у границы пустыни. Бросались туда — а его уже след простыл. Потом он объявлялся снова, на сей раз на побережье, в Рио-де-Оро, в Ифни. Само собой, с испанцами ему сладить нетрудно! Чем они только занимаются в Эль-Аюне, в Тарфае, на мысе Юби? Нанеся удар, старый шейх, хитрый как лис, возвращался с воинами в свои «владения», к югу от Дра, в

Сегиет-эль-Хамру, в свою «крепость» Смару. И оттуда его не выкуришь. К тому же его окружает тайна, суеверия. Многим ли удалось живыми проникнуть в эти места? Скача бок о бок с офицерами, наблюдатель вспоминал о путешествии, совершенном в 1877 году Камиллом Дулем. Вспоминал, как тот описывал свою встречу с Ма аль-Айнином перед дворцом в Смаре: шейх, в светло-голубом покрывале и высокой белой чалме, подошел к Дулю и долго смотрел на него. Дуля взяли в плен мавры, одежда его была изорвана, лицо изнурено зноем и усталостью, но во взгляде Ма аль-Айнина не было ни ненависти, ни презрения. Этот долгий взгляд и молчание, которые словно бы всё еще длились и длились, вызывали дрожь у наблюдателя каждый раз, когда он думал о Ма аль-Айнине. Но, быть может, только он один и почувствовал это, читая когда-то записи Дуля. «Фанатик, — твердили офицеры. — Дикарь, у которого на уме одно: грабить, убивать, предавать огню и мечу южные районы, как это было в тысяча девятьсот четвертом году, когда в Таганте убили Копполани, или в августе тысяча девятьсот пятого, когда в Удже лишили жизни Мошана».

И однако, сопровождая теперь офицеров, наблюдатель каждый день ощущал, как в нем поднимается тревога, необъяснимая тревога и страх. Словно он боялся, что за холмом, в расщелине, на дне высохшей реки, встретит вдруг взгляд великого шейха, одиноко стоящего среди пустыни.

Теперь старику конец, он уже не устоит, это вопрос месяцев, может быть, недель. Он будет вынужден сдаться, или броситься в море, или погибнуть в пустыне. Его никто больше не поддерживает, и ему это известно...

Офицеры и штаб армии в Ороне, Рабате, даже в Дакаре давно поджидали этого момента. «Фанатик» загнан в тупик: с одной стороны — море, с другой — пустыня. Старому лису придется капитулировать. Все его покинули. Мауля Хафид с севера подписал договор в Альхесирасе, положивший конец священной войне. Он признал французский протекторат. А затем в октябре 1909 года родной сын Ма аль-Айнина, Ахмед Хиба, тот, которого они зовут Мауля Себа, Лев, подписал письмо, в котором заверил, что шейх покорится законам Махзана, и просил помощи.

Лев! Он остался теперь совсем один, этот Лев. Да и другие сыновья шейха: аш-Шамс в Марракеше и Лархдаф, бандит, разбойничающий в Хамаде. Им больше неоткуда ждать помощи и оружия, жители Суса от них отступились... Осталась лишь горстка оборванцев, все оружие которых — старые бронзовые карабины, ятаганы да копыя! Чистейшее средневековье!

Покачиваясь в седле, бок о бок с офицерами, штатский наблюдатель думает обо всех, кто нетерпеливо ждет падения старого шейха. Это европейцы, живущие в Северной Африке, которых обитатели пустыни зовут «христианами». На самом-то деле разве у них есть другая религия, кроме денег? Испанцы в Танжере и Ифни, англичане в Танжере и Рабате, немцы, голландцы, бельгийцы, все банкиры, все дельцы, ожидающие падения арабской империи и уже строящие планы ее захвата, раздела пахотных земель, зарослей пробкового дерева, рудников и пальмовых рощ. Агенты Парижско-Нидерландского банка, собирающие пошлину во всех портах. Подручные депутата Национального собрания Этьенна, создавшие Акционерное общество изумрудов Сахары и Акционерное общество нитратов Гурара-Туат. Им нужно, чтобы на опустошенной земле освободилось место, где якобы будут проложены железные дороги — через Сахару, через Мавританию, а расчищает им путь своими ружьями армия.

Что может поделать старец из Смары, один против этого потока денег и пуль? Что может сделать его взгляд, диковатый взгляд загнанного зверя, против тех, кто спекулирует, кто жаждет прибрать к рукам здешние земли и города, кто мечтает разбогатеть, обрекши на нищету целый народ?

Рядом с наблюдателем едут офицеры, лица их бесстрастны, они не тратят лишних слов. Взгляд их устремлен к горизонту, туда, где за каменистыми холмами простерлась мгlistая долина уэда Тадла.

Быть может, они даже не задумываются над тем, что творят? Они едут невидимой тропой, которую указывает им проводник-туарег.

Следом, в посеревших от пыли мундирах, подавшись вперед и высоко поднимая ноги, точно они перемахивают через канавы, тяжело вышагивают суданские и сенегальские стрелки. Их мерный топот отдается в жесткой земле. За их спиной, заволакивая чистое небо, медленно вздымается облако красной и серой пыли.

Это началось давно. И теперь уж ничего не поделаешь: армия словно бы идет сражаться с призраками.

Но шейх никогда не согласится сдаться, тем более французам. Он предпочтет обречь на гибель всех своих людей до последнего и самому погибнуть вместе с сыновьями, только бы не попасть в плен... Да так и в самом деле будет лучше для него, потому что, поверьте мне, правительство не примет его капитуляции — не забудьте про убийство Копполани. Да нет, это фанатик, кровожадный дикарь, его надо истребить вместе со всем его племенем. *Берик Аллах*, благословенные Аллахом — так они себя именуют... Ну чем не Средние века?

Старого лиса предали и покинули все его сторонники. Один за другим они отпали от него, потому что вожди племен чувствовали: христиане неотвратимо наступают и на севере, и на юге, они являются даже с моря, пересекают пустыню, они заняли ворота к ней: Тиндуф, Табельбалу, Вадан, захватили даже священный город Шингетти, где Ма аль-Айнин начал проповедовать свое учение.

Битва при Бу-Денибе, в которой генерал Виньи разгромил шесть тысяч воинов Маули Хибы, была, наверное, последним большим сражением. Сын Ма аль-Айнина бежал в горы, исчез, должно быть, чтобы скрыть свой позор, ведь он стал *ляхм*, как они говорят, то есть мясо без костей, побежденный. Старый шейх остался в одиночестве, запертый в своей крепости Смаре, не понимая, что победу над ним одержало не оружие, а деньги, деньги банкиров, оплативших солдат султана Маули Хафида и их нарядные мундиры, деньги, которые солдаты-христиане рассчитывают получить в портах, как свою долю таможенной пошлины, деньги за разграбленные земли, за отнятые пальмовые рощи, за леса, отданные тем, кто сумел наложить на них лапу. Но разве старый шейх мог это понять? Разве он знал, что такое Парижско-Нидерландский банк, что такое заем, выпущенный для постройки железных дорог, или Акционерное общество нитратов Гураара-Туат? Разве мог он знать, что, пока он молился и раздавал благословения обитателям пустыни, правительства Франции и Великобритании подписали договор, по которому к первой отошла страна под названием Марокко, а ко второй — страна под названием Египет? Разве мог он знать, что, покуда он отдавал свое слово и самое свое дыхание последним свободным людям, людям племен изарген, аросиин, тидрарин, улад-бу-себа, тубальт, регибат-сахель, улад-делим, имраген, покуда он отдавал свои силы людям родного племени, *берик Аллах*, банковский консорциум, в котором ведущая роль принадлежала Парижско-Нидерландскому банку, предоставил султану Мауле Хафиду заем в шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч франков золотом под проценты, и эти пять процентов гарантированы доходом от таможенной пошлины, взимаемой во всех портах побережья, и иноземные солдаты введены в страну для наблюдения за тем, чтобы не менее шестидесяти процентов ежедневных таможенных сборов поступали в банк? Разве он мог знать, что ко времени подписания договора в Альхесирасе, который положил конец священной войне на севере, долг султана Маули Хафида достиг уже двухсот шести миллионов франков золотом и было совершенно очевидно, что ему никогда не расплатиться со своими кредиторами? Но старый шейх ничего об этом не знал, потому что его воины сражались не ради золота, а ради того, чтобы получить благословение, и земля, которую они защищали, не принадлежала ни им, ни кому-то другому, это был просто дар божий — открытый их взору вольный простор.

Дикарь, фанатик, который перед сражением говорит своим воинам, что сделает их непобедимыми и бессмертными, и посылает их против ружей и пулеметов с одними копьями да саблями...

Теперь отряд черных стрелков занял всю долину реки Тадла, укрепился в том месте, где брод, а знатные жители касбы Тадла явились к французским

офицерам объявить им о своей покорности. В вечернем воздухе поднимается дымок бивачных костров, и штатский наблюдатель, как и на каждой стоянке, любуется медленно открывающимся взору ночным небом. Он снова думает о взгляде Ма аль-Айнина, таинственном, глубоком взгляде, который шейх устремил на Камила Дуля, переодетого турецким купцом, заглянув ему в самую душу. Быть может, шейх уже тогда догадался, что несет с собой его народу этот чужестранец, одетый в рубище, первый осквернитель святынь, который каждый день вел дневниковые записи на страницах своего Корана? Но теперь уже слишком поздно, судьба его должна свершиться. Спасенья нет. С одной стороны море, с другой — пустыня. Вокруг народа Смары сжимается кольцо, последние кочевники попали в западню, их обложили со всех сторон. На них наступают голод, жажда; они узнали, что такое страх, болезнь, поражение.

Вообще-то, захоти мы, и от вашего шейха и его оборванцев давно уже осталось бы мокрое место. Пальнуть из семидесятипятимиллиметровки да из нескольких пулеметов по его саманному дворцу, и конец. Да в начале, как видно, решили, что не стоит труда. Лучше, мол, подождать, пока он сам свалится, как червивый плод... Но теперь, после убийства Копполани, это уже не война, это полицейская акция против шайки разбойников, и всё.

Старого шейха предали даже те, кого он хотел защитить. Жители Суса, Таруданта и Агадира донесли: «Великий шейх Мауля Ахмед бен Мухаммед аль-Фадаль, тот, кого прозвали Ма аль-Айнин, Влага Очей, идет на север с воинами пустыни, жителями Дра, Сегьет-эль-Хамры и даже с Синими Людьюми из Валаты и Шингетти. Число их так велико, что ряды их покрыли всю долину. Они идут на север, к священному городу Фес, чтобы свергнуть султана и на его место посадить старшего сына Ма аль-Айнина, Маулю Хибу, прозванного Себа, Лев».

Но в штабе не поверили сообщению. Офицеры только смеялись: «Старик из Смары рехнулся. Вообразил, будто с отрядом своих оборванцев может свергнуть султана и прогнать французскую армию!»

Видно, дело обстояло так: зажатый между морем и пустыней, старый лис предпочел покончить с собой; это все, что ему осталось, — погибнуть со всеми его соплеменниками.

И вот сегодня, 21 июня 1910 года, отряд чернокожих стрелков с тремя французскими офицерами и штатским наблюдателем выступил в поход. Он повернул на юг, двинулся на соединение с другим отрядом, вышедшим из Зеггата. Старый шейх и его оборванцы будут взяты в клещи.

Солнечные лучи вместе с пылью слепят солдатам глаза. Вот вдали, на самом высоком холме, нависшем над каменистой долиной, показалась деревушка, вся в охристых тонах, она едва отличима от пустыни. «Касба Зидания», — кратко сообщает проводник. И придерживает коня. Вдалеке мимо холмов скачет маленький отряд конных воинов. Черные стрелки берут ружья наизготовку, офицеры отъезжают в сторону. Раздаются беспорядочные выстрелы, но свиста пуль не слышно. Это больше похоже на стрельбу деревенских охотников, думает штатский наблюдатель. В плен взяли раненого араба из племени бени-амир. Шейх Ма аль-Айнин неподалеку, его воины идут на юг по дороге на Эль-Борудж. Отряд снова пускается в путь, только теперь офицеры держатся рядом с солдатами. Каждый пристально вглядывается в кусты. Солнце стоит еще высоко в небе, когда на дороге к Эль-Боруджу завязывается вторая стычка. Знойное безмолвие снова оглашают выстрелы. Генерал Муанье приказывает обстрелять лощину. Сенегальцы стреляют с колена, а потом бросаются вперед с ружьями наперевес. Люди племени бен-мусса уложили двенадцать чернокожих солдат, а потом скрылись в кустах, оставив на земле десятки убитых. Но сенегальцы продолжают обстреливать лощину. Они выгоняют из убежища Синих Людей, но это вовсе не те непобедимые воины, которых они рассчитывали увидеть. Это растерянные безоружные оборванцы, которые бегут, хромя и падая на каменистую землю. Они больше похожи на нищих, тощие, обожженные солнцем, изнуренные лихорадкой. Эти бедолаги наталкиваются друг на друга с криками отчаяния, а сенегальцы, охваченные мстительной яростью, расстреливают их в упор, штыками

пригвождают к красной земле. Напрасно генерал Муанье приказывает трубить отбой. Мужчины и женщины пытаются спастись бегством от сенегальских солдат, падают на землю. Онемевшие от страха дети прячутся в кустах, с ревом тычутся друг в друга овцы и козы. Земля усеяна телами Синих Людей. Гремят последние выстрелы, и вот уже все стихло, в воздухе снова повисло тяжелое знойное безмолвие.

Застыв на вершине холма, офицеры, верхом на конях, которые нетерпеливо перебирают ногами, оглядывают бесконечные заросли кустарников, в которых исчезли Синие Люди, словно их поглотила земля. Возвращаются стрелки-сенегальцы, они тащат убитых товарищей, даже не бросив взгляда в сторону сотен жалких тел, мужских и женских, валяющихся на земле. А где-то на склоне долины, среди колючего кустарника, возле убитого воина сидит мальчик и не отрываясь смотрит в окровавленное лицо с незрячими глазами.

---

По улице, освещенной рассветным солнцем, мимо стоящих у обочины машин медленно крадется подросток. Его худенькая фигурка скользит между кузовами машин, его отражение мелькает на стеклах, на лакированных крыльях, на фарах, но он не обращает на это внимания. Наклоняясь к стеклу машины, он обшаривает взглядом кабину, сиденья, пространство под ними, заднее стекло, ящичек для перчаток.

Он крадется в тишине, совсем один на широкой пустынной улице, которую освещают лучи утреннего солнца, чистые и незамутненные. Небо уже ярко-синее, прозрачное, без единого облачка. С моря дует летний ветерок, он пробегает по улицам, по прямым проспектам, играет в маленьких садиках, раскачивая пальмы и высокие араукарии.

Радич любит летний ветерок, это вам не тот злобный ветер, который поднимает пыль и пробирает до мозга костей. Это легкий ветерок, несущий нежные ароматы, ветерок, пахнущий морем и травой, от которого клонит в сон. Радич доволен: он проспал эту ночь под открытым небом в заброшенном саду неподалеку от моря, положив голову на корни большой зонтичной сосны.

Проснулся он еще до рассвета и сразу почувствовал, что задул летний ветерок. Радич немного покатался по траве, как собачонка, а потом побежал к берегу моря и бежал, нигде не останавливаясь. С высокой дороги он долго любовался морем, таким прекрасным и спокойным, еще по-ночному серым, но уже отмеченным кое-где синими и розовыми пятнами зари. На мгновение ему даже захотелось спуститься по еще холодному скалистому берегу, сбросить с себя одежду и нырнуть. Это летний ветерок завлек его к морю и поманил в воду. Но Радич вспомнил, что времени у него в обрез, надо торопиться — скоро начнут просыпаться люди. И он снова вернулся в город, осматривать машины.

И вот он стоит перед растянувшимися на целый квартал домами и садами. Он шагает по дорожкам, где припаркованы машины. В садах, насколько хватает глаз, не видно ни души. Шторы на окнах еще опущены, балконы пусты. Летний ветерок овеивает фасады зданий, шторы взлетают и хлопают. Тихонько шелестят ветви мимозы и лавра, и раскачиваются, поскрипывая, высокие пальмы.

Свет медленно разливается по небу, по верхним этажам домов, зажженные фонари бледнеют. Радич любит этот час, когда на улицах тихо, дома еще заперты, людей не видно, и ему кажется, будто он один в целом мире. Он медленно шагает по дорожкам мимо дома и воображает, будто весь

город принадлежит ему, потому что никого вокруг нет. Похоже, когда он спал в заброшенном саду, произошла катастрофа и люди покинули город, бежали в горы, бросив свои дома и машины. Радич медленно идет вдоль неподвижных машин, заглядывая внутрь: пустые сиденья, неподвижные баранки, но у него появляется странное чувство, будто чей-то взгляд следит за ним и во взгляде этом затаилась угроза. Он останавливается и поднимает голову, озирая высокие стены домов. Свет зари уже окрасил розовым верхнюю часть фасадов. Но шторы и окна по-прежнему остаются закрытыми, и на больших балконах не видно ни души. Ветер шуршит тихо-тихо и ласково, этот шорох совсем не предназначен для людских ушей, и Радич снова ощущает пустоту и безмолвие, пришедшие на смену шуму и движению людей.

Быть может, пока он спал, головой на корнях старой сосны, летний ветерок, прилетевший из другого мира, таинственным образом убаюкал всех обитателей города, и они лежат на своих кроватях, в своих квартирах с закрытыми ставнями, погруженные в волшебный сон, который будет длиться вечно. Наконец-то город может отдохнуть, перевести дух; большие улицы опустели, неподвижно застыли машины, магазины закрыты, погасли фонари и светофоры. Теперь в трещинах асфальта без помех прорастет трава, сады станут лесами, а крысы и птицы смогут жить где угодно и ничего не бояться, как и прежде, до появления людей.

Радич останавливается, чтобы прислушаться. В кронах деревьев как раз проснулись птицы: скворцы, воробьи, дрозды. Дрозды кричат особенно громко, тяжело перелетая с одной пальмовой ветки на другую, или скачут вприпрыжку по влажному асфальту больших автомобильных стоянок. Паренек любит дроздов. У них красивое черное оперение и ярко-желтый клюв, и еще они забавно подпрыгивают, чуть склонив голову набок, словно проверяя, нет ли какой опасности. Они похожи на воришек, за это и любит их Радич. Они, подобно ему, немного безрассудные и плутоватые, и умеют пронзительно свистеть, предупреждая об опасности, а еще они умеют смеяться — у них при этом словно что-то перекачивается в горле, и тогда Радич сам начинает хохотать. Радич медленно идет по дорожкам автомобильной стоянки, время от времени свистом отвечая дроздам. Быть может, пока он спал в заброшенном саду, положив голову на корни высокой сосны, жители совершенно бесшумно покинули город, а их место заняли дрозды. Эта мысль очень нравится Радичу, и он свистит громче, заложив пальцы в рот, чтобы сообщить дроздам, что он с ними заодно, что им теперь принадлежит все: дома, улицы, машины и даже магазины со всеми своими товарами. Солнечный свет на стоянке вокруг домов быстро набирает силу. Капли росы сверкают на крышах машин, на листьях кустарника. Радичу приходится делать над собой усилие, чтобы побороть искушение постоять и полюбоваться на эти капельки света. В пустынности громадной стоянки рядом с высокими белыми стенами спущены все шторы и балконы необитаемы, они сверкают особенно ярко, словно только они живые и настоящие на этой земле. Они чуть трепещут под ветерком, который дует с моря, и напоминают мириады внимательных глаз, созерцающих мир.

И снова Радич чувствует смутную угрозу, нависшую над всем, что его окружает, над этой стоянкой у больших домов, ощущает опасность, которая бродит рядом. То ли это взгляд, то ли свет, которых парнишка не видит, не может уловить. Угроза притаилась под колесами стоящих машин, в бликах на стеклах, в бледном свете фонарей, которые продолжают гореть, несмотря на наставшее утро. По коже подростка пробегают мурашки, сердце то замирает, то бьется учащенно, ладони взмокли от пота.



Птицы разлетелись — все, кроме стрижей, которые стремительными стайками с криками проносятся мимо. Дрозды скрылись за бетонными громадами домов, в воздухе стало тихо. Даже ветер понемногу улегся. Над большим городом заря занимается быстро, чудо ее длится всего лишь мгновение. Потом приходит день. Теперь небо уже не серо-розовое, его заливают тусклый свет. На западе, там, где громадные трубы нефтеперегонных заводов уже начали, должно быть, выплевывать ядовитый дым, поднимается туман. Радич видит все это, видит, как разгорается день, и сердце его сжимает тревога. Скоро обитатели домов распахнут ставни и двери, поднимут шторы и выйдут на балконы; они зашагают по улицам, станут заводить моторы легковых машин и грузовиков, покатают по городу, оглядывая всё вокруг злыми глазами. Вот что значит этот взгляд, эта угроза. Радич не любит дневного времени. Ему хорошо только по ночам и на рассвете, когда город безмолвен, необитаем и вокруг ни души, кроме летучих мышей да бездомных кошек.

Он продолжает идти по дорожкам громадной стоянки, еще внимательнее изучая содержимое машин. Иногда замечает что-нибудь стоящее и тогда на ходу быстро дергает ручку дверцы — вдруг она окажется незапертой. Он заметил три машины, не запертые на ключ, но пока не стал ими заниматься: не был уверен, стоит ли тратить на них время. Он решил, что еще вернется сюда, когда обойдет всю стоянку, потому что с открытой машиной дел на пять минут.

Небо над деревьями все шире заливает свет, хотя солнца еще не видно. Только чудесное теплое сияние рассеивается по небу, растекается по нему. Радич не любит дневных часов, но солнце он любит и радуется, что сейчас его увидит. И вот оно наконец восходит — раскаленный диск, молнией сверкнувший в глаза, так что Радич на мгновение замер, ослепленный.

Он ждет, прислушиваясь, как в жилах пульсирует кровь. Угроза обступает его со всех сторон, а он не может понять, откуда она исходит. День набирает силу, а с ним тяжелее наваливается страх, надвигающийся с высоты белых стен, где синюют сотни штор, с высоты ошестинившихся антеннами крыш, с высоты бетонных пилонов и раскидистых гладкоствольных пальм. Но самое страшное — это безмолвие, безмолвие дня, и еще электрический свет фонарей, которые горят с пронзительным жужжанием. Кажется, привычный гул людских толп и машин больше никогда не вернется, словно сон все окутал своим коконом: моторы заглохли, звуки застряли в глотках, веки смежились.

«Ладно, пора за дело», — Радич произнес это вслух, чтобы подбодрить самого себя. Его рука вновь ошупывает ручки дверец, глаза обшаривают кабины машин. Солнечный свет играет в каплях росы, осевших на кузовах и ветровых стеклах.

«Ничего... ничегошеньки».

Спешка отчасти вытесняет страх. Дневной свет налился мощью, побелел; солнце скоро поднимется над крышами высоких домов. Оно уже наверняка сверкает над морем, и на гребнях волн вспыхивают слепящие отблески. Радич идет вперед, не глядя по сторонам.

«Ага, вот спасибочки!»

Дверца одной из машин оказалась открытой. Подросток бесшумно забирается в кабину, шарит повсюду: под сиденьями, во всех укромных уголках, в кармашках на двери, открывает ящик для перчаток. Руки его действуют быстро и ловко, как руки слепого.

«Ничего!»

Ничего — в машине пусто, холодно и сыро, как в погребе.

«Сволочи!»

Тревога сменяется гневом, паренек продолжает идти по дорожке вдоль дома, внимательно разглядывая каждую машину. Внезапный шум заставляет его вздрогнуть, рев мотора, скрежет железа. Спрятавшись позади зеленого фургона, Радич провожает взглядом грузовик мусорщиков, опорожняющих контейнеры с отбросами. Грузовик покругил вокруг домов, не заезжая на стоянку. А потом уехал, скрывшись за шпалерами лавров и стволами пальм, и Радич подумал, что тот похож на странное железное насекомое, вроде навозного жука: спина круглая, и движется враскачку.

Когда все снова стихает, Радич замечает в кузове фургона очертания предметов, которые его заинтересовали. Он подходит к заднему стеклу и видит одежду, целую гору сложенной в глубине одежды в оранжевых полиэтиленовых чехлах. Одежда свалена и в передней части фургона, там стоят картонки с обувью, а на полу, у самого сиденья — кто в этом не смыслит, даже и не заметит — угол транзисторного приемника. Дверцы фургона заперты, но переднее стекло чуть опущено. Радич что есть силы тянет стекло вниз, даже повисает на нем, чтобы расширить отверстие. Миллиметр за миллиметром стекло стало поддаваться, и вскоре Радич уже может просунуть в окно длинную худую руку, кончиками пальцев дотянуться до запорной кнопки и нажать на нее. Дверца открывается, и он проскальзывает внутрь.

Фургон очень большой, с глубокими сиденьями, обтянутыми темно-зеленой искусственной кожей. Радичу нравится внутри машины. Он немного посидел на холодном сиденье, положив руки на руль, и через большое ветровое стекло оглядел стоянку и деревья. Верхняя часть стекла выкрашена в изумрудно-зеленый цвет, и оттого, если покачать головой, по белому небу пробегают странные блики. Справа от руля вмонтирован радиоприемник. Радич крутит рычажки, но приемник не включается. Паренек нажимает кнопку ящичка для перчаток, крышка откидывается. В ящичке лежат бумаги, шариковая ручка и черные очки.

Через спинку переднего сиденья Радич перебирается в кузов. Он быстро оглядывает ворох сложенной одежды. Одежда совершенно новая: мужские костюмы и рубашки, женские костюмы и брюки, свитера — все в пакетах из полиэтилена. Радич горкой складывает рядом с собой одежду, потом коробки с обувью, галстуки, платки. Он запихивает пакеты в брюки, завязав штанины у щиколоток, чтобы превратить их в мешок. Потом вдруг вспоминает о транзисторе. Он ползет на переднее сиденье, свешивает голову вниз, руки его нащупывают приемник и приподнимают его. Он поворачивает рычажок. На сей раз грянула музыка, потекли, заструились звуки гитары, похожие на пенье птиц на заре.

Вот тогда он и услышал шум полицейской машины. Он не видел, как она появилась, быть может, даже по-настоящему и не услышал ни тихого шуршанья шин по асфальту круговой дорожки, ни шороха шторы, приподнятой на одном из окон громадного, безмолвного, белого от солнечного света фасада; быть может, что-то другое насторожило его в тот момент, когда, свесив голову вниз, он слушал пенье птиц из транзистора. Что-то сжалось, съезжилось где-то внутри, в самой глубине глаз, а может, в животе, и салон фургона затопила леденящая пустота. Радич поднялся и увидел их.

По дорожке стоянки мчится черная полицейская машина. Шины, как вода, журчат по асфальту и гравию. Радич отчетливо видит лица полицейских, их черные мундиры. И в то же мгновение чувствует на себе жесткий, убийственный взгляд, который наблюдает за ним с высоты балкона, там, где быстро взвилась вверх штора.

Что делать — оставаться в машине, притаившись, как зверь в норе? Но именно к этой машине и едут полицейские, он знает это, не сомневается в этом. Одним прыжком он выбрасывает свое тело из дверцы и мчится по тротуару к ограде, окружающей стоянку.

Черная машина мгновенно прибавляет скорость — полицейские его заметили. Раздаются голоса, короткие выкрики, они разносятся по стоянке, отражаются от высоких белых стен домов. Радич слышит пронзительные свистки и втягивает голову в плечи, словно это свистят пули. Сердце его бьется так гулко, что он больше почти ничего не слышит, словно вся площадь стоянки, дома, деревья и асфальтированные дорожки начали биться в такт его сердцу, вздрагивать и болеть, как оно.

Ноги Радича несут его всё вперед и вперед по асфальту, по рыхлой земле газонов. Они перемахивают через клумбы и низенькие ограды лужаек. Они мчатся во всю прыть, потерянные, обезумевшие от страха, не зная, куда бегут, где остановятся. Вот на их пути выросла высокая стена ограды, но ноги не крылья. И они мчатся вдоль стены, лавируя между стоящими машинами. Пареньку нет нужды оглядываться, чтобы знать: полицейская машина не отстает, она близко, она разворачивается на полном ходу, скрипя шинами и урча мотором. Вот она уже позади него на длинной прямой дорожке, в конце которой выход на улицу; крошечная фигурка Радича мчится во весь дух, как выгнанный из засады заяц. Черная полицейская машина растет, приближается, ее колеса пожирают асфальтовую дорожку. Радич на бегу слышит, как на окнах дома одна за другой поднимаются шторы; теперь, верно, все жильцы высыпали на балконы, чтобы посмотреть, как он бежит, приходит ему в голову. И вдруг перед ним проем; наверное, это ворота, и он пулей вылетает в них. Теперь он по ту сторону стены, один на большом проспекте, ведущем к морю; он на три-четыре минуты опередил черную полицейскую машину, ей еще надо добраться до ворот, а потом развернуться на улице. Парнишка знает все это, не думая, словно за него думают ноги и ошалелое сердце. Но куда бежать? В конце проспекта, метрах в ста от него, море, скалы. Туда инстинктивно и мчится паренек, мчится с такой быстротой, что глаза его слезятся от жаркой струи бьющего в лицо воздуха. Уши его слышат только свист ветра, он уже не замечает ничего, кроме черной ленты дороги, на которой ослепительно сверкает солнце, а за ней, над парашетом, слившиеся в одно небо и море молочного цвета. Он мчится так быстро, что уже не слышит ни шуршания шин черной полицейской машины, ни пронзительных нот надрывающихся клаксонов, заполнивших все пространство между домами.

Еще прыжок, еще! Ноги, не подкачайте! Еще удар, еще. Сердце, не подкачай! Ведь море совсем близко, слившиеся море и небо, и там нет ни домов, ни людей, ни машин. И как раз в ту минуту, когда подросток вылетел на горную дорогу, прямо туда, где сливаются небо и море, вылетел, как косуля, которую вот-вот настигнет свора гончих, — в эту самую минуту на дороге появился большой синий автобус с еще непогашенными фарами, и восходящее солнце молнией вспыхнуло на выпуклом ветровом стекле, когда тело Радича разбилось о капот и фары под страшный скрежет железа и вопль тормозов. Невдалеке у ограды сквера, засаженного пальмами, стоит молодая, очень смуглая женщина, неподвижная, как тень, она смотрит не отрывая глаз. Она не шелохнулась, она стоит и смотрит, а тем временем со всех сторон сбегаются люди, они толпятся на дороге вокруг автобуса, черной машины и покрывала, которое набросили на мертвое тело воришки.

---

Тизнит, 23 октября 1910 года

Там, где город переходит в красную землю пустыни, где среди кустов акаций, частью уже выжженных, торчат обломки каменных стен и развалины глинобитных домов, где на свободе разгуливает пыльный ветер, вдали от колодцев, вдали от тенистых пальм умирает старый шейх.

К концу своего долгого напрасного пути он пришел сюда, в город Тизнит. На севере, в краю побежденного султана, чужеземные солдаты занимают один город за другим, истребляя все, что им сопротивляется. На юге христианские солдаты вошли в священную долину Сегиет-эль-Хамра, они заняли даже Смару и опустевший дворец Ма аль-Айнина. И над каменными стенами сквозь узкие бойницы задул ветер злосчастья, все истребляющий, опустошительный ветер.

Теперь он дует и здесь, этот тлетворный ветер, теплый, летящий с севера ветер, который приносит с собой морской туман. Вокруг Тизнита, разбредясь кто куда, точно заблудившееся стадо, в тени своих шалашей ждут Синие Люди.

Во всем стане не слышно ни звука, только поскрипывают под ветром ветки акаций да время от времени призывно кричит стреноженная скотина. Великое безмолвие, зловещее безмолвие воцарилось среди людей после нападения сенегальских солдат в долине уэда Тадла. Смолкли голоса воинов, стихли песни. Никто больше не говорит о будущем, быть может, потому, что будущего нет.

Над иссохшей землей кружит ветер смерти, тлетворный ветер, прилетевший с земель, захваченных чужеземцами, из Могадора, Рабата, Феса, Танжера. Теплый ветер, который приносит с собой рокот моря, а из дальней дали — гул больших белых городов, где царят банкиры и купцы.

В глинобитной хижине с наполовину провалившейся крышей, прямо на земляном полу, на своем бурнусе лежит старый шейх. В хижине душно и жарко, жужжат мушки и осы. Понимает ли Ма аль-Айнин, что все кончено, все погибло? Вчера и позавчера к нему явились с вестями гонцы с юга, но он не захотел их выслушать. Гонцы оставили при себе вести, принесенные с юга, не сказали о том, что Смара сдана, что младшие сыновья Ма аль-Айнина, Хассена и Лархдаф, бежали к нагорью Тагант, а Мауля Хиба — в Атласские горы. Но теперь они несут с собой весть тем, кто их ждет на юге: «Великий шейх Ма аль-Айнин умирает. Глаза его уже не видят, губы не могут выговорить ни слова». Они расскажут о том, что старый шейх умирает в самой бедной хижине Тизнита, как нищий, вдали от своих сыновей, от своего народа.

Вокруг развалившегося домишки сидят несколько человек. Это последние Синие Воины из *берик Аллах*. Они бежали по долине реки Тадла, не оглядываясь, не пытаясь понять. Остальные вернулись на юг, к своим старым кочевьям, потому что поняли: надеяться не на что, никогда им не получить обещанной земли. Но *берик Аллах* мечтали не о землях. Они любили старого шейха, почитали его как святого. Он даровал им свое божественное благословение, и это связало их с ним, словно священная клятва.

Нур теперь среди них. Сидя в пыли под навесом из веток, он неотрывно глядит на дом с полуобвалившейся крышей, где укрылся Ма аль-Айнин. Нур еще не знает, что Ма аль-Айнин умирает. Но вот уже несколько дней шейх не выходил из хижины в своем грязном белом бурнусе, опираясь на плечо прислужника, в сопровождении старшей из жен, Лаллы Меймуны, матери Маули Себы, Льва. Сразу по прибытии в Тизнит Ма аль-Айнин послал гонцов к сыновьям, чтобы призвать их к себе. Но гонцы не возвратились. Каждый вечер, перед тем как стать на молитву, Ма аль-Айнин выходил из хижины и смотрел на север, на дорогу, по которой должен был прискакать Мауля Хиба. Теперь уже поздно, сыновья его не придут.

Вот уже два дня, как Ма аль-Айнин ослеп, словно смерть сначала решила отнять у него зрение. Когда он выходил из дома и поворачивался к северу, он высматривал сына уже не глазами — он всем своим лицом, руками, телом

призывал к себе Маулю Хибу. Нур смотрел на него, на окруженную прислужниками легкую, почти призрачную фигуру, за которой следовала черная тень Лаллы Меймуны. Нур чувствовал, как холод смерти затягивает все вокруг, словно туча, закрывшая солнце.

Нур думал о слепом воине, спящем в овраге у реки Тадла. Думал о погасшем лице друга, которое, быть может, уже обглодали шакалы, думал обо всех тех, кто умер по дороге и чьи тела брошены на волю солнца и ночного холода.

Нур догнал остатки каравана, уцелевшие после побоища, и они брели много дней подряд, изнывая от голода и усталости. Точно изгнанники, пробирались они по самым трудным дорогам, избегая городов, едва осмеливаясь приблизиться к колодцам, чтобы напиться воды. И вдруг захворал великий шейх, и пришлось остановиться здесь, у ворот Тизнита, на этой пыльной земле, где гулял тлетворный ветер.

Большая часть Синих Людей продолжала свой бесконечный путь без цели к нагорьям Дра, чтобы возвратиться к покинутым кочевьям. Отец и мать Нура тоже отправились в пустыню. Но Нур не смог уйти с ними. Как знать, быть может, он еще надеялся на чудо, на землю, обещанную шейхом, где будут царить мир и изобилие и куда никогда не проникнут иноземные солдаты? Один за другим ушли Синие Люди, унося свой убогий скарб. Но сколько мертвых оставили они на своем пути! Никогда не обрести им бывшего мира, никогда не даст им покоя ветер злосчастья.

Иногда вдруг проносился слух: «Едет Мауля Хиба! Мауля Себа, Лев, наш повелитель!» Но это был мираж, развеивавшийся в знойном безмолвии.

Теперь уже поздно, потому что шейх Ма аль-Айнин умирает. И вдруг ветер стих, и воздух налился такой тяжестью, что люди поднялись с земли. Стоя они смотрят на запад, где солнце клонится к низкому горизонту. Пыльная земля, усеянная острыми клинками камней, подергивается блестящей, как расплавленный металл, пленкой. Небо окутывает темная дымка, сквозь которую проглядывает красный, чудовищно расплывшийся диск солнца.

Никто не понимает, почему вдруг улегся ветер, почему горизонт окрасился этим странным, огненным цветом.

Но Нур снова чувствует, как в него проникает холод, словно в лихорадке, бьет озноб. Нур обернулся к старой, разрушенной хижине, где находится Ма аль-Айнин, и, неотрывно глядя на черную дверь, медленно двинулся к ней, словно его тянуло туда против воли.

Смуглые воины Ма аль-Айнина из племени *берик Аллах* смотрят на мальчика, идущего к дому, но ни один из них не преграждает ему пути. В их невидящих взглядах одна лишь усталость, словно они погружены в сон. Быть может, они тоже ослепли за время долгого бесплодного пути и глаза их выжжены солнцем и песком пустыни?

Медленно идет Нур по каменистой земле к глинобитной хижине. Лучи заходящего солнца высвечивают старые стены, подчеркивают темный провал двери.

В эту дверь и входит теперь Нур, как когда-то входил вдвоем с отцом в гробницу святого. Мгновение он стоит неподвижно, ослепленный мраком, чувствуя влажную сырость убогого жилища. А когда глаза его привыкают к темноте, он видит большую пустую комнату с земляным полом. В глубине ее на разостланном бурнусе лежит шейх, под голову ему подложен камень. Рядом в своем черном бурнусе, закрыв лицо покрывалом, сидит Лалла Меймуна.

Нур стоит не шевелясь, стараясь не дышать. Проходит много времени, прежде чем Лалла Меймуна оборачивается к мальчику — она почувствовала его взгляд. Сползшее черное покрывало открыло прекрасное смуглое лицо. Глаза ее блестят в полумраке, по щекам струятся слезы. Сердце Нура учащенно бьется, его пронзает жгучая боль. Он готов уже отступить к двери, уйти, но женщина говорит ему: «Войди». Он медленно идет к середине комнаты, чуть согнувшись из-за пронзившей его боли. Вот он приблизился к шейху, но тут ноги его подкосились и он тяжело рухнул наземь, выбросив вперед руки. Пальцы коснулись бурнуса,

белого бурнуса Ма аль-Айнина, и Нур так и остался лежать, прильнув лицом к сырой земле. Он не плачет, не говорит ни слова, ни о чем не думает, но руки его вцепились в белый бурнус и сжимают ткань так, что пальцам становится больно. Рядом с ним у изголовья того, кого она любит, в своем черном одеянии неподвижно застыла Лалла Меймуна, она ничего больше не видит, ничего не слышит.

Ма аль-Айнин дышит медленно, с трудом. С мучительной натугой приподнимается его грудь, вся хижина оглашена хриплым дыханием. В сумерках изможденное лицо шейха кажется особенно бледным, почти прозрачным.

Нур напряженно вглядывается в лицо старца, словно его взгляд может отдалить приближение смерти. С полуоткрытых губ Ма аль-Айнина слетают обрывки слов, которые душит хрип. Быть может, он еще силится произнести имена своих сыновей: Мухаммеда Реббо, Мухаммеда Лархдафа, Хассена, Саадбу, Ахмеда аш-Шамса, прозванного Солнцем, и главное, того, кого он каждый вечер ждал у дороги, идущей с севера, кого он ждет и сейчас, Ахмеда Дехибы, прозванного Маулей Себой, Львом.

Полой своего черного бурнуса Лалла Меймуна отирает пот с лица Ма аль-Айнина, но он даже не чувствует прикосновения ткани ко лбу и щекам.

Временами плечи его напрягаются, корпус напряжинивается — он пытается сесть. Губы его дрожат, глаза вылезают из орбит. Нур подходит ближе, помогает Меймуне приподнять Ма аль-Айнина, и они вдвоем поддерживают его. Несколько секунд с силой, которую трудно предположить в таком хрупком теле, старый шейх заставляет себя удерживаться в сидячем положении, вытянув вперед руки, словно собирается встать. Его худое лицо выражает страшную тоску. Пустой взгляд его выцветших глаз сковывает Нура ужасом. Нур вспоминает слепого воина и то, как Ма аль-Айнин прикоснулся к глазам раненого и подул ему в лицо. А теперь сам Ма аль-Айнин познал одиночество, из которого нет выхода, и никому не дано успокоить тревогу его незрячего взора.

Нура охватывает такая мука, что он порывается уйти, покинуть эту обитель мрака и смерти, убежать на пыльную равнину, позолоченную закатным солнцем.

И вдруг он чувствует незнакомую силу в своих руках, в своем дыхании. Медленно, точно вспоминая древний ритуал, Нур молча кладет ладонь на лоб Ма аль-Айнина. Смочив слюной кончики пальцев, он проводит ими по беспокойно трепещущим векам. Осторожно дует в лицо, в рот, в глаза старцу. Обвивает руками его торс, и хрупкое тело медленно обмякает, опускается на землю.

Лицо Ма аль-Айнина кажется теперь спокойным, словно страдания оставили его. Закрыв глаза, старец тихо, бесшумно дышит, словно вот-вот уснет. И на самого Нура тоже нисходит покой; боль, терзавшая его внутренности, отпустила. Не сводя глаз с шейха, он чуть отстраняется от него. Потом выходит из дома, а Лалла Меймуна черной тенью вытягивается на земле, чтобы уснуть.

За порогом дома медленно спускается ночь. Слышны крики птиц, летящих над высохшим руслом реки к пальмовой роще. Снова налетает порывами теплый ветер с моря, шурша листьями на обвалившейся крыше. Засветив масляную лампу, Меймуна дает шейху попить воды. Нур у дверей дома не может уснуть: его горло сжато, оно горит огнем. Несколько раз ночью по знаку Меймуны подходит он к старцу, проводит рукой по его лбу, дует ему в рот и на веки. Но усталость и отчаяние лишили Нура силы, и ему уже не удастся унять тревогу, от которой дрожат губы Ма аль-Айнина. Быть может, боль, снедающая самого Нура, отнимает силу у его дыхания.

Перед самой зарей, когда воздух был недвижим и тих и умолкло все, даже насекомые, Ма аль-Айнин умер. Меймуна, державшая его руку, почувствовала это, простерлась на земле рядом с тем, кого любила, и заплакала, уже не сдерживая рыданий. Нур, стоявший у двери, бросил последний взгляд на великого шейха, покоившегося на белом бурнусе, на его хрупкую фигуру, такую легкую, что казалось, он парит над землей. И Нур, пятась, вышел. Он теперь один в ночи, на пепельного цвета равнине, залитой сиянием полной луны. От горя и усталости он не в силах уйти далеко. Он падает на землю возле колючих кустарников и

мгновенно засыпает, не слыша плача Лаллы Меймуны, похожего на песнопение.

---

Так она и исчезла в один прекрасный день — ушла без всякого предупреждения. Встала спозаранку, на рассвете, как, бывало, у себя в родном краю, когда спешила к морю или к границе пустыни. Прислушалась, как дышит на широкой постели сморенный летней жарой фотограф. За окном уже пронзительно кричали стрижи, да откуда-то доносился слабый плеск воды — должно быть, работала поливальная машина. Лалла помешкала: ей хотелось оставить фотографу какой-нибудь знак, прощальный привет. Но ничего подходящего не нашлось, тогда она взяла кусок мыла и нарисовала им ставший благодаря ей знаменитым знак своего племени, которым обычно подписывала фотографии на улицах Парижа. Это был самый древний из всех известных ей знаков, и к тому же он походил на сердце.

А потом она вышла из дому и зашагала по улицам города, с тем чтобы больше уже не вернуться.

Много дней и ночей ехала она в поездах, из города в город, из страны в страну. Ждать поезда на вокзалах приходилось так долго, что ноги становились как деревянные, а спину и поясницу начинало ломить.

Мимо взад и вперед ходили люди, разговаривали, смотрели по сторонам. Но они не обращали внимания на молодую женщину с усталым лицом, которая, несмотря на жару, куталась в несуразное старое коричневое пальто, доходившее ей до щиколоток. Быть может, они думали, что она бедна или больна. Иногда в вагонах попутчики заговаривали с ней, но она не понимала их языка и только улыбалась в ответ.

И вот наконец корабль медленно плывет по маслянистому морю. Отчалив от Альхесираса, он направляется в Танжер. На палубе сверкают солнце и соль, а пассажиры — мужчины, женщины и дети, — сгрудившись в тени, сидят возле своих картонок и чемоданов. Некоторые, чтобы разогнать тоску, временами затягивают грустную, тягучую песню, потом голоса вновь умолкают и слышится только тарахтенье мотора.

Облокотившись о поручни, Лалла смотрит на темно-синюю гладь моря, которую морщит неторопливая зыбь. В белом кильватере корабля резвятся, то догоняя друг друга, то разбегаясь в стороны, дельфины. Лалла вспоминает белую птицу, заколдованного морского принца, которая парила в их краю над берегом во времена старого Намана. Сердце ее начинает биться сильнее; охваченная каким-то пьянящим чувством, она вглядывается в даль, словно и впрямь может увидеть распростертые над морем крылья. Кожу ее, как прежде, обжигают солнечные лучи, глаза упиваются прекрасным и беспощадным светом, струящимся с неба.

И вдруг голоса, напевающие тягучую песню, всколыхнули ей душу, по ее щекам заструились слезы. Она сама не знает почему. Она слышала эту песню так давно, словно в полузабытом сне. Ее поют сейчас люди с черной кожей, в рубахах с леопардовым рисунком, в холщовых, слишком коротких штанах и японских сандалиях на босу ногу. Раскачиваясь и полузакрыв глаза, подхватывают они тягучую, печальную песню, которую не понимает никто, кроме них самих.

Но Лалла, слушая их песню, чувствует вдруг в самых тайниках души

страстное желание вновь увидеть белую землю, высокие пальмы в красных долинах, бескрайние каменные и песчаные просторы, бесконечные пустыни берега и даже поселки с их глинобитными и дощатыми лачугами, крытыми железом и картоном. Она закрывает глаза и видит перед собой все это, словно никуда и не уезжала, а просто заснула на часок-другой.

А в недрах ее тела, в ее разбухшем чреве что-то шевелится, толкается, причиняя боль, растягивая изнутри кожу. Лалла думает о ребенке, который должен родиться, который уже живет, уже грезит. Она вздрагивает, прижимает ладони к раздавшемуся животу и, привалившись спиной к железным поручням, отдается тяжелому и мерному покачиванию корабля. Она даже тихонько напевает сквозь зубы, немножко для самой себя, немножко для ребенка, который перестал толкаться в ее животе, заслушавшись старинной песни, той, которую пела Амма и которая пришла от матери Лаллы.

«Настанет день, когда ворон станет белым, и море пересохнет, и в цветке кактуса найдут мед, и застелют ложе ветками акаций, настанет день, о да, настанет день, когда в жале змеи не окажется яда, и ружейные пули больше не будут сеять смерть, потому что в этот день я покину тебя, моя любовь...»

Тарахтенье мотора заглушает звук ее голоса, но в ее чреве слушает слова песни и засыпает под них неведомое дитя. И тогда, чтобы перекричать машину и подбодрить самое себя, Лалла громко выпевает слова любимой песенки: «Сре-ди-зем-но-мо-о-рье...»

Корабль медленно плывет по маслянистому морю под низким небом. Вот на горизонте появляется противное серое пятно, словно к морю прилепилась туча, — Танжер. Лица всех пассажиров обращаются к серому пятну, разговоры смолкают, даже негры перестают петь. К форштевню корабля медленно подплывает Африка, вся размытая, пустынная. Вода в море становится серой и уже не такой глубокой. В небе мелькают первые чайки, тоже серые, тощие и пугливые.

Неужели все так изменилось? Лалла вспоминает свое первое путешествие, когда она ехала в Марсель и ей все еще было внове — улицы, дома, люди. Вспоминает квартиру Аммы, гостиницу «Сент-Бланш», пустыри у резервуаров, вспоминает все, что осталось позади, там, в огромном мертвящем городе. Вспоминает Радича-побирушку, фотографа, журналистов — всех тех, кто нынче стал только тенью.

Теперь у нее нет ничего, кроме одежды, кроме коричневого пальто, которое Амма подарила ей в день ее приезда. Да еще денег, пачки новеньких, сколотых булавкой банковских билетов, которые она перед уходом взяла у фотографа из кармана его куртки. И ей кажется, что с ней вовсе ничего не происходило, никогда не покидала она Городка с его лачугами из досок и картона, не покидала каменистых равнин и холмов, где жил Хартани. Просто заснула на часок-другой.

Она смотрит на пустынный горизонт, на корму корабля, потом на берег, на гору, где лепятся, словно кровоподтеки на сером теле земли, домики арабского города. Она вздрагивает: в чреве ее вновь беспокойно зашевелился ребенок.

В автобусе, который катит по пыльной дороге, то и дело останавливаясь, чтобы подобрать крестьян, женщин и детей, Лаллу снова охватывает странное пьянящее чувство. Ее обволакивает солнечный свет и тонкая пыль, туманом встающая с обеих сторон автобуса; душная взвесь проникает в салон, оседает в горле и скрипит под пальцами; солнечный свет, сушь и пыль — Лалла ощущает их присутствие, и у нее точно нарождается новая кожа, вырабатывается новое дыхание.



Возможно ли, что на свете существует что-то другое? Другой мир, другие лица, другое солнце? Обман воспоминаний не может устоять перед пыхтением одышливого автобуса, жарой, пылью. Солнечный свет все стер, соскоблил дочиста, как и прежде, на каменном плато. Лалла снова ощущает на себе, вокруг себя бремя таинственного взгляда — не людского взгляда, в котором сквозит желание или зависть, а таинственного взгляда того, кто знает Лаллу и владычествует над ней, подобно божеству.

Автобус катит по пыльной дороге, взбирается вверх по холмам. Вокруг одна только сухая, выжженная земля, похожая на сброшенную змеиную кожу. Над крышей автобуса полыхают огнем небо и солнце, в салоне становится жарко, как в раскаленной печи. По лбу Лаллы, по шее, по спине стекают капли пота. Пассажиры сидят неподвижно, с безучастным видом. Мужчины кутаются в шерстяные бурнусы, женщины под иссиня-черными покрывалами примостились на полу между сиденьями. Только шофер двигается, гримасничает, поглядывает в зеркало заднего вида; несколько раз он встречается глазами с Лаллой, и она отворачивается. Толстяк с плоским лицом устанавливает зеркало так, чтобы лучше ее рассмотреть, потом раздраженно водворяет его на прежнее место.

Радио, включенное на полную мощность, свистит и кашляет, а когда автобус проезжает мимо мачты высоковольтной передачи, выпускает длинную гнусавую руладу.

Весь день катит автобус по гудронированному шоссе и пыльным дорогам, минует пересохшие русла рек, останавливается у глинобитных деревушек, где его поджидают ребятишки. Тощие собаки бегут за ним следом, пытаясь вцепиться зубами в колеса. Иногда автобус вдруг тормозит среди пустынной равнины — забарахлил мотор. Пока плосконосый шофер, подняв капот, ковыряется в моторе, прочищает форсунку, пассажиры выходят из автобуса и садятся в его тени или идут помочиться в кусты молочая. Некоторые вынимают из кармана маленькие лимоны и долго сосут их, причмокивая.

Потом автобус снова пускается в путь по тряским дорогам, карабкается все вверх и вверх по холмам навстречу заходящему солнцу. На пустынные равнины быстро спускается тьма, она окутывает камни, а пыль обращает в пепел. Но вот внезапно автобус остановился среди полной темноты, и вдали, на том берегу реки, Лалла видит огни. Ночь стоит душная, наполненная звоном цикад, кваканьем жаб. Но после долгих часов в автобусе кажется, что вокруг царит тишина.

Лалла сходит с автобуса и медленно бредет вдоль реки. Она узнает здание общественной бани, а вот и брод. Река совершенно черная, прилив немного оттеснил ее поток. Лалла перебирается через реку вброд — вода доходит ей до середины бедра, но речная прохлада бодрит. В полумраке она различает фигуру женщины, которая тоже переходит реку, неся на голове сверток и задрав подол длинного платья до самого живота.

Там дальше, на другом берегу, начинается тропинка, которая ведет к Городку. Вот уже появились глинобитные и дощатые лачуги, одна, еще одна. Но Лалла не узнаёт их. Повсюду выросли новые домишки, даже у самого берега, заливаемого в половодье. Электрический свет тускло освещает утопанную землю улочек, лачуги из досок и железа кажутся совсем заброшенными. Проходя мимо них, Лалла слышит чей-то шепот, плач детей. А издали, из-за города, доносится какое-то неправдоподобное тьяканье дикой собаки. Ноги Лаллы ступают по старым следам, она сбрасывает теннисные туфли, чтобы явственней ощутить прохладу и шершавость земли.

Все тот же взгляд направляет ее шаги по улицам Городка, долгий-долгий и очень ласковый взгляд, идущий сразу со всех сторон и из самой глубины неба, взгляд, струящийся вместе с ветром. Лалла шагает мимо знакомых домов, вдыхая запах догорающих углей, узнавая голос ветра, шелестящего листьями железа и картона. Все это вернулось к ней сразу, словно она никуда не уезжала, словно просто заснула на часок-другой.

И вот, вместо того чтобы идти к дому Икикр у колонки, Лалла сворачивает к дюнам. Тело ее отяжелело от усталости, поясницу ломит, но неведомый взгляд направляет ее шаги — она знает, что должна выйти из Городка. Ступая босиком так быстро, как только может, она проходит между колючими кустарниками и карликовыми пальмами к самым дюнам.

Тут все осталось как было. Она идет, как когда-то, вдоль серых дюн. Иногда останавливается, оглядывается вокруг и, сорвав сочный стебелек, растирает его между пальцами, чтобы вдохнуть пряный аромат, который так любила. Она узнаёт все ложбинки, все дорожки: и те, что тянутся к каменистым холмам, и те, что ведут к солончакам, и те, что никуда не ведут. Тьма густая и теплая, над головой блестят звезды. Сколько времени пролетело для них? Они не сдвинулись с места, сияние их не померкло, словно пламя волшебной лампы. Быть может, переместились дюны, но разве узнаешь? Старый остов, выпустивший когти и выставивший рога, которого она когда-то так боялась, исчез. Не видно больше старых консервных банок, да сожжено несколько кустов — их ветви обломали на растопку для жаровен.

Лалла никак не может найти свое любимое место на гребне дюны. Тропинку, которая ведет к берегу, занесло песком. Лалла с трудом карабкается по холодному песчаному склону на самый гребень. Дыхание со свистом вырывается из ее груди, а поясницу ломит так, что она невольно стонет. Стиснув зубы, она старается, чтобы стоны ее перешли в песню. Она вспоминает песенку, которую пела когда-то, чтобы прогнать страх: «Сре-ди-зем-но-мо-о-рье!»

Она пытается петь, но ей не хватает голоса.

Теперь она идет по плотному прибрежному песку, у самой кромки морской пены. Дует слабый ветерок, в темноте ласково рокочут волны, и Лаллу вновь охватывает пьянящее чувство, подобное тому, что она испытала на пароходе и в автобусе: словно все вокруг ждало ее, надеялось на ее возвращение. Быть может, здесь, на берегу, растворенный в свете звезд, в рокоте моря, в белизне пены, витает взгляд Ас-Сира, того, кого она зовет Тайна. В эту ночь нет места страху, это бескрайняя ночь, подобной которой Лалле еще ни разу не довелось пережить.

Теперь она пришла к тому месту, куда Наман-рыбак обыкновенно вытаскивал свою лодку, чтобы разогреть вар или починить сети. Но здесь все пусто, далекий ночной берег безлюден. Только старое фиговое дерево высится у дюны, привычно откинув назад, по движению ветра, свои широкие ветви. Лалла с наслаждением вдыхает его знакомый запах, такой крепкий и пресный, следит за трепетанием листы. Она садится у подножия дюны, неподалеку от дерева, и долго смотрит на него, словно ждет, что с минуты на минуту появится старый рыбак.

Усталость наливает тяжестью тело Лаллы, ноги и руки сковывает боль. Она откидывается навзничь на холодный песок и сразу засыпает, убаюканная говором моря и запахом фигового дерева.

На востоке над каменными холмами поднимается луна. Ее бледный свет озаряет море и дюны, оmyвает лицо Лаллы. Позднее, глубокой ночью, поднимается ветер, теплый ветер с моря. Он пробегает по лицу Лаллы, по ее

волосам, припорошивает ее тело песком. Теперь небо становится бескрайним, а земля исчезает. В подзвездном мире за эти месяцы многое стало другим, изменилось. В долинах, вблизи бухт и устьев рек, точно плесень, разрослись поселки. Многие люди умерли, разрушились дома, погребенные в туче пыли и тараканов. Но здесь, на берегу, возле фигового дерева, куда приходил старый Наман, все осталось как было. словно молодая женщина все эти месяцы просто спала.

Луна медленно поднимается к зениту. Потом начинает клониться на запад, в сторону открытого моря. Небо чистое, безоблачное. В пустыне, за каменистыми равнинами и холмами, из песка сочится холод, растекающийся как вода. И чудится, будто вся земля и даже небо, луна и звезды перестали дышать, остановили свой бег во времени.

Они застыли в неподвижности, пока нарождается первая заря — *фаджр*.

В пустыне лисица и шакал перестали преследовать тушканчика или зайца. Рогатые змеи, скорпионы, сколопендры замерли на стылой земле под черным небом. Это *фаджр* сковал их оцепенением, превратил в камни, в каменистую пыль, в пар, потому что в этот час на земле владевает небо, оно леденит тела, а порой пресекает жизнь и дыхание. В ложбине дюны неподвижно лежит Лалла. По ее коже пробегает дрожь, длинные волны дрожи; они сотрясают все ее тело; у нее стучат зубы, но она продолжает спать.

И тогда приходит вторая заря — белая. В непроглядную черноту воздуха просачивается свет. Вот он уже искрится в морской пене, на соляных гребнях гор, на острых камнях у подножия фигового дерева. Бледный, серый свет окрашивает вершины холмов, мало-помалу скрадывает звезды: Козу, Пса, Змею, Скорпиона и трех сестер — Минтаку, Альнилам, Альнитак. Потом небо словно бы опрокинулось. Гася последние светила, его затянуло большое беловатое бельмо. В ложбинах меж дюнами вздрагивает низкая колючая травка, на ее ворсинках жемчужинами повисли капли росы.

По щекам Лаллы сбегает несколько капель, похожих на слезы. Молодая женщина просыпается, тихонько стонет. Глаз она еще не открыла, но стон ее становится громче, сливается с неумолчным рокотом моря, который вновь зазвучал в ее ушах. Боль в животе то нарастает, то отпускает, зов ее все неотступнее, он подступает все ближе, ритмичный, как говор волн.

Лалла приподнимается на своем песчаном ложе, но боль вдруг становится такой сильной, что у нее пресекается дыхание. И тогда она понимает: ей пришло время родить, она родит сейчас, здесь, на этом берегу, и страх захлестывает ее, накрывает волной, она знает, что одна здесь, одна-одинешенька, никто не придет ей на помощь, никто. Она с трудом встает, пошатываясь, делает несколько шагов по холодному песку, но снова падает, теперь стон ее переходит в крик. А вокруг только белый песок да дюны, еще одетые ночным мраком, и перед ней море, тяжелое, серо-зеленое море, пока подернутое мглой.

Лежа на песке, на боку, подогнув колени, Лалла снова стонет, вторя медленному ритму моря. Боль накатывает волнами, следуя за набегающим морским валом; высокий гребень вздымается над темной гладью вод, ловя по временам отблески бледного света, и потом обрушивается на берег. Лалла следит за движением боли в своем теле по морскому прибою, по зыби, рождающейся на сумрачном горизонте, где тьма еще не рассеялась, и медленно катящейся на восток, к самому берегу, на который волна ложится немного наискосок, выбрасывая пышную бахрому пены, а шуршание воды по затверделому песку, кажется, подступает все ближе, накрывает ее с головой. Иногда боль делается невыносимой, словно все ее внутренности извергаются

из нее, разрывая на части живот; вопль ее становится громче, перекрывая плеск обрушивающихся на песок волн.

Лалла встает на колени, пытаясь на четвереньках ползти вдоль дюны к дороге. Это стоит ей таких усилий, что, несмотря на предрассветный холод, пот заливает ее лицо и тело. Она ждет еще, вперив взгляд в начавшее светлеть море. Потом, повернув голову к дороге, лежащей за дюнами, зовет: «Харта-а-ни! Харта-а-ни!», как когда-то, когда она ходила на каменистую равнину, а он прятался в расселине скалы. Она пытается засвистеть, как свистели пастухи, но растрескавшиеся, дрожащие губы не повинуются ей.

Еще немного — и в Городке проснутся люди, встанут с постелей. Женщины пойдут за водой к колонке. Девушки станут собирать в кустах сухие ветки на растопку, потом женщины разведут огонь под жаровнями, чтобы поджарить мясо, разогреть овсяную кашу, вскипятить воду для чая. Но все это далеко, в каком-то другом мире. Словно это сон, который продолжается вдали от нее, на топкой равнине, у дельты большой реки, где живут люди. А может быть, и еще дальше, на том берегу моря, в большом городе нищих и воров, городе-убийце с его белыми домами и машинами-ловушками. *Фаджр*, первая заря, уже повсюду разлила свой бледный, холодный свет, и именно в эти мгновения старики в безмолвии и в страхе встречают смерть.

Лалла чувствует, как внутренности исторгаются из нее, сердце бьется медленно и мучительно. Волны боли следуют теперь одна за другой, и промежуток между ними так мал, что это просто одна сплошная боль пульсирует и зыбится в ее утробе. Медленно, изнемогая от муки, Лалла ползет вдоль дюны, упираясь локтями в землю. В нескольких саженях от нее, среди кучи камней, высится дерево, совсем черное на фоне белого неба. Никогда еще старое фиговое дерево не казалось ей таким большим, таким могучим. Широкий ствол выгнут назад, толстые ветви откинута, а прекрасная кружевная листва чуть шевелится на свежем ветру, поблескивая в лучах зари. Но самое прекрасное, самое могущественное — это его запах. Он обволакивает Лаллу, притягивает ее, опьяняет, и в то же время от него мутит, он зыбится вместе с волнами боли. Дыша с трудом, медленно-медленно волочит Лалла свое тело по чуть тормозящему движению песку. Ее раздвинутые ноги оставляют на песке след, словно лодка, которую тащили посуху.

Медленно, с натугой подтягивает Лалла свой слишком тяжелый груз, охая, когда боли становятся слишком сильными. Глаза ее не отрываются от дерева, высохшего фигового дерева с черным стволом и светлыми, поблескивающими в лучах зари листьями. Чем ближе подползает Лалла к дереву, тем выше оно становится; оно вырастает до исполинских размеров и, кажется, вот-вот заслонит все небо. Тень залегает вокруг него сумрачным озером, где еще удерживаются последние краски ночи. Медленно, подтягиваясь на руках, втаскивает Лалла свое тело в эту мглу, под сень могучих, словно руки великана, веток. К нему она и стремилась, она знает: только одно это дерево способно ей помочь. Всемогущий запах дерева проникает в нее, окружает со всех сторон и, смешиваясь с запахом моря и водорослей, утишает страдания измученного тела. У подножия гигантского дерева песок обнажил камни, покрытые как бы налетом ржавчины от морской влаги, обкатанные, отшлифованные ветром и дождем. Мощные корни, выступающие между камнями, похожи на металлические руки.

Стиснув зубы, чтобы сдержать крик, Лалла обхватывает руками ствол дерева и медленно приподнимается, встает на дрожащие колени. Боль внутри ее теперь словно рана, края которой понемногу расходятся, рвутся. Лалла не может думать ни о чем, кроме того, что у нее перед глазами, кроме того, что

она слышит, чувствует. Старый Наман, Хартани, Амма, даже фотограф — кто эти люди, что с ними случилось? Боль, вырываясь из утробы молодой женщины, растекается по всему морю, по дюнам, до самого бледного неба; эта боль пересиливает все, все стирает, все опустошает. Боль до краев наполняет тело Лаллы мощным гулом, и тело ее словно превращается в огромную гору, покоящуюся на земле.

Из-за боли само время замедляет свой ход, подчиняясь ритму биений сердца, ритму дыхания, ритму схваток.

Медленно, точно поднимая непосильное бремя, Лалла выпрямляется, прижимает тело к стволу дерева. Она уверена: только оно одно в силах ей помочь, как когда-то, когда родилась она сама, дерево помогло ее матери. Инстинктивно обретает она вековые навыки рожениц, хотя назначение их ей и непонятно, никто никогда не обучал ее этому. Примостившись у подножия темного ствола, она развязывает пояс платья. На земле, на камнях, расстилает коричневое пальто. Полотняный пояс привязывает к самой нижней большой ветке, сначала туго перевив его для прочности. Когда она вцепилась обеими руками в полотняный пояс, дерево чуть качнулось и с него дождем полилась роса. Девственная вода струится по лицу Лаллы, и она с наслаждением слизывает ее с губ. А в небе уже занимается красная заря. Последние клочья ночной тьмы исчезают, и молочная белизна на востоке над каменистыми холмами уступает место пожару последней зари. Море темнеет, становится почти фиолетовым, на гребнях волн вспыхивают пурпурные искры, сверкает белизной пена. Никогда еще Лалла не глядела с такой жадностью на пробуждающийся день — до боли расширив глаза, подставив лицо жгучему великолепию лучей.

В эту самую минуту схватки становятся невыносимыми, чудовищными; боль подобна полыхающему и слепящему красному пламени. Чтобы сдержать крик, Лалла кусает ткань платья на плече, а ее вскинутые над головой руки с такой силой тянут полотняный пояс, что дерево качается, приподнимая тело Лаллы. При каждой вспышке боли, как бы следуя ее ритму, Лалла повисает на дереве. Пот ручьями струится теперь по лицу, ослепляя ее; кровавый цвет боли окрашивает море, небо, пену каждой разбивающейся о берег волны. Иногда сквозь зубы Лаллы против ее воли прорывается крик, заглушаемый рокотом моря. Это крик боли и в то же время крик отчаяния, исторгнутый у нее заливающим землю светом, одиночеством. Дерево пригибается при каждом содрогании ее тела, широкие листья его поблескивают. Маленькими глотками впивает Лалла его запах, запах сахара и древесного сока, и запах успокаивает и придает бодрости. Она притягивает к себе большую ветку, поясница ее ударяется о древесный ствол, капли росы всё так же стекают на ее руки, на ее лицо, на ее тело. По вцепившимся в пояс рукам Лаллы бегут вниз, спускаясь по ее телу, спасаясь со всех ног, крохотные черные муравьи.

Это тянется очень долго, так долго, что жилы на руках у Лаллы надуваются точно канаты, а пальцы с такой силой впились в полотняный пояс, что их ничем не оторвать. И вдруг, еще ожесточеннее потянув к себе полотняный пояс, она чувствует, что тело ее непостижимым образом освободилось. Медленно, как слепая, Лалла соскальзывает вниз по полотняному поясу, спиной и поясницей касаясь корней дерева. Воздух наконец врывается в ее легкие, и в ту же минуту она слышит пронзительный крик и плач ребенка.

Красный свет на берегу становится оранжевым, потом золотым. На востоке, в краю пастухов, солнечные лучи уже, должно быть, коснулись каменных холмов, Лалла берет ребенка на руки, зубами перегрызает пуповину

и, как пояс, завязывает ее на крохотном, содрогающемся от плача животе. Медленно ползет она по затвердевшему песку к морю и, став на колени посреди легкой пены, окунает кричащего младенца в соленую воду, старательно моет, купает его. Потом она возвращается к дереву и заворачивает ребенка в широкое коричневое пальто. Действуя все так же инстинктивно, сама не понимая почему, она выкапывает руками ямку в песке и зарывает там послед.

А потом вытягивается у подножия дерева, прикинув головой к его могучему стволу; она разворачивает пальто, берет ребенка и подносит к набухшей груди. Когда ребенок, прижавшись к ее груди крохотным личиком с закрытыми глазами, начинает сосать, Лалла уже не в силах больше противиться усталости. С минуту она любуется прекрасным светом наступающего дня, яркой синевой моря, косыми волнами, похожими на бегущих зверьков. Потом глаза ее закрываются. Она не спит, а словно бы плывет и плывет по глади волн. Она чувствует, как к ее груди прижимается крохотное теплое существо, которое хочет жить и жадно сосет ее молоко. Хава, дочь Хавы, мелькает у нее мысль, странная и отрадная, как улыбка после долгих страданий. А потом она начинает терпеливо ждать, чтобы пришел кто-нибудь из жителей Городка, обитателей дощатых и картонных лачуг: мальчик, ловец крабов; старушка, собирающая хворост, или девочка, которая просто любит гулять в дюнах, любясь морскими птицами. Сюда всегда кто-нибудь да приходит, а в тени фигового дерева так хорошо, так прохладно.

---

*Агадир, 30 марта 1912 года*

И вот они появились в последний раз, пришли на широкую равнину у моря, возле самого устья реки. Они стекались сюда со всех сторон, жители северных краев: племена ида-у-трума, ида-у-тамане, айт-дауд, мескала, айт-ходи, ида-у-земзен, сиди-амиль; люди из Бигудина, Амизмиза, Ишемрарена. Те, кто жил на востоке, за Тарудантом, в Тазенахте, в Вар-зазате; племена айт-калла, ассараг, айт-кедиф, амтазгин, айт-тумерт, айт-юсе, айт-зархаль, айт-удинар, айт-мудзит; обитатели гор Сархро и гор Бани; жители побережья от Эссауира до крепости Агадир; жители Тизнита, Ифни, Аореора, Тан-Тана, Гулимина; племена айт-меллул, лахуссин, айт-белла, айт-буха, сиди-ахмед-у-мусса, ида-гугмар, айт-баха и прежде всего обитатели великого юга, вольные жители пустыни: имраген, ариб, улад-яхья, улад-делим, аросиин, халифийа, регибат-сахель, себаа — и те, что говорили на языке шлехов: ида-у-беляль, ида-у-мерибат, айт-ба-амране.

Все они сошлись у реки, и было их так много, что не стало видно долины. Но среди них почти не осталось воинов. То были женщины и дети, раненые, старики — все те, кто бежал и бежал по пыльным дорогам, спасаясь от наступавших чужеземных солдат, и кто не знал теперь, куда идти. Здесь, у большого города Агадира, их бег остановило море.

Большинство пришельцев не знали, зачем они явились сюда, к реке Сус. Быть может, просто голод, усталость и отчаяние привели их к устью реки, к берегу моря. Куда им было направить свой путь? Месяцами, годами бродили они в поисках земли, реки, источника, где могли бы раскинуть свои шатры и устроить загоны для овец. Многие погибли, затерялись на дорогах, которые никуда не ведут, в пустыне, в окрестностях города Марракеш или в оврагах уэда Тадла. Те, кому удалось бежать от врага, вернулись на юг, но старые колодцы пересохли, а чужеземные солдаты оказались повсюду. В Смаре, там, где прежде высился

краснокаменный дворец Ма аль-Айнина, теперь гулял ветер пустыни, который все сравнивает с землей. Христианские солдаты мало-помалу взяли в кольцо вольных жителей пустыни, захватили колодцы священной долины Сегьет-эль-Хамра. Чего им было надо, этим чужеземцам? Им нужна была вся земля целиком, они не успокоятся, пока не поглотят все, в этом нет сомнений.

Уже много дней стояли обитатели пустыни с южной стороны города-крепости и чего-то ждали. К горным племенам присоединились остатки воинов Ма аль-Айнина, люди племени *берик Аллах*; после смерти Ма аль-Айнина на их лицах лежала печать скорби и сиротства. Их воспаленные, голодные глаза горели каким-то странным блеском. Изо дня в день обитатели пустыни глядели на крепость, туда, откуда должен был появиться Мауля Себа, Лев, со своими конными воинами. Но далекий город за красными стенами безмолвствовал, и ворота были по-прежнему закрыты. И в этом длившемся уже много дней безмолвии таилась угроза. В синем небе кружили большие черные птицы, по ночам слышался лай шакалов.

Нур тоже был здесь, один-одинешенек в толпе побежденных. Он давно уже привык к своему одиночеству. Его отец, мать и сестры вернулись на юг, к бесконечным кочевьям. Но он не мог возвратиться туда, даже после смерти шейха.

Каждый вечер, вытянувшись на холодной земле, он думал о том пути на север, который указал Ма аль-Айнин и который теперь продолжит Лев, чтобы стать истинным повелителем. За два года голод и усталость стали привычными для мальчика, но в помыслах его было одно: он страстно мечтал о пути, который скоро откроется перед ними.

И вот однажды утром по становью прокатился гул: «Мауля Хиба! Мауля Себа! Лев! Наш повелитель! Наш властелин!»

Раздались выстрелы, женщины и дети стали кричать, и голоса их звенели бубенцами. Толпа повернулась к пыльной равнине, и в красном облаке Нур увидел конных воинов шейха.

Стук лошадиных копыт потонул в криках и выстрелах. Красный туман высоко поднимался в утреннем небе, кружил над речной долиной. Воины толпой бежали навстречу всадникам, стреляя в воздух из длинноствольных карабинов. Всадники большей частью были горцы, шлехи, в грубошерстных бурнусах, дикие, косматые, с горящими глазами. Нур смотрел на них — как непохожи они были на воинов пустыни, на Синих Людей, которые следовали за Ма аль-Айнином до самой его кончины. Эти люди не были измучены голодом и жаждой, их не опаляло долгие дни и месяцы раскаленное солнце пустыни, они пришли со своих земель, из своих деревень, не зная, за что и с кем они будут сражаться.

Весь день бегали Синие Воины за всадниками Маули Хибы, которые носились вскачь по долине до самых укрепленных стен Агадира, поднимая громадное красное облако пыли. Зачем они это делали? Они просто бегали и кричали, а голоса женщин и детей бубенцами вторили им на берегах реки. Иногда в красном облаке в бликах света перед Нуром мелькали всадники, конные воины Льва, потрясая своими копьями.

«Мауля Хиба! Мауля Себа, Лев!» — звучали вокруг Нура голоса детей.

Потом всадники скрылись в конце долины, там, где высились крепостные стены Агадира.

Целый день в долине, залитой огненными лучами обжигавшего губы солнца, царил хмельной восторг. К вечеру из пустыни задул ветер, золотистым туманом заволокший становье, скрывший стены города. Закутавшись в свой плащ, Нур устроился под деревом.

С наступлением темноты возбуждение мало-помалу улеглось. В час молитвы, когда животные опустились на колени, чтобы уберечься от ночной сырости, иссохшую землю одела тенистая прохлада.

Нур снова думал о близящемся лете, о засухе, о колодцах, о медлительных стадах, которые отец его погонит до самых солончаков по ту сторону пустыни, в Долоту, в Бадане, к озеру Чинган. Он думал об одиночестве этих бескрайних земель, затерянных в такой дали, где уже не верится, что на свете есть море и горы.

Как давно не ведал он отдыха! Казалось, для него в мире остались одни только песчаные и каменистые равнины, овраги, пересохшие реки, вздыбившие острья, как ножи, камни и, главное, страх, тенью лежащий на всем, на что упадет взгляд.

В час трапезы, когда Нур шел к Синим Людям, чтобы разделить с ними кусок хлеба и просяную кашу, он глядел на звездное небо, расстилавшееся над землей. Кожа его горела от усталости и лихорадки, которая сотрясала тело приступами озноба.

В своем ненадежном становье, под сенью ветвей и листьев, Синие Люди больше не вели разговоров. Они не рассказывали больше легенд о Ма аль-Айнине, не пели. Закутавшись в дырявые бурнусы, они смотрели на огонь, щуря глаза, когда ветер прибывал дым костра к земле. Быть может, они уже ничего не ждали, глаза их видели плохо, и сердце в груди еле билось.

Один за другим гасли огни, мрак окутывал долину. Вдали, выдвинутый в черноту моря, слабо мерцал город Агадир. Нур ложился на землю, обратив лицо к звездам, и, как всегда по вечерам, думал о великом шейхе Ма аль-Айнине, которого погребли возле обветшалой хижины в Тизните. Старца опустили в яму, головой к востоку; в руки ему вложили единственное его богатство — священную книгу, тростниковую палочку для письма и четки черного дерева. Сыпучие пески — красный пепел пустыни — покрыли его тело, сверху навалили широкие камни, чтобы могилу не разрыли шакалы, а потом мужчины босыми ногами утаптывали почву до тех пор, пока она не стала гладкой и твердой, как каменная плита. У могилы росла молодая акация с белыми колючками, точно такая, как у молитвенного дома в Смаре.

И тогда один за другим Синие Воины пустыни, люди из племени *берик Аллах*, последние сподвижники Ма аль-Айнина из Гудфия, преклонили колени на могиле, и каждый медленно провел руками по гладкой земле, а потом по своему лицу, словно принимая прощальное благословение шейха.

Нур вспоминал ту ночь, когда все покинули долину Тизнита и у могилы остались только он и Лалла Меймуна. Холодной ночью слушал он, как доносится из обветшалой хижины нескончаемый плач старой женщины, похожий на песнопение. Он уснул на земле возле могилы и лежал без движения, без сновидений, словно и сам умер. Назавтра и в последующие дни он почти не отходил от могилы, сидя в шерстяном бурнусе, с воспаленными глазами и горлом, на раскаленной земле. Ветер уже заметал могилу пылью, потихоньку стирая ее следы. А горячка тем временем завладела телом юноши, и он потерял сознание. Женщины Тизнита унесли его к себе и выхаживали, а он бредил, он был на краю смерти. Спустя много недель, выздоровев, он снова пошел к ветхой хижине, где умер Ма аль-Айнин. Но там уже никого не было, Лалла Меймуна ушла к своему племени, а ветер за эти дни намел столько песка, что Нур не смог отыскать следов могилы.

Быть может, так и должно быть, думал Нур, быть может, великий шейх возвратился в свои истинные владения, затерявшись в песках пустыни, унесенный ветром. И теперь Нур смотрел на просторную долину реки Сус, едва озаренную во тьме россыпью звезд. Говорят, их яркий свет — это кровь агнца архангела Гавриила. Здесь была та же безмолвная земля, что и возле Тизнита, и Нуру чудилось временами, будто он слышит протяжный, певучий плач Лаллы Меймуны, но, наверное, это завывал в ночи шакал. Здесь все еще жил дух Ма аль-Айнина, он окутывал всю землю, мешаясь с песком и пылью, таясь в расселинах или слабо поблескивая на острие камней.

Нур чувствовал его взгляд и там, в небе, и в пятнах тени на земле. Он чувствовал на себе этот взгляд, как когда-то в Смаре, и по телу его пробегала дрожь. Взгляд проникал в него, вовлекая в свой бездонный вихрь. Что значит этот взгляд? Быть может, Ма аль-Айнин требует чего-то, требует, безмолвно обволакивая людей на равнине своим светом? Быть может, он призывает воинов прийти к нему туда, где пребывает сам, смешавшийся с серой землей, ставший пылью, развеянный ветром... Без движения, без сновидений засыпал Нур, уносимый немеркнущим взглядом...



Услышав в первый раз грохот пушек, Синие Люди и Синие Воины бросились к холмам, откуда было видно море. Небо сотрясало от грохота, подобного грому. А молнии метало одно-единственное одетое в броню судно, похожее на какое-то зловещее медлительное чудовище, появившееся в море вблизи Агадира. Гром раздавался не сразу, грохот раската сопровождался душераздирающим воем рвавшихся в городе ядер. В несколько минут высокие стены из красного камня обратились в груды развалин, и оттуда повалил черный дым пожаров. А потом из разрушенных стен с воплями ринулись окровавленные жители: мужчины, женщины, дети. Охваченные ужасом, они хлынули в долину реки, пытаясь убежать как можно дальше от моря.

Несколько раз вспыхивало короткое пламя в жерле пушек крейсера «Космао», страшный грохот снарядов, разрывавшихся в касбе Агадира, прокатывался по всей долине реки Сус. Черный дым пожаров поднимался высоко в синеву неба, окутывая тенью палатки кочевников.

И тут появились конные воины Маули Хибы, Льва. Они пересекли реку, отступая к холмам впереди жителей города. Вдалеке в море, на волнах, отливавших металлом, неподвижно застыл крейсер «Космао», только пушки его медленно повернулись в сторону долины, по которой бежали обитатели пустыни. Но пламя больше не вспыхивало в жерле пушек. Наступила долгая тишина, слышно было лишь, как бегут люди да кричат животные, а в небо все поднимался черный дым.

Когда к развалинам городских стен пожаловали христианские солдаты, беглецы сначала не поняли, кто это. Быть может, даже сам Мауля Хиба и его люди на мгновение поверили, что это воины севера, которых Мауля Хафид, Повелитель Правосверных, прислал, чтобы продолжить священную войну.

Но то были четыре батальона полковника Манжена, форсированным маршем прибывшие в мятежный город Агадир, четыре тысячи африканских стрелков в мундирах: сенегальцы, суданцы, жители Сахары, вооруженные винтовками Лебея и десятком пулеметов Норденфельда. Построившись полукругом, солдаты медленно приближались к реке, а на другом ее берегу, у подножия каменистых холмов, войско Маули Хибы, три тысячи всадников, вихрем закружились на месте, вздымая в небо красную пыль. В стороне от этого вихря Мауля Хиба, в белом бурнусе, с тревогой смотрел на длинную цепочку христианских солдат, полчищами муравьев ползущих по высохшей земле. Он знал, что битва проиграна заранее, как когда-то в Бу-Денибе, когда пули чернокожих стрелков скосили более тысячи его всадников, прибывших с юга. Застыв на своем коне, дрожавшем от нетерпения, он смотрел на диковинных людей, которые медленно, точно на ученьи, приближались к реке. Несколько раз Мауля Хиба пытался дать приказ к отступлению, но воины-горцы не слушали его приказаний. Опьяненные пылью и запахом пороха, они пустили лошадей в безудержный галоп по кругу, выкрикивая что-то на своем диком языке и призывая своих святых. Окончив этот танец, это кружение, они ринутся вперед, в расставленную им западню и погибнут все до одного.

Мауля Хиба был бессилен помешать несчастью, слезы отчаяния выступили у него на глазах. На другом берегу полковник Манжен расставил пулеметы на обоих флангах своего отряда, на вершинах каменистых холмов. Сейчас конники-мавры ринутся в центр его позиции, и в тот самый миг, когда они поскачут через реку, их сметет перекрестный огонь пулеметов, после чего останется только прикончить уцелевших штыками.

Всадники уже перестали кружить по долине, а над нею все еще висело тяжелое безмолвие. Полковник Манжен, глядя в бинокль, пытался понять, отступят они или нет. Неужели придется снова день за днем идти по пустынной земле, в отчаянии глядя на убегающий вдаль горизонт?

Но Мауля Хиба неподвижно сидел на коне, он знал: конец близок. Воины-горцы, сыновья племенных вождей, явились сюда биться, а не отступать. Они перестали кружить лишь для того, чтоб перед атакой сотворить молитву.

Все дальнейшее совершилось в мгновение ока под беспощадными лучами

полднего солнца. Три тысячи всадников сомкнутым строем, словно на параде, потрясая кремневыми ружьями и длинными копьями, устремились в атаку. Когда они возникли на берегу реки, унтер-офицеры, командовавшие пулеметными расчетами, бросили взгляд на полковника Манжена, который поднял руку. Он дал пройти первым всадникам, а потом вдруг махнул рукой, и из стальных стволов свинцовым потоком хлынули пули, шестьсот в минуту, их злобный свист рассекал воздух, прокатываясь по долине до самых гор. Разве время существует, если за несколько минут можно убить тысячу человек, тысячу лошадей? Когда всадники поняли, что они в западне, что им не пройти сквозь стену пуль, они хотели повернуть обратно, но было уже поздно. Пулеметные очереди стелились по руслу реки, люди и лошади падали, словно скошенные громадным невидимым серпом. По речной гальке, смешавшись с тоненькими струйками воды, текли потоки крови.

А потом снова воцарилась тишина, только лошади, на которых шерсть стояла дыбом от страха, уносили в сторону холмов забрызганных кровью уцелевших всадников.

Не торопясь, рота за ротой, чернокожие солдаты во главе с полковником Манженом и его офицерами двинулись вдоль реки. Они шли на восток, к Таруданту и Марракешу, преследуя Маулю Хибу, Льва. Шли, не оглядываясь на место побоища, не замечая ни распростертых среди гальки изувеченных тел, ни сраженных лошадей, ни грифов, уже слетевшихся к берегам реки. Не глядели они и на развалины Агадира, на черный дым, еще поднимавшийся в синее небо. Вдали по волнам, отливавшим металлом, медленно скользил, взяв курс на север, крейсер «Космао».

И тут безмолвие рухнуло, его огласили крики тех, кто еще был жив, раненых воинов и животных, женщин и детей; это был один непрерывный стон, похожий на песнопение. Исполненный ужаса и муки, вопль поднимался сразу со всех сторон, с равнины и с реки.

Нур шел по речной гальке среди распростертых тел. Над трупами уже висели черные тучи прожорливых мух и ос, у Нура перехватило горло, его начало мутить.

Медленно, как в сновидении, мужчины, женщины, дети раздвигали кусты и молча брели к высохшему речному руслу. Весь день до наступления темноты выносили они на берег трупы, чтобы похоронить их. А когда опустилась ночь, зажгли на обоих берегах костры, чтобы отогнать шакалов и диких собак. Женщины из деревни принесли им хлеба и кислого молока, и Нур с наслаждением поел. А потом заснул прямо на земле, даже не вспоминая о смерти.

На другой день, едва рассвело, мужчины и женщины вырыли могилы для убитых воинов, а потом погребли их лошадей. Могилы они завалили большими речными камнями.

А когда все было кончено, уцелевшие Синие Люди двинулись на юг по дороге такой длинной, что казалось, ей не будет конца. С ними шел Нур, он шел босиком, и все имущество его составляли шерстяной бурнус да кусок хлеба во влажной тряпице. Это были последние *имазигены*, последние свободные люди из племен тубальт, текна, тидрарин, аросиин, себаа, регибат-сахель, немногие уцелевшие из *берик Аллах*, благословенных Аллахом. У них не было другого имущества, кроме того, что видели их глаза, того, чего касались их босые ступни. Перед ними, словно море, простиралась совершенно плоская, сверкавшая от соли равнина. Она зыбилась, рождая белые города с узорчатыми стенами и куполами, переливавшимися, как мыльные пузыри. Солнце жгло их лица и руки, и все плыло перед глазами от ослепительных лучей, от которых тени людей кажутся бездонными колодцами.

Каждый вечер их кровоточащие губы жадно припадали к источникам, пили мутную, горьковато-соленую речную воду. А потом их сжимала обручем холодная ночь, леденила тело и дыхание, наливая свинцом затылок. Свобода не знает границ, она широка, как земной простор, она прекрасна и жестока, как солнечный свет, ласкова, как очи воды. Каждое утро с ранней зарей свободные люди продолжали свой путь в родные края, на юг, туда, где никто, кроме них, жить не

мог. Каждый день одними и теми же привычными движениями они уничтожали следы своих костров, закапывали испражнения. Обернувшись в сторону пустыни, безмолвно творили молитву. И уходили, исчезали, точно сновидение.